Е. ШМИДТ-ОЧАКОВСКИЙ

ЛЕЙТЕНАНТ ШМИДТ

(«КРАСНЫЙ АДМИРАЛ»)

Воспоминания сына

Одесса
КП ОГТ
2006

ББК 63.3 (2) 522–8 Шмидт П. П.
Ш 512
УДК 94 (470) «1867–1906» – 057.36 (091)

Е. П. Шмидт-Очаковский.
Лейтенант Шмидт («Красный адмирал»).
Воспоминания сына
Одесса, изд-во КП ОГТ, 2006, 308 стр.

Ш $\frac{0603030300}{2006}$ Без объявл.

ISBN 966-8128-84-2

© Е.П.Шмидт, 2006

Уважаемые читатели!

Вы открываете книгу, которая 80 лет не могла быть доступной широкому кругу общественности – историкам, краеведам и тем, кто интересуется жизнью и подвигом Петра Петровича Шмидта.

«Лейтенант Шмидт («Красный адмирал»)» – так назвал свои воспоминания об отце Евгений Петрович Шмидт–Очаковский.

И не случайно эта книга впервые на постсоветском пространстве переиздается именно в Одессе, где будущий легендарный лейтенант родился и где прошли его детские годы. Символично? Да!

Переиздание этих воспоминаний стало возможным только благодаря Илье Ильичу Комарову – директору музея-центра К.Г.Паустовского, который передал в Одессу копию оригинала этой книги, хранящейся в одной из библиотек С.-Петербурга.

Мы также глубоко признательны меценатам Одессы за финансовую поддержку в издании книги:

Круку Юрию Борисовичу,

Радковскому Олегу Владимировичу,
депутатам ВР Украины;

Барвиненко Виталию Дмитриевичу,
депутату Одесского областного Совета;

Кирееву Михаилу Ивановичу,
председателю профсоюза работников морского транспорта;

Левчуку Владимиру Васильевичу,
председателю районного Совета г. Овидиополя;

Изотову Евгению Ивановичу,
председателю Регионального профсоюза моряков Юга Украины.

Выражаем также сердечную благодарность:

Лидии Ивановне Иващенко *– основателю первого музея имени П.П.Шмидта (г. Очаков) на постсоветском пространстве, заслуженному деятелю культуры Украины;*

Агнессе Викторовне Виноградовой *(г. Николаев), автору книги «Расстрелянная мечта» (страницы из жизни П.П.Шмидта), заслуженному журналисту Украины.*

Итак, уважаемые читатели, перед Вами предстает Петр Петрович Шмидт – заботливый отец, отважный и решительный морской офицер, незаурядный высококвалифицированный судоводитель, общественный деятель, эрудит в литературе и в искусстве, талантливый художник, фотограф и музыкант, мастер эпистолярного жанра, душевный, обаятельный и глубоко порядочный человек...

Да мы просто не вправе позабыть об этой светлой, многогранной и поистине легендарной исторической личности! И таким земляком нельзя не гордиться – как и тем, что именно в Одессе состоялось переиздание книги воспоминаний о первом «красном адмирале», лейтенанте и капитане второго ранга – Петре Петровиче Шмидте.

Виктор Глушаков,
председатель
литературного
Товарищества
«Мир Паустовского»,
ветеран Черноморского
морского пароходства.

Евгений Ливший,
председатель
«Ассоциации
моряков-подводников
им. А.И.Маринеско»,
капитан
I ранга запаса.

РОДНОМУ ЧЕРНОМОРСКОМУ ФЛОТУ

СВОЙ СКОРБНЫЙ ТРУД

ПОСВЯЩАЕТ

АВТОР

ПРЕДИСЛОВИЕ

Двадцать лет отделяет меня от «дней очаковских»... С тех пор произошли события в тысячу раз ужаснее, пролились моря русской крови, мир переменил свое лицо, совершилась полная «переоценка ценностей» во всех областях человеческого духа...

Но юношеские впечатления — самые сильные и неизгладимые. Все последующее кажется или менее ярким, или когда-то уже испытанным, а, главное, не воспринимается с прежней непосредственностью, непосредственностью молодости.

Постараюсь, насколько это в моих скромных силах, правдиво рассказать о севастопольской трагедии в роковые ноябрьские дни 1905 года, коей я был живым свидетелем и участником, о последовавшей затем еще более ужасной развязке и дать хотя бы бледный образ героя настоящего повествования, моего незабвенного, дорогого отца.

Евгений Шмидт-Очаковский.

Прага, май 1926 г.

Евгений Шмидт-Очаковский

ЛЕЙТЕНАНТ ШМИДТ

(«КРАСНЫЙ АДМИРАЛ»)

Воспоминания сына

I

Начну с Адама.

Наш род ведет начало с конца XVII столетия, когда мой предок в седьмом колене, корабельный мастер из Франкфурта-на-Майне, прибыл с партией голландских и немецких рабочих в Россию, выписанный Петром, ввиду отсутствия достаточного количества отечественных опытных специалистов по судостроению. Предок остался в России навсегда, женился на русской, и дети его были уже российскими подданными. Большинство из них состояло на службе по морскому ведомству; следующие поколения служили как в армии, так и по гражданским ведомствам. Сведения мои начинаются с прадеда, Петра Николаевича (1764-1843); они весьма поверхностны. Знаю только, что служил он в Николаевском адмиралтействе, пользовался особым покровительством и вниманием со стороны тогдашнего Главного Командира Черноморского Флота, адмирала А. С. Грейга, и умер в Николаеве в чине действительного статского советника. Еще при жизни Петра Николаевича, достигшего весьма преклонного возраста (80-ти лет), адмирал Грейг устроил всех его дочерей в различные институты на казенный счет, а двух сыновей, старшего, Владимира, и младшего, Петра (моего деда) поместил в Николаевское училище юнкеров Флота, которое оба деда окончили в 1845 году.

Двоюродный дед, Владимир Петрович, умерший сравнительно недавно – в 1909 г. – 82-х лет от роду, посвятил себя службе исключительно в военном флоте. Во время Крымской кампании 1854-1855 г. г. он, вместе с братом, дедом Петром Петровичем,

находился на знаменитом 4-м бастионе, отличился, получил Георгия и золотое оружие и быстро с тех пор пошел по служебной лестнице. В конце 50-х годов он командовал императорской яхтой «Тигр», пользуясь большим расположением Императора Александра II, в 60-х и 70-х годах командовал большими линейными кораблями, в 80-х годах был зачислен в свиту, командовал нашим флотом в Тихом Океане и, наконец, в начале 1890-х годов получил назначение в Адмиралтейский Совет. Умер Владимир Петрович полным адмиралом, числясь, по старшинству, первым в списках чинов Российского Флота и будучи кавалером всех орденов, кроме Андрея Первозванного. Был он женат на Юлии Михайловне Краевской, замечательной красавице в молодости*), и имел от нее сына и двух дочерей (Николая, Евгению и Александру).

Карьера моего родного деда, Петра Петровича, (1828-1888) гораздо скромнее. Вскоре после крымской кампании он женился на вдове своего начальника, командира Черноморского Флотского Экипажа, капитана I ранга Скоробогатова (убитого в конце осады), Екатерине Яковлевне, урожденной фон-Вагнер, смолянке, дочери заслуженного боевого генерала. Женился Петр Петрович по страстной взаимной любви, но бабушка Екатерина Яковлевна, о которой отец всегда вспоминал с каким-то религиозным благоговением, не была счастлива в своей семейной жизни вследствие безумно-вспыльчивого характера деда и его постоянных увлечений на стороне.

Дед Петр Петрович Шмидт, «капитан с синими глазами», как прозвали его во флоте, обладал цельной и непосредственной натурой, настолько непосредственной, что, разговаривая с ним, никто не мог поручиться за свою жизнь. Несмотря, однако, на необузданный, бешеный нрав, дед был, в сущности, очень добрым человеком, а по простодушию, доверчивости и наивности – совершенным ребенком. Во второй половине 1850-х годов он поступил капитаном на один из пароходов только что основанного Русского

*) О ней упоминает в своих мемуарах И. П. Карабчевский («Что глаза мои видели», т. I).

Общества Пароходства и Торговли, числясь, в то же время, в списках Российского Флота, и получая чины (подобное совмещение было в старые годы возможным). Потом служил агентом того же общества в Одессе. В 70-х годах дед бросил службу в «Ропите», чтобы стать во главе учредителей Новороссийского пароходства. Последнее вздумало конкурировать с богатым Русским обществом, прогорело, и дед, вложивший в предприятие все свои деньги, оказался нищим. Идти вновь на военную службу он не захотел и, выйдя в отставку с чином контр-адмирала, поступил на службу в министерство внутренних дел. С помощью своего влиятельного брата дед получил место градоначальника в захудалом Бердянске, в те времена еще совершенной трущобе. Дед энергично принялся за благоустройство города. Через несколько лет Бердянск преобразился: появилось много каменных зданий, мощеных улиц, новых магазинов, выросли прекрасно оборудованный порт, элеватор и весьма порядочный сквер, названный, после смерти деда, его именем. Деятельность деда в Бердянске продолжалась 15 лет и доставила ему большую популярность благодаря его кипучей энергии и своеобразным приемам, коими его планы проводились в жизнь.

Незадолго до своей смерти дед оставил службу и переехал в Одессу, где поселился в доме своей покойной жены, бабушки Екатерины Яковлевны, умершей в Бердянске в 1877 году, 42-х лет. Бабушка, вся жизнь которой была сплошным подвигом и страданием, умерла в страшных мучениях, от рака в груди, оставив мужу троих детей – отца и двух его старших сестер, Марию и Анну (первые дети бабушки, дядья Петр и Яков, умерли до рождения отца, едва достигнув отроческого возраста). 56-ти лет от роду дед женился вторично на перезрелой 35-летней деве, Ольге Николаевне Бутеноп, оказавшейся для детей от первого брака мачехой в полном смысле этого слова. Дед, почти впавший в детство и снедаемый страшной болезнью (раком в горле), сведшей его, в конце концов, в могилу, вполне подчинился влиянию своей второй жены.

Мачехе разными грязными махинациями удалось прибрать к рукам наследство бабушки Екатерины Яковлевны, опекуном ко-

торого, до совершеннолетия детей, был ее муж, и пересссорить с дедом отца и теток. Отец мой тогда кончал морской корпус, и перед ним открывалась самостоятельная жизнь, тетки же вышли замуж, уйдя, таким образом, из домашнего ада, созданного ненавидевшей их мачехой. Семейная жизнь старшей сестры, Марии Петровны, сложилась трагически. Муж, старше ее тридцатью годами, черствый и ограниченный гвардейский офицер – ее двоюродный дядя, – занятый исключительно службой и приобретением состояния, обращал на жену довольно мало внимания. Какая драма происходила в душе несчастной тети Маруси – никто никогда не узнал. В один из августовских дней 1890 года ее нашли повесившейся в своей спальной.

Отец родился в Одессе 5 февраля ст. ст. 1867 года. Он рос чрезвычайно впечатлительным, подвижным и способным мальчиком, пользуясь общей любовью. Развитой не по летам, отец рано стал задумываться над отношениями между дедом и бабушкой и всеми сложными жизненными явлениями, мимо которых большинство детей, обыкновенно, беспечно проходит. Основной его чертой, по собственному признанию, была любовь к жизни «до неприличия». Как ни ломала его впоследствии жизнь, каких горьких и неприятных сюрпризов ни преподносила, отец неизменно сохранял веру в людей, в конечное торжество добра, справедливости и красоты. Оптимизм был другой его характерной чертой.

Десяти лет от роду отец лишился матери, и эта потеря наложила неизгладимый след на все его дальнейшее существование. Могу сказать с полной уверенностью, что, потеряв мать, он на всю жизнь остался одиноким.

До 13 лет отец учился в Бердянской гимназии, в 1880 г. дед отдал отца в Морское Училище (переименованное в 1890-х годах в Морской Кадетский Корпус). Отец любил море и его тайны, но военной службы не выносил и, как большинство моряков, всю жизнь мечтал о береговом месте. В Училище началось его увлечение политикой и социологией. К 17-ти годам он прочитал Добролюбова, Писарева, Шелгунова, Бокля, Дж.-Ст. Милля, стал изу-

чать Михайловского и вступил с ним в переписку о «субъективном методе в социологии». В 1882 г., после казни членов партии Народной Воли, лейтенантов барона Штромберга и Суханова, революционная пропаганда проникла в Морское Училище и завербовала многочисленных адептов, среди которых отец явился наиболее стойким и последовательным. Все распропагандированные превратились, в конце концов, в самых банальных службистов, сереньких человечков 20-го числа, более или менее успешно делавших карьеру и обеими руками открещивавшихся от былых увлечений молодости, и только один отец оставался до конца верным своим юношеским убеждениям, запечатлев эту верность геройской смертью.

В Училище составилась среди кадет тайная организация, примыкавшая к Народной Воле. Она успела напечатать на гектографе и выпустить в свет несколько прокламаций. Деятельность организации продолжалась и после производства ее членов в офицеры, но посыпавшиеся аресты и бесследные исчезновения многих в каменных мешках Шлиссельбурга заставили организацию сначала притихнуть, а затем и совершенно распасться. Во время одного обыска отец едва не попался: только каким-то чудом ему удалось спастись.

В сентябре 1886 г. отца произвели в мичмана и назначили в 8-й Балтийский Флотский Экипаж, откуда перевели в Черноморский Флотский герцога Эдинбургского Экипаж. В 1888 г. отец женился и вышел в отставку; мать моя была петербургской мещанкой, а, по действовавшим во Флоте положениям, офицеры Флота ограничивались в выборе невест лицами дворянского и купеческого (1-й гильдии) происхождения. За год до женитьбы отец получил небольшое наследство от своей тетки Анны Яковлевны Эггер (сестры бабушки Екатерины Яковлевны), что-то около 20-30 тысяч; наследства хватило отцу на 4 года. В течение этого времени отец с матерью жили частью на Кавказе, частью в Новороссийском крае. В 1889 г. родился автор воспоминаний. Наследство подходило к концу, и необходимость заставляла подумать о заработ-

ке. Отец стал хлопотать об обратном приеме его на службу во флот, и, благодаря ходатайству перед морским министерством его дяди, адмирала Владимира Петровича, отца в 1892 г. зачислили на службу с прежним чином мичмана, назначив в 18-й Флотский Экипаж, в Петербурге.

Я помню себя с 3-х лет, а с 4-х события запечатлелись в моей памяти с вполне последовательной хронологическою точностью. Петербургская жизнь 1893-1894 гг. отчетливо стоит перед моими глазами. Мы жили в Галерной Гавани, по Весельной улице, № 8, в небольшом одноэтажном деревянном доме, с маленьким запущенным садом. Отец, когда не дежурил в Экипаже, к обеду уже возвращался со службы и целый день проводил в семье. Он увлекался тогда живописью, и у его сестры, Анны Петровны Избаш, по сей день хранится несколько картин отца петербургского периода. По отзыву знатоков, у отца был большой талант к рисованию. Отца, вообще, чрезвычайно богато одарила природа. Он обладал порядочным слухом, пел, играл на нескольких инструментах (скрипке, виолончели, гитаре, мандолине и цитре), очень недурно писал и был превосходным математиком.

По вечерам к отцу приходили его друзья, сослуживцы по 18-му Флотскому Экипажу. В памяти уцелели фамилии четырех из них: лейтенантов Головнина и Коргуева и мичманов Лесли и Матисена. Квартира наша состояла из 4-х комнат и кухни; одну комнату мы сдавали, со столом, лейтенанту Николаю Николаевичу Лосеву, огромному, заросшему густой черной бородой, мужчине, с застенчивой и незлобивой душой очень сильного физически человека. Все свободное от службы время он просиживал, запершись на ключ, у себя в комнате, выходя только к чаю, обеду и ужину.

Мне приходится остановиться на семейной жизни отца и сказать несколько слов о матери, что как сыну, мне особенно больно и тяжело.

Собственно говоря, брак отца трудно даже назвать таковым. Просто это было беззаветное принесение в жертву и самого себя, и своей молодой жизни, и своего счастья ради спасения одного несчастного существа от окончательной гибели. Для этого отцу

пришлось уйти в отставку, порвать почти со всеми знакомствами, отказаться от представлявшейся блестящей женитьбы и завидной карьеры и, главное, поссориться со своими родными. Дед чуть не умер от удара, когда узнал о безумном поступке старшего сына, проклял его и его жену, мою мать, и до самой смерти не пожелал видеть своей невестки. Перед смертью он примирился с вызванным телеграммой отцом, но с матери проклятия так и не снял, а проклял ее еще раз, узнав подробности женитьбы и семейной жизни своего сына. Последняя была настолько ужасна, что приходится положительно поражаться нечеловеческому терпению и, воистину, ангельской доброте моего несчастного отца, вынесшего на своих плечах 17-летнее каторжное ярмо семейного ада.

Драма отца долгое время оставалась тайной и для меня, и для посторонних. Все пребывали в уверенности, что отец женился «по любви», считали отца и мать счастливейшей супружеской парой и ставили их в пример другим.

Мать моя была дочерью петербургского мещанина Павлова и имела многочисленную родню, состоявшую из матери – моей бабушки, – совершенно простой, неграмотной старухи, брата – чиновника-пьянчужки, служившего в Экспедиции заготовления государственных бумаг, и пяти сестер, существ бесцветных и безобидных, из коих четыре довольно удачно вышли замуж, а пятая осталась старой девой и мыкалась по чужим домам прислугой «за все». С родней у отца, в описываемую эпоху, сношения, прерванные его женитьбой, еще не возобновлялись; исключение представляла только младшая из сестер отца, Анна Петровна (старшая, как я упомянул, умерла еще в 1890 г.), вышедшая замуж за сослуживца деда по пароходству Русского Общества, штурмана дальнего плавания Владимира Захаровича Избаша, участника турецкой войны 1877 года. Сжалившись над отцом, которого тетка Анна очень любила, несмотря на происходившие между ними частые недоразумения, она приехала в Петербург и познакомилась с его женой. Постепенно, с течением времени, впечатление от женитьбы отца стало сглаживаться, его родные мало-помалу начали

признавать мою мать, которая приобрела, так сказать, права гражданства, а в 1899 г., по возвращении из Сибири, родители были приняты «главой рода», адмиралом Владимиром Петровичем.

В марте 1894 г. отец получил перевод в Сибирский Флотский Экипаж. Этот перевод представлял большой плюс в материальном отношении. Из послужного списка отца видно, что в 18-м Флотском Экипаже, на должности младшего офицера в роте, он получал 1083 рубля в год, т. е. 90 рублей в месяц. Плавание же в заграничных водах оплачивалось «золотом», что давало, в мичманском чине, около 200 рублей в месяц.

Выехали мы на Дальний Восток через Одессу, на пароходе Добровольного Флота «Москва», и путешествие через экзотические страны – Суэц, Коломбо, Сингапур, Шанхай – произвело на меня неизгладимое впечатление, сохранившееся на всю жизнь.

Во Владивосток мы приехали в конце апреля 1894 г. и пробыли там до декабря 1898 г. Служба отца проходила, большею частью, на ледоколах («Силач», «Надежлый») и на берегу, в Сибирском Экипаже. В 1895 г. отца произвели в лейтенанты. В 1897 г. отец получил назначение на канонерскую лодку «Бобр», под команду капитана 2 ранга Моласа (бывшего в Японскую войну командиром «Петропавловска»). «Бобр», однотипный знаменитому впоследствии «Корейцу», плавал в японских водах, и мы с матерью переехали в Нагасаки. Своеобразная прелесть японской природы, оригинальные нравы и быт ее обитателей не могли не поразить моего детского воображения и не оставить следов в миросозерцании.

Эскадрой в японских водах командовал тогда (в 1897 г.) младший флагман, контр-адмирал Г. П.Чухнин, заклятый враг дяди отца, адмирала В.П.Шмидта, которого он возненавидел в бытность моего grand oncle'а командиром Тихоокеанского Флота. Владимир Петрович обошел тогда капитана 2-го ранга Чухнина, служившего старшим офицером на одном из кораблей эскадры деда, очередной наградой за обращение своего подчиненного с матросами, неслыханно-жестокое даже в те суровые времена. Мелочно-мстительный и злопамятный адмирал Чухнин перенес всю ненависть с

дяди на племянника и скоро сделал отцу службу под своим начальством совершенно невыносимой. Отца преследовали придирки, несправедливые выговоры и грубые «разносы» на виду у офицеров и команды, с очевидной целью вызвать его на дерзость и подвести под суд. Отец не выдержал систематических преследований и издевательств и решил оставить военную службу. В 1898 г. он вышел в запас и поступил на службу в Добровольный Флот, где получил место 2-го помощника капитана на пароходе «Кострома» (командир – кн. Маврокордато). «Кострома» совершала рейсы между Петербургом и Владивостоком, с заходом в Одессу, куда я с матерью и переехал. В августе 1900 г. я поступил в 1-й класс Реального Училища св. Павла.

Мы поселились в Стурдзовском переулке, против того самого дома бабушки Екатерины Яковлевны, который мачеха мошеннически себе присвоила. Одесса, родина отца, мне чрезвычайно понравилась; солнце, близость моря, мною страшно любимого, красочная, международная толпа, кипуче-жизнерадостный пульс большого торгового порта, темпераментные нравы подвижных, как ртуть, южан – все соответствовало моим симпатиям и душевному складу.

В конце 1899 года, в море, с отцом случился острый припадок болезни почек, мучивший его уже много лет и сделавший неспособным к несению службы. «Кострома» находилась тогда у берегов Англии. Отца высадили в Портсмуте и отправили в морской госпиталь, где ему пришлось пролежать около месяца. Отношение англичан к отцу было, по его словам, необычайно теплым и внимательным. Россией англичане очень интересовались, но насколько фантастические понятия имелись у них о нашей родине, явствует из того факта, что отца спрашивали о фамилии спикера русской нижней палаты (дело происходило за 6 лет до августовского манифеста о законосовещательной Думе!). Отец чрезвычайно симпатизировал англичанам. Особенным его одобрением пользовалась английская система воспитания юношества, заключавшаяся в закаливании с малых лет тела ребенка самыми

разнообразными видами спорта и во внедрении в него чувства собственного достоинства, понимания своих гражданских прав и обязанностей и гордости от сознания принадлежности к гражданам самой свободной в мире страны. Более же всего отцу нравилась английская конституция.

По возвращении в Россию отец, по советам врачей, решился на операцию почек. Операция прошла благополучно, но существенного облегчения не принесла, и до конца жизни отец страдал от периодических мучительных припадков своей болезни – прохождения камней.

В начале 1900 г. отец получил назначение на «Орел» (командир – капитан 2 ранга Скальский) и принял косвенное участие в Китайской кампании 1900-1901 гг. После «Орла» отец проплавал несколько месяцев на «Тамбове» (командир – лейтенант Остолопов). Служба в Добровольном Флоте тоже, в конце концов, не улыбнулась отцу, так как порядки там мало чем отличались от тех порядков на военных судах, из-за которых он и ушел с военной службы. В декабре 1900 г. он бросает Добровольный Флот и поступает в Русское Общество Пароходства и Торговли, где прослужит до начала Русско-Японской войны, когда его призывают из запаса.

В Русском Обществе его сперва назначают старшим помощником на роскошный пассажирский пароход «Королеву Ольгу» (командир – отставной мичман Деме), делавший рейсы от Одессы до Петербурга и обратно. В этой должности отец пробыл 8 месяцев, после чего получил в командование крошечный полубуксирный, полугрузовой пароходик «Полезный». На нем отец служил не более недели, затем последовательно командовал небольшим грузовым пароходом «Игорь», пассажирским, кавказской линии, пароходом «Святой Николай» и, наконец, большим грузовым океанским пароходом «Диана», на котором отец оставался до конца своей службы в Русском Обществе и с которым у меня связано множество дорогих воспоминаний.

И в военном, и в коммерческом флоте отец пользовался вполне заслуженной славой талантливого, опытного моряка, блестящего

офицера и человека идеальной честности. Сослуживцы относились к нему с величайшим уважением, матросы же его положительно обожали и были готовы за него в огонь и воду. Это не фраза с моей стороны и не вполне понятное пристрастие сына; если из читающих эти строки найдется кто-нибудь, служивший вместе с отцом хотя бы в продолжении самого короткого времени, он подтвердит слова мои.

Безумная вспыльчивость деда отчасти передалась отцу, и некоторые явления на службе и в жизни, которые он считал недостойными и возмутительными, совершенно выводили его из себя, заставляя часто терять всякое самообладание. Случалось, что отцу приходилось и несправедливо вспылить; надо было после этого видеть его горе и раскаяние! Он не находил себе места, чувствовал себя несчастнейшим человеком, пока, чуть не со слезами на глазах, не выпрашивал прощения у обиженного им, какого бы ничтожного положения ни занимал последний. В море от подчиненных отец требовал полного и безпрекословного повиновения; здесь он не допускал ни малейшего послабления, и солоно приходилось тому, кто покушался на его капитанский авторитет. Но в то же время, отец, всей душой уходил в заботы о своих помощниках и матросах и никогда не задумывался сцепиться в защиту их интересов с каким угодно начальством, не обращая внимания ни на последствия для себя лично, ни на заранее очевидную бесполезность, иной раз, своего заступничества.

– Под его благородием, папашенькой вашим, как у Христа за пазухой, можно сказать, живем, – говорил мне в 1905 г. один из матросов отцовского миноносца. – Вечно Бога буду молить за него и детям своим накажу, потому не было такого человека и не будет! – закончил мойсобеседник с такимгорячим и сильным чувством что даже слезы выступалиу него на глазах от волнения.

Но не одни матросы любили отца. Его любили все, кто только знал, кто хоть на короткое время сталкивался с ним в жизни.

Обаяние отца действовало неотразимо. Даже жандармский ротмистр, сторживший отца в очаковском каземате, даже про-

курор, добивавшийся для него смертного приговора, говорили о нем не иначе, как с удивлением и восторгом.

Летом 1903 г. я совершил с отцом путешествие на «Диане» из Одессы в Петербург. Это путешествие явилось нашим последним совместным плаванием, если не считать таковым перехода в качестве политических арестантов из Севастополя в Очаковскую крепость.

Осенью того же года с отцом произошло большое несчастье: на обратном рейсе в Одессу, около острова Мэн по недосмотру старшего помощника «Диана» наскочила на камни, получив большую пробоину. Пароход сняли с камней и отвели в док, но директор Общества, капитан 1-го ранга О.Л. Радлов, отставил отца от командования и вызвал его к себе для объяснений. Отец взял всю вину на себя, выгородив настоящего виновника, и, в результате оказался в своего рода «резерве» служащих О-ва, попавших в директорскую опалу и ожидающих назначения на должность. Неизвестно, чем бы окончилась эта неприятная история, если бы грянувшее объявление войны с Японией не призвало отца из запаса на действительную службу. Его назначили в 3-ю эскадру адмирала Рожественского, на огромный,в 15 тысяч тонн, угольный транспорт «Иртыш» (командир – капитан 2 ранга Ергомышев) на должность старшего офицера. Перед этим мы переехали в Севастополь и сняли большую квартиру в доме 83 на Екатерининской улице. Я получил перевод из Одесского Реального Училища в Севастопольское («Константиновское»), а 14 мая 1904 г. отправ
ился вместе с отцом в Либавский порт (иначе – Порт Императора Александра III) на дальние проводы. В порту стоял «Иртыш»; отец поместил меня в своей каюте и я прожил на «Иртыше» все каникулы. В августе, простившись с отцом, я вернулся в Севастополь. Осенью 3-я эскадра снялась и отправилась на Дальний Восток, но судьба избавила отца от созерцания цусимского позорища. В Немецком море отец настолько серьезно заболел своей обычной болезнью, что его пришлось высадить в Бресте. В начале 1905 года, вскоре после петербургских событий 9 января, отец

вернулся в Севастополь, был зачислен в состав Черноморского Флота и получил в командование миноносец № 262.

В феврале того же года между матерью и отцом произошел полный и окончательный разрыв. Мать уехала в Петербург, а мы с отцом решили не расставаться никогда. Оставив большую квартиру, отец снял маленький флигелек из 3-х комнат и кухни во дворе дома № 14 на Соборной улице. Здесь я провел последние счастливые дни своей жизни.

II

Наступила весна 1905 года. Начались съезды земских и городских деятелей. Отец, прикованный службой к Севастополю и морской среде, приходил в отчаяние от своего бессилия, от невозможности принять участие в том деле, о котором он мечтал всю жизнь. Настроение и политический индифферентизм его сослуживцев, морских офицеров, возмущали отца до глубины души, и часто в Морском Собрании он затрагивал такие темы и произносил такие слова, что все в ужасе разбегались от него, как от зачумленного. Говоря о политических убеждениях отца, следует принять во внимание обстановку, эпоху и полное незнакомство широких кругов тогдашнего общества с истинным характером и особенностями русского народа. В 1905 г., как и вся, почти без исключения, интеллигенция, отец горячо верил в русский народ, в его здравый смысл и политическую честность. Отца принято считать монархистом. Он им и был, но только применительно к времени и месту, по никак не по принципу. В одном из писем к сестре он пишет: «…По политическим убеждениям каждый социалист – республиканец; я хотя и склонен сам больше к республике – но нахожу пока возможным осуществление социалистических форм при демократической конституции в выборном начале, проведенных по всем ступеням власти»... Во всяком случае, царь для него являлся национальным символом, исторической традицией, наи-

более удобной и привычной *формой,* но никак не властью «Божьей милостью». – *Lé roi régne, mais ne gouverne pas*, – вот, в двух словах, его политическое credo. В области социальной отец с юношеских лет находился под исключительным влиянием публицистов Шелгунова и Карышева, особенно последнего. В этом отношении отец принадлежал к той категории прекраснодушных русских идеалистов, социалистические убеждения которых исходили, скорее, из сердца, из глубоко-осознанной мировой несправедливости, чем представляли продукт теории. Но, уверовав в социализм душой и сердцем, отец с жаром кинулся на изучение различных социальных доктрин, посвящая ему почти все свое свободное время. И рассудок не стал в противоречие чувствам. К тридцати годам социалистические убеждения отца настолько окрепли, что грядущее человечества не вызывало в нем уже нинется борцом за эту идею навсегда, тот не оторвет глаз своих от горизонта, на котором уже видится свет грядущей правды»...

Тем не менее социалистические верования отца настолько расходились с существовавшими тогда течениями среди российских социально-революционных партий, а его выводы бывали, порою, настолько своеобразны и неожиданны, что любой, «правоверный» социалист марксистского или черновского толка уличил бы отца в дерзкой и непростительной ереси. Не примыкая ни к одной из существовавших политических партий, отец находил приемлемыми для себя те или другие отдельные пункты из их программ, хотя бы каждая из этих программ в целости совершенно не соответствовала его убеждениям. Так, например, он присоединялся к земельной платформе с. р-ов, резко осуждаемых им за террор, и к программе государственного устройства конституционно-демократической партии, пользовавшейся, в общем, большими симпатиями отца, хотя он и находил слишком слабыми и нерешительными ее методы борьбы с самодержавным правительством (пресловутые парламентские приемы). Но одно могу сказать с полной уверенностью: к марксистам отец питал худо скрываемую антипатию. Их интернационализм, их безразличное

(в лучшем случае) отношение к идее национальной государственности, теория борьбы классов, низведение к нулю человеческой личности как в истории, так и в жизни – все отталкивало отца от марксистов, все внушало ему убеждение в беспочвенности, неприемлемости и вредоносности их идей для русского народа. Не лишены интереса те строки – письма его в редакцию петербургской газеты «Сын Отечества», где он критиковал земельную программу российских социал-демократов.

«Я...считаю теорию экономического материализма неполноценной и недостаточно разработанной. Теория эта, игнорирующая психические факторы, не может руководить практической деятельностью социалистов. Руководя социал-демократами и недостаточно полно освещая общественные явления, она неизбежно привела их к грубым ошибкам в их программе по земельному вопросу. Социал-демократы, выступая теперь со своей исправленной программой, идут на временную уступку насущным требованиям крестьян, рассматривая их наделы с правом продажи из рук в руки. Они этим нисколько не избавляют крестьян от мучительного в будущем перехода к обезземлению, от которого, по их мнению, только и возможен переход к общинно-государственному владению землей.

Они не хотят понять, ослепленные не вполне научной теорией, что они отворачиваются от существующего взгляда крестьянина на землю: «земля ничья – Божья», и стремятся воспитать в нем, путем увеличенных наделов, сторонника собственности. Они хотят искусственно навязать русскому крестьянину взгляд на землю немецкого крестьянина. Они не хотят видеть, что этот взгляд на землю, как на частную собственность, служит тяжелым тормозом в работе немецких социалистов. Они приносят, таким образом, в жертву плохой теории главную задачу всех социалистов – ускорить процесс и без того неизбежного государственного переустройства. Тот, кто ничего не делает, тот меньше задерживает естественный процесс переустройства, чем это делают русские социал-демократы... Это ясно для каждого беспристрастного социалиста... С.-Д. стремятся перетащить на русскую почву готовые

программы германских социалистов, игнорируя диаметрально противоположный взгляд на землю немецкого и русского крестьянина. Такое перетаскивание программы, нам чуждой, бесконечно вредно для решения земельного вопроса в России»...

Отец был искренним глубоким патриотом в лучшем смысле этого слова. Глубоко не сочувствуя нашей войне с Японией, называя эту войну «скверным, неправым делом», отец, тем не менее, мучительно переживал каждую нашу неудачу, скорбел всем своим горячим, порывистым сердцем о гибнущей русской славе, проклиная преступно-небрежное ведение войны правящими верхами.

В марте начались волнения среди воспитанников средней школы. Пример подали мы, реалисты, разбив окна квартиры преподавателя французского языка, швейцарца Воше, ненавидимого всеми учениками. За нами последовали гимназисты, доведенные до отчаяния системой воспитания своего директора Е.И. Ветнека, прирожденного сыщика и иезуита. Отец, кумир севастопольской учащейся молодежи, принял в наших делишках горячее участие, выступал на заседаниях родительских комитетов с речами против косности российских педагогов, их казенного, бездушного отношения как к делу воспитания юношества, так и к самим воспитанникам. Родители приходили в ужас от смелых речей отца, встречали, на первых порах, каждое его выступление шумом и негодующими восклицаниями, но отцу, все же, в результате горячих и длинных споров, всегда удавалось увлечь осторожных и боязливых родителей за собой и заставить их голосовать и принимать решение в желаемом отцу направлении. Особенную популярность среди учащихся доставило отцу его столкновение с нашим директором, д. с. с.К.О. Милашевичем, едва не кончившееся весьма плачевно для сего заслуженного педагога. Преподаватель русского языка в 6-м классе (фамилию не помню) стал на уроке прохаживаться насчет революционеров и революции. Двое учеников осмелились ему возразить и, в результате, были выгнаны сначала из класса, а затем и совсем из училища. Все это произошло в какой-нибудь час времени. Дома, за обедом, я рассказал

об истории отцу. Отец пришел в ярость, вскочил из-за стола, надел сюртук и помчался в училище. Директор случайно задержался у себя в кабинете после классов, и между ним и отцом произошла сцена, занявшая одно из главных мест в летописях севастопольской «реалки». По рассказам очевидцев – учителя истории и двух помощников классного наставника, директор сначала не понял отца, потом удивился, затем оскорбился и «покорнейше» попросил отца не вмешиваться в его «функции».

Когда же отец возвысил голос и, наступая на действительного статского советника, потребовал немедленного обратного приема уволенных, директор окончательно вышел из себя и начальнически предложил «г-ну лейтенанту» покинуть его кабинет. Но г-н лейтенант схватил стул и с криком «Убью!» кинулся на своего противника. Ошалевший от страха действительный забегал по кабинету, взывая: «Спасите меня от этого сумасшедшего!». Отец, со стулом в руках, погнался за ним, помощники классного наставника, в свою очередь, погнались за отцом, стараясь вырвать у него стул.

Скандал получился невероятный. На шум сбежались сторожа, но, сгрудившись у дверей, предпочли сохранять нейтралитет. Наконец, отец опомнился, бросил стул, плюнул, выругался, отер пот с лба, еще раз плюнул и выбежал вон. Придя домой, он крепко поцеловал меня и сконфуженно проговорил:

– Ну, брат, ругай меня. Хотел выручить твоих товарищей из беды и только тебе напакостил. Ничего, как-нибудь выкрутимся!

Но «выкручиваться» не пришлось. Перепуганный насмерть директор не посмел воспользоваться мной, яко козлом отпущения. Ведь, с «сумасшедшим» шутки плохи! Наоборот, вызванный на другой день к доске Константином Осиповичем, преподававшим в нашем классе естественную историю, по которой я никогда не подымался выше трех баллов, я, к величайшему своему удивлению, после двух пустяковых вопросов, был награжден пятеркой и благосклонным кивком головы, с замечанием, что моему «уважаемому батюшке будет, наверное, отрадно убедиться в блестящих успехах своего сына в такой науке, как естественная история».

Когда я, смеясь, поздравил отца со своими «блестящими» успехами, он густо покраснел, закрыл лицо руками и подавленно прошептал: «Как мне стыдно за себя... и за него».

Исключенных скоро приняли обратно.

Май принес каникулы, и мы с отцом стали пользоваться ими вовсю. Шли с утра на Приморский бульвар, купались, обедали на открытой веранде ресторана, гуляли под руку по залитым горячим весенним солнцем улицам очаровательного городка, усталые и счастливые возвращались домой и проводили последние часы в кабинете отца, то вспоминая прошлое, то оживленно споря, то читая друг другу вслух наших любимых авторов – Достоевского и Тургенева.

Чтобы обрисовать наши отношения, нет надобности вдаваться в подробности. Достаточно привести слова отца обо мне в одном из писем к г-же Р., недавно опубликованных: «...он мой друг, сын, брат, и мне кажется, что я заменяю ему даже мать. Я горжусь нашими отношениями. Он – моя бесспорная цель и смысл жизни»...

От себя могу прибавить, что отец заменял мне не только мать, но и весь мир. С его смертью жизнь потеряла для меня всякую ценность, и если я продолжал еще жить, то только затем, чтобы лелеять в душе беспощадную месть его убийцам. А потом... потом жизнь стала скучной привычкой, и, рискуя ею много раз, я не находил силы самому оборвать тонкую, но крепкую нить. Видно, «неприличная любовь» отца к жизни передалась мне по наследству...

День телеграммы о Цусиме, 15 мая 1905 г. был для нас роковым. Этот день явился той точкой, откуда судьба отца моего получила резкий и неожиданный толчок к трагическому и короткому пути.

В то солнечное, тихое утро отец рано ушел, а я сидел дома, увлекшись решением геометрической задачи. Скоро, один за другим ко мне стали забегать одноклассники, от которых я узнал, что по городу ходят самые невероятные слухи о судьбе III эскадры. Официальной телеграммы еще не получалось, и проверить справедливость этих сведений не представлялось возможным. Но все же чувствовалось и угадывалось что-то ужасное; слухи были слишком настойчивы и однообразны.

За час до обеда с треском распахнулась дверь и в столовую ворвался отец. Я взглянул на него и обомлел. Он был в пароксизме такого невероятного сумасшедшего бешенства, в каком я ни разу не наблюдал его (а я видал виды!). Лицо его почернело и дергалось судорожными гримасами, глаза потеряли человеческое выражение и стали стеклянными и незрячими, чуждыми и страшными. В горле у него хрипело и клокотало.

Видимо, отец боролся со спазмами, душившими его, не мог их осилить и задыхался. Я, в ужасе, бросился к нему. Отец на меня и не взглянул, да вряд ли он и видел тогда перед собой. Рванув обеими руками воротник белоснежного кителя так, что отлетели крючки, отец, в исступлении, забегал из угла в угол, отбрасывая ногой попадавшиеся ему на дороге стулья. Наконец, душивший его страшный гнев получил выход, и стекла нашей квартиры зазвенели от его неистового крика.

– Альфонсы! – гремел отец. – Альфонсы на содержании у государства! На голову народа обрушился позор, позор кошмарный, неслыханный, невероятный, а эти мерзавцы, эти предатели, эти сутенеры в белых перчатках и лакированных башмаках сидят с б...ми в ресторанах, пьют шампанское и гнусят с подлой усмешечкой: . «Ну, что-ж, пошлем новую эскадру!» То-есть пусть новые жертвы, новая кровь, новый позор, а нам дела нет, мы, по-прежнему, будем кутить с проститутками и состоять на содержании у народа! Мы – белая кость...

Откуда эти люди? Кто они? Идиоты или преступники? Русские или мексиканцы? Что они думают, чем живут, какие чувства владеют их жалкой душой?

И отец, в полном изнеможении, кинулся в кресло. Целую неделю он был вне себя от страшного горя, близкого к полному отчаянию. Днем он или лежал у себя в кабинете, с окаменевшим лицом и неподвижными глазами, или уходил из дому на целый день, возвращаясь лишь поздно вечером измученным и усталым. Ночью же почти не спал, забываясь только под утро. Часто, просыпаясь глубокой ночью, я слышал, через две комна-

ты, его нервные, порывистые шаги взад и вперед по кабинету. Погруженный в поработившие его черные думы, отец только изредка обращался ко мне с тем или иным коротким вопросом, сейчас же забывая его.

Хорошо зная отца, я ни о чем его не расспрашивал. Я был уверен, что долго таиться он от меня не сможет, и, прийдя наедине с самим собой к какому-нибудь выводу, широко и доверчиво, как это умел делать только он, откроет мне свою душу.

Так оно и случилось. Однажды, к концу недели, отец вернулся домой ранее обыкновенного. При взгляде на него мое сердце забилось от радости. Он точно пробудился от долгого, тяжелого сна. Морщины разгладились, глаза просветлели и улыбались. От всего его облика излучались столь мне знакомые бодрость, надежда и жизнерадостность. За обедом он много шутил и смеялся, словно вознаграждая меня за продолжительное невольное одиночество. Прислуживал нам вестовой отца, Андрей, или «Эндрьюс», как в шутку, на английский лад, его называл отец, и я с нетерпением ждал конца обеда, понимая, что не такого рода разговор будет у меня с отцом, какой мог бы вестись при постороннем. Ожидания меня не обманули.

По окончании обеда мы перешли в кабинет и закурили папиросы. Отец расположился на chaise-longue'е, а я взобрался с ногами на оттоманку и приготовился услышать то, о чем в столовой не говорилось.

Отец пристально посмотрел на меня, помолчал, встал с кресла и пересел ко мне на диван.

– Хоть ты и мальчик еще, – начал он, положив свою руку на мою, – многого не понимаешь, но ты мой друг – и нет от тебя тайн. У меня созрел план. План, положим, не совсем мой, так как идею я взял у тверичан. Надеюсь, ты слыхал о них?

Я кивнул головой и со смехом продекламировал:

Принахмурив очи строгие,
Чтобы в корне зло пресечь,
Коноводам демагогии
Царь сказал такую речь:

«За благие пожелания
Вас я всех благодарю,
Но бессмысленны мечтания
Власть урезать мне, Царю.
Ах, калики перехожие!
Либералы! Дикари!
Провинцьялы толстокожие!
Сан-кюлоты из Твери!
Или вы воображаете,
(В самом деле, как умно!),
Что собою представляете
Вы парламента зерно?!
Далеко зерну до колоса!
Не пришла еще пора!..
Дам пока вам право голоса
Лишь для возгласов «ура!»

Отец слушал с улыбкой. Когда я кончил и победоносно взглянул на него, он слегка дернул меня за ухо и продолжал:

– Ну так вот. Слово правды, сказанное тогда Государю, шло от земцев, представителей общественного мнения, людей штатских. Если же это слово Царь услышит из уст военных – ручаюсь, что последствия будут несколько иными. Голос армии – штука слишком веская и серьезная, чтобы можно было от нее отмахнуться.

Верю... хочу верить, по крайней мере, что найдутся во флоте смелые, честные люди, готовые рискнуть всем – карьерой, самой жизнью ради отечества. Их не может не быть, надо только их отыскать.

Сорганизовавшись, мы сумеем привлечь на свою сторону слабых и нерешительных. Мы убедим их, что преступно думать о теплых местечках в тот страшный час, когда родина гибнет, когда решаются судьбы многих и многих поколений! Нет, не может русское офицерство быть поголовно врагом вскормившего его народа!

Голос отца дрогнул от волнения. Я был глубоко тронут, и глаза мои увлажнились. Но быстро оправившись, я постарался трезво взглянуть на вещи.

– Идея твоя, сама по себе, превосходна, – ответил я отцу, – но не слишком ли ты ... надеешься? Ведь, чуть ли не вчера ты негодовал на наших офицеров, кутивших и веселившихся в день получения телеграммы об уничтожении III эскадры! Известие о гибели последней надежды России, выходит, нимало не отразилось на настроении черноморцев – как будто несчастье произошло не с нами, а с мексиканцами. Я повторяю твои же слова.

– Я на всех и не рассчитываю, – с неудовольствием возразил отец. – Как туго ты стал понимать меня! Достаточно для начала 10-15 человек.

– Даже и это число кажется мне слишком большим.

– Ну, пять, три, два человека, наконец! – рассердился отец. – Два человека – столько-то ты допускаешь?

– Допускаю, – согласился я с невольной улыбкой.

– Ну, вот видишь! – оживился отец. – А остальное – дело времени. Число наших единомышленников будет расти, как снежный ком, и, рано или поздно, образуют такую внушительную силу, что представители «исконных начал» должны будут спасовать перед ней...

– Другими словами, – перебил я отца, – «ответ» тверского земства ты хочешь повторить с офицерами Черноморского Флота. Прекрасно. Ну, а если из «опыта» ничего не выйдет? Если всех вас – пусть, сто, двести, тысячу человек, арестуют и упрячут в Шлиссельбург? Тогда что?

– Этого не случится, – спокойно возразил отец. – Петицию мы подадим только тогда, когда за нашими спинами будет стоять весь Черноморский Флот.

– Следовательно, вам придется сперва распропагандировать и заручиться содействием всех офицеров и матросов?

– Несомненно. Безусловно всех.. Такое дело можно начинать, имея в руках если не все сто, то, по меньшей мере, девяносто

шансов на успех. Я не говорю, что все произойдет по щучьему велению. Работа огромная, ответственность страшная. Бог весть, сколько времени понадобится. Быть может, несколько лет.

– Ах, так! – вздохнул я с облегчением, успев порядочно перетрусить за своего горячо любимого отца, отважного до безумия, порывистого и увлекающегося до безрассудства.

– А как же иначе? – удивился отец. – Дело, ведь, пойдет не об одной моей голове, а о сотнях и тысячах. «Авось» и «небось» в нашем правом и святом деле – преступление, коему нет ни прощения, ни оправдания...

– Прости, ты все говоришь «мы» и «наше дело». Не правильнее ли говорить пока в единственном числе?

– Нас уже двое, – таинственно сообщил отец. – Неужели не догадываешься?

– Витя? – быстро «догадался» я.

– Он самый.

«Витя», иначе Виктор Генрихович Володзько-Костич, капитан корпуса инженер-механиков флота, был старинным другом моего отца и сослуживцем его по Тихоокеанскому Флоту, в середине 1890-х годов. Что называется, «рубаха парень», великолепный товарищ, не дурак выпить и закусить, плодовитый импровизатор «охотничьих» рассказов, отчаянный волокита, общий любимец и большой добряк, он стоял, во всех отношениях, неизмеримо ниже моего отца. Я не задумывался над причинами их искренней и глубокой дружбы, привыкнув с малых лет видеть их постоянно вместе. По всей вероятности, здесь оправдывалась старая истина – «крайности сходятся»; отца трогала безграничная привязанность Вити, поддерживавшая его в тяжелые минуты, Витя же благоговел перед отцом, бесконечно гордился его дружбой и готов был перегрызть горло всякому, кто осмелился бы кинуть на отца косой взгляд. За три года перед тем, неожиданно не столько для окружающих, сколько для себя самого, Витя женился на милой девушке, дочери орловского помещика, но, закоснелый холостяк в душе, теперь решительно не знал, что с ней делать.

– Действительно, догадаться не трудно, – согласился я. – Представить вас друг без друга мудрено, даже невозможно. Братья Аяксы! Ты, значит, посвятил его в свои планы?

– В двух словах. Планы мои слишком еще схематичны. Сегодня он к нам зайдет и мы славно проведем вечер. Отправимся на бульвар, посидим на террасе, выпьем по стакану вина, полюбуемся на закат, послушаем музыку... Идет?

– Идет! – в восторге закричал я, кидаясь отцу на шею.

III

Первые недели каникул промелькнули, как сон, незабываемый, единственный и прекрасный. Наша троица – отец, Витя и я – была неразлучной. Вместе мы совершали длинные экскурсии к Георгиевскому монастырю, вместе переплывали Южную бухту, отдыхая на полдороге на обросшем водорослями буйке, вместе обедали на бульваре или пили кофе в знаменитой кондитерской Мисинского (на месте тепершнего кафе Ветинского), заканчивая день или в Летнем театре, или у Вити, в обществе Марии Павловны, его жены, или же у нас, в отцовском, кабинете, вспоминая невозвратное прошлое, жизнь в Японии и Владивостоке, долгие плавания, штормы и бури, сотни событий и приключений, то трагических и опасных, то комических и забавных, которыми так богата жизнь моряка.

В один прекрасный июньский вечер ко мне явилась целая орава друзей-одноклассников, а через несколько минут после них – и Витя Володзько.

Когда в столовой накрыли к вечернему чаю, отец увел Витю к себе в кабинет, меня же оставил с друзьями, пригласив быть внимательным и гостеприимным хозяином.

Вечер прошел прекрасно. Все были охвачены заразительной беспричинной веселостью, свойственной только юности. Времени никто не замечал, а когда спохватились, шел уже второй час ночи. По уходе друзей, когда я собирался ложиться, а сонный Андрей, недовольно ворча, приводил в порядок растерзанный чайный стол,

отец позвал меня в кабинет и запер дверь на ключ. Я осмотрелся, Витя успел уйти.

Отец вынул из ящика письменного стола с дюжину конвертов большого формата и аккуратно их разложил. Я подошел и прочел адреса, надписанные на конвертах рукою отца: «Главному Командиру Черноморского Флота и портов Черного моря»; «Начальнику минной дивизии»; «В штаб линейных кораблей Черноморского Флота»; «Кают-компании броненосца I ранга «Ростислав»; «Кают-компании крейсера I ранга «Очаков» и т. д. в том же роде.

Я с недоумением переводил глаза с отца на конверты и ничего не понимал. Отец усмехнулся, опустился на chaise-longue, закурил папиросу и задумчиво устремил взор куда-то мимо меня. Я выжидал, продолжая недоумевать.

– Ну, сынишка, первый шаг будет сделан завтра, – проговорил, наконец, отец. – Ты не забыл, конечно, нашего разговора... того, недавнего? Помнишь?

Сердце у меня ёкнуло, но я все еще ничего не понимал.

– Неужели забыл? Быть не может! Офицерский союз, о котором я тебе говорил, основан – «Союз офицеров – друзей народа» существует уже несколько дней. Пока нас немного, 4 человека – Володзько, Вердеревский, Гармсен и я. Скоро, я надеюсь, нашего полку прибудет. И вот почему.

Отец взял один из конвертов и вынул оттуда исписанный лист.

– Во всех остальных – то же самое, – пояснил он. – Завтра весь командный состав Черноморского Флота прочтет наше воззвание, а послезавтра можно будет судить, насколько обоснованными были мои надежды. Слушай.

И отец прочел свое воззвание «К офицерам Черноморского Флота», воззвание, явившееся первым вестником приближавшегося урагана. Вот оно, насколько не изменяет мне память:

«Господа офицеры славного Черноморского Флота!

Вы не можете не знать о том, что происходит.

Вы не можете не знать, что правительство, навязавшее

стране неслыханно позорную войну, продолжает душить свой народ, стремящийся сбросить цепи тысячелетнего рабства.

Вы не можете не знать, что это правительство, ненавидимое всеми классами русского общества и опирающееся на одни штыки, безжалостно и неуклонно ведет страну к небывалой катастрофе.

Как часть российских вооруженных сил, вы не можете не знать, что многое от вас зависит в завязавшейся кровавой борьбе.

Как русские люди, вы не можете желать зла своему народу, желать видеть его несчастным и порабощенным.

Ваше отечество, ваша совесть, ваше высокое звание зовут вас исполнить свой офицерский долг. Грядущие поколения будут судить вас, ибо велики права ваши и священны ваши обязанности.

Офицеры славного Черноморского Флота! Составляйте петиции на Высочайшее имя! Просите, умоляйте, требуйте у Государя Императора дарования действительных конституционных гарантий, давно составляющих неотъемлемую собственность всех культурных народов.

Составляйте петиции, организуйтесь и присоединяйтесь к нам.

Союз офицеров – друзей народа».

Отец кончил и вопросительно взглянул на меня. Я сидел совершенно ошеломленный, не и силах шевельнуть языком.

– Тебе не нравится? – спросил отец после томительной паузы.

– Напротив, – пробормотал я, приобретая дар слова, – воззвание недурно... сжато, сильно... но... но неужели ты, в самом деле, думаешь его отправить по всем этим адресам?!

– Зачем иначе я стал бы его читать? – с неудовольствием возразил отец. – Твой испуг меня удивляет и огорчает. Кажется, я тебя достаточно подготовил да и знаешь ты меня хорошо. Показывать кукиш в кармане – не в моем характере.

Отец встал и запер пакеты обратно в ящик. Видимо, я сильно его огорчил. Я был совершенно уничтожен и, подавленный, молчал, низко опустив голову.

– Надо же когда-нибудь начать, голубчик, – сжалившись над моим смущением, промолвил отец, потрепав меня по плечу. – Да ты не унывай прежде времени. Воззвание – пустяки, пробный шар, не более, и никого из нас не скомпрометирует. Пошлем, узнаем, как отнеслись, а там видно будет.

– Так-то оно так, – продолжал я сопротивляться, – но неужто, повторяю, ты серьезно уверен, что твое воззвание хоть на йоту изменит настроение той касты, на которую ты сам давно махнул рукой?

– Если, благодаря нашему воззванию, откроются глаза хотя бы у одного офицера, я и тогда буду считать свою задачу выполненной. Сразу, брат, ничего не выходит. Завтра все эти конверты отправятся по адресам, а теперь ступай спать, уже поздно.

Я долго не мог заснуть, перебирая в уме всевозможные последствия от предстоящего шага отца, но не пришел ни к какому выводу.

На другой день, утром, набросив на плечи плащ и пристегнув кортик, отец вышел со мной из дому, пряча под плащом толстый пакет. Я знал, что это за пакет, но, приняв самый беззаботный вид, начал болтать с отцом о каких-то пустяках, хотя на сердце у меня скребли кошки. Отец отвечал в том же духе.

Дойдя до конца Екатерининской, отец перешел улицу, остановился у почтового ящика, вынул из-под полы объемистую пачку конвертов и, один за другим, стал опускать их в ящик. Последний конверт заупрямился и долго не хотел влезать. Я, как на иголках, следил с противоположного тротуара за всей этой операцией, ожидая, в простоте душевной, что сейчас все откроется, отца схватят, арестуют и...дальше фантазия отказывалась работать. Но вот последний конверт благополучно отправился по назначению, отец, улыбаясь, пошел обратно ко мне, и я вздохнул с облегчением.

– Гора с плеч, – сказал отец, беря меня под руку. – Все казалось, что помешают. Ужасное идиотство!

– Представь, и я того же боялся, – признался я отцу в свою очередь.

– Ну, значит, les beaux esprits se rencontrent! – засмеялся отец, окончательно развеселившись.

Мы пошли на бульвар посидеть, подышать свежим воздухом и пообедать на открытой веранде приморского ресторана.

Этому дню суждено было сделаться для меня днем неожиданностей, не скажу, чтобы очень приятных. Придя на бульвар, мы увидели на скамейке Марию Павловну Володзько, ожидавшую мужа, и подсели к ней. Не успел отец перекинуться с Марией Павловной и двумя словами, как перед нами, будто из-под земли, выросла фигура главного командира, вице-адмирала Чухнина. Эта отвратительная личность всегда мне внушала какой-то ужас, я точно предчувствовал ту кровавую роль палача, которую Чухнин сыграл впоследствии для отца. Чухнин подошел к нам вплотную и, меряя отца с головы до ног горящим злобою взглядом, грубо, по-хамски, набросился на него:

– Что это вы, лейтенант Шмидт, в плаще щеголяете? Не по сезону-с! Приказ по флоту читали?*)

– Так точно, ваше превосходительство, читал, – почтительно ответил отец, держа руку у козырька фуражки.

Спокойствие отца еще более взбесило адмирала.

– Читал, читал! – гнусаво передразнил он отца и вдруг заорал во все горло: – Читали-с?! Читали-с?! Читали – и не исполняете? Кто ваш прямой начальник?

– Начальник минной дивизии, контр-адмирал Данилевский, ваше пр-ство, – отрапортовал отец.

– Доложите адмиралу Данилевскому, что его подчиненные не исполняют приказов Главного Командира. Пусть адмирал наложит на вас взыскание, какое найдет нужным.

– Есть!

– Имейте в виду, что в следующий раз так легко не от-

*) С 1-го мая чины Черн. Флота носили белые кители, брюки и фуражки. Ношение смешанной одежды воспрещалось.

делаетесь, – гнусил Чухнин, все более распаляясь злобой. – И почему воротник у вас застегнут на один крючок? Если не исполняете приказов, то хоть соблюдайте установленную форму! Франтите, молодитесь, – ядовито продолжал он, бросив взгляд в сторону Марии Павловны, – а службой манкируете. Служба, господа, прежде всего. Потрудитесь немедленно застегнуться на второй крючок.

– Жарко, ваше пр-ство, – с улыбкой доложил отец, настроенный в тот день очень миролюбиво.

– Что?! Молчать!! – дико заревел Чухнин, даже отступив от удивления. – Нет, вы, положительно, рехнулись! Забыли, с кем разговариваете? О чем вы думаете, хотел бы я знать!

Лицо отца пошло пятнами и задергалось судорогами гнева, в глазах появился столь знакомый мне неистовый огонь – обычный предвестник припадков его безумной вспыльчивости. Но отец сдержался и дрожащим от клокочущего бешенства голосом проговорил:

– О России, ваше превосходительство.

Адмирал остолбенел от такого неслыханно-дерзкого ответа, но, взглянув на отца, видимо решил, что продолжать натягивать струну – не в его, Чухнина, интересах. Он скрипнул зубами, кинул на отца взгляд смертельной ненависти и почел за благо удалиться, не проронив больше ни слова.

Я сидел ни жив, ни мертв, бедная Мария Павловна была близка к обмороку, но отец скоро успокоился и стал шутить и смеяться.Через полчаса к нам присоединился и Витя Володзько, один из членов грозного «сообщества», и отец пригласил его пообедать вместе с нами. Мария Павловна заторопилась к грудному ребенку, оставшемуся дома с кормилицей, а мы втроем отправились в ресторан. За столом я не прислушивался к разговору отца с его другом, погруженный в невеселые мысли, навеянные столкновением с Чухниным, и только к концу обеда обратил внимание на слова отца, сказанные им Вите вполголоса:

– Итак, завтра в 8 часов. К этому времени воззвание разойдется по городу и судам, и можно будет обменяться сделанными наблюдениями. Я ухожу, положим, завтра в море (Женьку

беру с собой), Вердеревский тоже, так что первые, самые интересные, наблюдения произведешь ты. Словом, ты один будешь завтра изображать гидру революции, – шутливо закончил отец.

«Гидра» растерянно моргала глазами и имела такой комический и недоумевающий вид, что я невольно подумал: если Витя и «гидра», то гидра совсем не опасная.

– Ничего, ничего, – продолжал отец, ободряюще хлопая Витю по плечу, – приучайся, брат, к роли заговорщика!

Витя криво улыбнулся, надел фуражку и, пока отец расплачивался за обед, облокотился на перила, задумчиво устремив взор в бесконечную серо-голубую даль.

«Бедный, бедный», болело за отца сердце, «всегда ты был и будешь один!»

– Позволь быть с тобою вполне откровенным, – сказал я отцу, когда мы покинули ресторан и распрощались с Витей. – Разрешаешь?

– Что за вопрос!

– Витя милый, превосходный человек, чудный товарищ, но вряд ли тебе сочувствует. Т. е., может быть, и сочувствует, даже наверное сочувствует, но не подходит для того дела, которое ты начал. В нем нет ни твоих порывов, ни твоего горения, ни... твоих убеждений, если ты хочешь знать мое мнение до конца, он *тебя* любит, *тебе* верит, и если пойдет, то пойдет за *тобой,* а не за идеей. Возможно, что слепое доверие не только не вредит делу, а, наоборот, поможет, но если и остальные, Гармсен и Вердерсевский, похожи в этом отношении на Витю, то... – Я замялся.

– То преступно тащить их за собой, хочешь ты сказать? – докончил за меня отец.

– Вовсе нет!.. – запротестовал я.

– Но неужели ты настолько плохо меня знаешь, – продолжал отец, не слушая, – что мог допустить, хоть на секунду, какую бы то ни было опасность для всех моих друзей? «L'état – c'est moi», сказал Людовик XIV. «Союз офицеров – друзей народа» – это я», могу я сказать с тем же правом. Воззвание написано моей рукой (я даже почерка не

менял), это можно установить в любое время, и не будет никаких оснований мне не верить, если я заявлю, что «Союз» – миф, что его не было и нет, а есть лейтенант Петр Шмидт. Моих знакомых могут, конечно, подозревать, но доказательств никаких не найдут. Да и мало ли с кем я могу быть знакомым. Удовлетворен?

– Как мог ты так нехорошо перетолковать мои слова! – с горечью вырвалось у меня. – Все твои поступки непререкаемы и непогрешимы в глазах моих. Я сомневаюсь только в конечных последствиях от пребывания в «союзе» таких людей, как Витя. Мало взять; надо и удержать.

– Не сомневайся. Когда три четверти офицеров Черноморского Флота, каковы бы они ни были сами по себе, станут членами «Союза», и мы, опираясь на 12-дюймовки морских батарей, возвратим народу его права – думать об «удержании» этих прав нам не придется. Народ сам их удержит, не беспокойся!

– Ты серьезно уверен, что может наступить момент, когда, если не все, то во всяком случае большинство офицеров перейдет на твою сторону?

– Поживем – увидим, – уклонился отец от прямого ответа. – Чтобы победить, необходимо верить в успех; иначе не стоит и начинать – провал заранее обеспечен.

Я замолчал, полный смутных надежд, неопределенной тревоги и противоположных чувств. Так хотелось уверовать в чудо, сказку, несбыточную, но от того еще более прекрасную!

IV

На другой день мы вышли с отцом в море на миноносце, захватив с собою Колю Баль и моего домашнего учителя французского языка, mr Дюпюи. После минного ученья миноносец пошел в Ялту. Была сильная зыбь, и я, к своему стыду, заболел морской болезнью, пластом пролежав до самой Ялты на покатой стальной палубе нашего суденышка. В Ялте мы отлично провели время.

Наняли экипаж и поехали в горы, полюбовались роскошной панорамой, слезли, бегали взапуски, боролись, играли в чехарду, слегка вздремнули под сенью гостеприимной пещеры, наконец, вернулись в город и пообедали в одном из лучших ялтинских ресторанов. За обедом пили шампанское и белое крымское вино, так что в Севастополь воротились в весьма приподнятом настроении. Дома отец переоделся, попрыскался одеколоном и куда-то побежал. Я разлегся на диване с «Всадником без головы» в руках и стал поджидать отца. В 9 часу отец вернулся со своим сводным братом, недавно приехавшим в Севастополь по личному делу, лейтенантом В. П. Шмидтом (выкинувшим из своей фамилии букву «д» после казни отца), старшим сыном деда Петра Петровича от его второго брака с Ольгой Николаевной Бутеноп (младший брат, Лев Петрович, 20-летний мичман, погиб 31 марта 1904 г. на «Петропавловске» вместе с адмиралом Макаровым). Своего дядю я видел всего второй раз в жизни; с первой же встречи я почувствовал к нему сильнейшую антипатию, главным образом, потому, что он был сыном женщины, причинившей моему отцу много зла. Но потом я убедился, что и сам по себе дядюшка не заслуживает иного отношения. Беспринципный карьерист, не столько «службист», сколько тонкий льстец и подлиза (не брезгающий доносами), грубый и безжалостный в своем каком-то зверином эгоизме, вероломный до мозга костей, способный на самое подлое предательство и самую черную неблагодарность ради гнусного расчета – таков был мой дядя, которого отец, обняв за талию, ввел в нашу столовую. Я знал, что вечером должны собраться члены «Союза» и недоумевал, что за фантазия пришла отцу в голову захватить с собою человека, не внушавшего доверия ни с какой стороны. Оказалось, отец хотел приобщить брата к своим единомышленникам: для сего же требовалось сперва позондировать почву.

Мало-помалу, за чайным столом уселись все потрясатели основ, и отец завел общий разговор. С воспоминаний о Японской войне он незаметно перешел на современные политические события и стал постепенно раскрывать свои карты. Я с большим удовольствием наблюдал, как дядюшка заерзал на стуле, взглянул на часы, вско-

чил и, пробормотав: «Прости, милый Петя, спешу», сделал общий поклон, пулей вылетел из столовой, рванул с вешалки фуражку, хлопнул дверью – и был таков. Володзько, Гармсен и Вердеревский застыли на несколько секунд с раскрытыми ртами, но затем последовал взрыв такого громового хохота, что даже Андрей высунул из прихожей свою ухмыляющуюся физиономию. Я тоже смеялся до слез, и лишь один отец сидел сконфуженный и печальный. Он стыдился и своего брата, и своего доверия.

В интересах справедливости, считаю долгом упомянуть, что чрезмерная неосторожность отца обошлась без всяких последствий для членов «Союза». Очевидно, благонамеренный дядюшка сообразил, что донос на собственного брата принесет ему больше вреда, чем пользы.

Когда веселость несколько улеглась, Володзько сделал «доклад». Он узнал, что адмирал Чухнин, в ответ на словесный рапорт своего начальника штаба о получении «возмутительной прокламации» почти всеми кают-компаниями судов Черноморского Флота, пренебрежительно процедил сквозь зубы: «Они и меня почтили». На робкий вопрос, какие меры его превосходительство думает предпринять на предмет искоренения крамолы во Флоте, Главный Командир спокойно произнес: «Никаких. При чем тут Флот? Эта работа все тех же революционных партий». Таким образом, между воззванием отца, призывавшим «гг. офицеров» подавать петиции на Высочайшее имя и шаблонными прокламациями, начинающимися словами: «Царское правительство», а кончающимися обязательным: «Долой самодержавие!» диктатор Черноморского побережья не усмотрел никакой разницы. Но большинство как старшего, так и рядового офицерства склонялось к мысли, что авторов воззвания следует искать именно в морской среде. Строились различные предположения, называлось наугад множество фамилий, но о действительных виновниках не подозревал никто. Разговоры между моряками о прокламации шли всюду – на судах, бульварах, улицах и ресторанах, дома... Отношение преобладало безразличное, иногда – ироническое, редко враждебное. В общем

не было никаких оснований надеяться на существенный результат, на возможность перейти от слов к делу. Воззвание явилось холостым выстрелом, от которого вздрогнули слабонервные или трусливые, – но и только. Сбить моряков с их позиции холостой выстрел, конечно, не мог; для сего требовался снаряд – реальные выгоды, о коих в воззвании не упоминалось. Взамен говорилось о благе народа, о совести, офицерском долге и о других хороших, но несъедобных вещах, и, таким образом, кроме риска и перспективы военного суда, «Союз» не обещал ничего.

Иного результата я и не ожидал, друзья отца, по-видимому, тоже. Один лишь отец, Бог весть почему, нашел в рассказанном Витей какие-то благоприятные симптомы и казался скорее довольным, чем разочарованным.

После продолжительных дебатов «Союз» решил вести в рядах офицерства усиленную пропаганду, вербуя сочувствующих и периодически выпуская прокламацию. Единомышленники у «Союза» среди моряков, безусловно, имелись; вся задача заключалась в установлении с ними контакта. Активные действия откладывались надолго, во всяком случае на такой неопределенный срок, что даже гадать о нем казалось слишком преждевременным.

Конечно, в конце концов, печальная истина встала перед отцом во всей своей неприглядной наготе. В одном из писем к сестре, вспоминая свою попытку с негодными средствами, он говорит с горечью и тоской:

«...К трону посылались петиции, резолюции и проч. в таком количестве, что ими можно было бы, наверное, обклеить всю решетку Зимнего Дворца. Заговорили все... Молчали только военные. Во всех многочисленных просьбах не доставало только их голоса, и страна... разделилась на две противоположные и враждебные друг другу части. С одной стороны, бюрократия, опирающаяся на военную силу, с другой – народ, опирающийся лишь на право и правду. В этом общественном разделении было ясно с первой минуты, что, присоединись войска к народу, праву и правде и скажи об этом честно, не было бы места борьбе... Я стоял сре-

ди войска и оставаясь... в прогрессивной части общества, не мог не понимать, что все силы нужно употребить на убеждение офицерства. Я знал, как трудно говорить с гг. флотскими офицерами.

Чтобы стать им понятней и доступней, я отбросил в сторону свое миросозерцание и стал на их же собственную точку зрения, взяв за исходное положение... ту присягу, о *которой так много говорят гг. офицеры и которая, по их словам, руководит их поступками**). Я убеждал их в том, что льстивая и преступная бюрократия не может быть твердым оплотом государю, я убеждал их сказать открыто Государю, что совесть их не позволяет быть силой, на которую опирается власть изменников Отчизны. Я доказывал им, что выполняя преступные, бюрократические предначертания, они отворачиваются от народа и ставят тем Государя, которому хотят служить, в положение монарха в стране, охваченной революцией. Я говорил с ними везде, где мог: и на бульваре, и на улице, и у себя, и в Морском Собрании. Я настаивал на том, что долг присяги обязывает довести до Государя, что они, Флот, дети народа, не могут, не хотят идти по велению преступных царских советчиков против своего народа, их вскормившего. Я верил в то, что, подай офицеры Флота петицию, за ними последуют другие военные, и реформы будут даны. Я указывал им на то, что присяга обязывает их не выполнять приказаний, явно клонящихся ко вреду Государя, я призывал их восстановить честь мундира... которая поколеблена в войне с Японией, восстановить эту честь смелым и правдивым словом, а не рисковать тем, что этот мундир, по первому призыву бюрократии, будет обагрен народной кровью... Но глухи были гг. офицеры и избегали разговоров со мной, сторонясь, как от опасного собеседника... Тогда я собрал из них несколько человек, наиболее подходящих, и мы составили «*Союз офицеров – друзей народа*». От имени этого союза,

*) Не могу не отметить, что ироническое отношение отца к стойкости офицерской присяги оказалось вполне заслуженным. В 1917 г. верность гг. флотских офицеров престолу подверглась первому испытанию и позорно провалилась на всероссийском экзамене.

тотчас после Цусимского погрома, я разослал всем судам, командирам и адмиралам свое воззвание, в котором еще и еще уговаривал их подать петицию Государю. Воззвание читалось, как мне передавали, переписывалось, с ним многие соглашались, но не рискнули г-да офицеры. Слишком прочно сидела в них боязнь за свою карьеру, слишком слабо было в них чувство долга. Воззвание мое и теперь несомненно хранится в делах, т. к., я знаю, Главный Командир велел его, по прочтении, «подшить к делам».

Да, не выполняли гг. офицеры своего долга перед Россией ни в войне с Японией, ни в войне опричнины с народом. *И в первой, и во второй войне народ потерял от бездействия флота.*

И вот он теперь стоит на рейде Севастополя, чуждый своему народу...».

Поздно вечером собрание разошлось... навсегда. Налетел вихрь событий, захвативший всю Россию и унесший моего несчастного отца на остров Березань. 13 июня, с Приморского бульвара, мы наблюдали с отцом уход броненосца «Князя Потемкина-Таврического» в учебное плавание, не подозревая о той страшной трагедии, которой суждено было разразиться на нем спустя два часа, а на другой день я провожал отца в долгую командировку. Командировка заключалась в охране русских рыбных промыслов на рукаве Дуная, у Измаила и выше. Охрану нес миноносец № 253, полученный отцом в командование взамен № 262-го. Экипаж состоял из командира миноносца – отца, инженер-механика, поручика М. М. Гармсена, питомца Рижского политехникума, и 20-ти матросов. Я остался один, вместе с Андреем, придурковатым деревенским парнем, ведя сонливую, монотонную жизнь. Утром прочитывал «Сын Отечества», писал обязательное ежедневное письмо отцу, в 12 садился за принесенный Андреем из кухмистерской обед, после обеда шел на Приморский или Исторический бульвар с книгой из Морской библиотеки под мышкой. Когда зажигались огни, возвращался домой и засиживался за чтением или математическими задачами до глубокой ночи. В моем уединении меня навещал Коля Баль, товарищ по реальному учи-

лищу, сын капитана 2-го ранга, убежденнейший «черносотенец», с которым, однако, меня, не менее убежденного в ту пору «красного», связывала искренняя дружба (ей наступил конец после речи отца на кладбище 20 октября 1905 г.). 29 июня, в день именин отца, я назвал человек 10 друзей и устроил изрядную выпивку (первый раз в жизни). Отец высылал мне ежемесячно 100 рублей на карманные расходы (при оплаченных квартире, столе, прислуге, прачке и пр.) – сумму огромную, по тем временам, для 16-летнего мальчишки. Я накупил всевозможных вин, сластей и закусок, соорудил глинтвейн и достойно отпраздновал знаменательный день, закончив пирушку, протянувшуюся до утра, посылкой отцу в Измаил поздравительной телеграммы от лица всех присутствовавших.

На мои ежедневные письма отец отвечал, приблизительно, через день, и из его писем я знал, что миноносец отстаивался, большею частью, на измаильском рейде, что отец и Гармсен завели в городе многочисленные знакомства и весело проводят время.

Бунта на «Потемкине» отец в письмах совсем не касался, и я не знал его взгляда на этот счет.

В середине августа отец вернулся из командировки, длившейся, таким образом, ровно два месяца. Вернулся отец рано утром, когда мы с Андреем еще спали, и с ним вместе ворвалась, всегда сопровождавшая его, струя бодрящей энергии и жизнерадостности.

Одним махом он поднял меня с постели, распек Андрея за беспорядок, потрепал по шее обезумевшего от радости сенбернара «Лорда», принял в ванной холодный душ, проделал со мной утреннюю гимнастику, переоделся в щегольской белоснежный китель, внезапно решил перевесить картину Айвазовского на другое место, затратив на это не больше минуты; взяв за подбородок, внимательно посмотрел мне в глаза и, наконец, уселся за чайный стол, давно накрытый расторопными руками Андрея, который тщетно старался сдержать довольную улыбку, распиравшую его широкую рожу.

Из коротких, сначала, реплик отца я узнал о приезде в Измаил его сестры, Анны Петровны, о поездке отца в Керчь по ее делу, о посещении им Киева и киевского имения его друга детства, Е.В. Ростковской (урожденной княжны Дабижа, вдовы убитого в Битолии в 1903 г. русского консула), о знакомстве в Киеве, на бегах, с некоей г-жей Р., произведшей на отца, по-видимому, сильное впечатление, и, наконец, о покраже у него, в вагоне, 2500 рублей казенных денег.

Последнее обстоятельство, я чувствовал, весьма угнетало отца, хотя, бросив мне несколько успокоительных слов о том, что он надеется достать денег и пополнить потерю, он перескочил на другой предмет и с восторгом заговорил о прелестях неизвестной ему до той поры малороссийской природы. Уверял, что чувствует себя окрепшим, помолодевшим и счастливым, как никогда. Но в словах отца мне слышалось что-то недоговоренное, какое-то беспокойство, нечто вроде мешавшей ему сосредоточиться навязчивой и неотступной мысли. Тайн между нами, как я уже упоминал, никогда не существовало, и я терпеливо ждал той минуты, когда отец, по обыкновению, выложит предо мной все, что лежало у него на душе. Я пожирал отца глазами и, действительно, находил его помолодевшим и пополневшим. Видно, 2 месяца спокойной жизни пошли ему впрок и позволили основательно отдохнуть от прошлых весенних передряг. «Дай-то Бог!» думалось радостно и тревожно.

– Расскажи теперь ты, что без меня поделывал, – попросил отец, поощрительно улыбаясь.

– Я?.. Гулял, купался... Решил сотни 3 геометрических задач... Читал... Часто виделся с товарищами... Одним словом, проделывал все то, о чем тебе ежедневно писал.

– А что читал? – поинтересовался отец. Я смутился.

– Так... беллетристику... для развлечения.

– Что же именно? – настаивал отец.

– Ну... Дюма... Додэ...

Отец встал из-за стола и вошел в мою комнату.

– Где твоя «беллетристика?». Показывай!

Красный, как рак, я указал отцу на стопку книг, занимавшую угол моего письменного стола.

Отец раскрыл одну из книг, другую, третью, посмотрел на меня, положил книги на место и покачал головой. Я готов был провалиться сквозь землю.

– Как ты можешь читать эту бульварную дребедень? – проговорил он с огорчением и досадой.

Я молчал. Отец закурил папиросу и, в волнении, прошелся из угла в угол.

– А как с «Историей цивилизации Англии?» Прочел? – спросил он с беспокойством.

– Я... я не успел, – пробормотал я. – Дело в том, что... Прости меня, – вдруг искренно и решительно произнес я, – мне больно тебя огорчать, но этот отдел знаний меня совершенно не интересует.

Отец тяжело вздохнул.

– Ну, что ж, подождем еще один год, – прошептал он.

Голос его звучал глубокой печалью.

Сердце мое облилось кровью. Чего бы я не дал, чтобы быть таким, каким он хотел меня видеть! Но я не мог себя переделать даже ради него.

Отец провел по лбу ладонью, словно отгоняя докучливую мысль и опустился на мой диван, закрыв лицо руками. Когда он поднял голову, в глаза ему, наверное, бросился мой отчаянный вид, потому что он привлек меня к себе и прижал к груди.

– Ох, оболтус ты мой, оболтус! Что мне с тобой делать! – проговорил он с нежным упреком.

Маленькая туча растаяла без следа, и с высоты безоблачного неба снова ярко светило солнце.

– Как тебе понравился манифест? – спросил отец после продолжительной паузы.

О манифесте 6-го августа, вышедшем несколько дней тому назад, я определенного мнения не составил и теперь медлил ответом, боясь снова огорчить отца несерьезным отношением к акту огромной государственной важности.

– Манифест?.. – промямлил я нерешительно. – Так себе... Не очень...

– «Не очень!» – горячо возразил отец. – Скажи лучше, что более издевательского документа правительство не публиковало с начала нынешней династии! Эта бумажка издевается не только над Россией, но и над здравым смыслом. Закостенелые мумии, держащие судьбы России в своих руках, на ее позор и несчастье, вызовут рано или поздно такой взрыв, от которого любезному отечеству не поздоровится. Стране тесно в старых одеждах, страна задыхается в каменном мешке, страна молит: «Дайте хоть глоток свежего воздуха. Мне душно, я гибну, я жить хочу!» Но в ответ раздается: «Бессмысленные мечтания. Не допущу. Расстреляю». О, подлецы, подлецы!.

Отец захлебнулся от негодования, рванул характерным жестом ворот сорочки и нервно чиркнул спичкой, закуривая.

Я хорошо знал политические убеждения отца, но, все же, эта гневная вспышка меня удивила.

– Позволь, однако, – возразил я, – ведь манифест кое-что обещает. Будет парламент... с совещательным голосом, положим, но с общественностью, как-никак, неизбежно станут считаться. Газетам разрешено писать о том, о чем еще год назад нельзя было и думать. Воля твоя, но, по-моему, безусловно, сделан изрядный шаг вперед...

– Если правительство делает микроскопический шаг вперед – значит революция успела сделать целых два, и гигантских, вдобавок, – холодно заметил отец.

– «Гигантские шаги!» – съиронизировал я.

– Ты совершенно прав! – живо подхватил отец. Ведется игра, но только не в революцию, а с революцией, игра опасная во всех отношениях. Вспомни «Потемкина-Таврического». Кстати, что говорят здесь по этому поводу?

– Говорят разное... в зависимости от того, кто говорит. Но даже члены социал-революционной партии – я имею в виду, конечно, только тех, которые мне известны, – находят, что двадцать пять офицерских трупов – это уж чересчур.

– Да, да, это ужасно! – проговорил отец с содроганием. – Ты

знаешь, ведь старший офицер «Потемкина», капитан 2-го ранга Голиков – мой товарищ по школьной скамье в Морском корпусе. За что его убили!?

– Ходят слухи, будто резню заранее подготовил местный отдел социал-демократической партии. Сами матросы, по общему мнению, никогда бы не додумались до *поголовного* истребления Командного состава. Исходи инициатива с их стороны, дело, вне всякого сомнения, ограничилось бы убийством одного-двух ненавидимых командой начальников. Остальных просто свезли бы на берег.

Отец слушал меня с величайшим вниманием, ожесточенно кусая усы.

Версия касательно организации офицерских убийств социал-демократической партией была для него, по-видимому, совершенно новой и неожиданной.

– Да, так оно, в действительности, и должно быть, – решительно проговорил он. Страшен русский человек во гневе, когда все крушит, ломает – «раззудись плечо, размахнись рука!» Тут и невинному может здорово попасть по загривку. Да, страшен, но не жесток. А потемкинские убийства бросаются в глаза именно своей бессмысленной, ненужной жестокостью, не говоря уж о том, что несколько жертв, как мне передавали, пользовались среди команды большой любовью... Одним словом, мне теперь ясно одно: инициатива, во всяком случае, принадлежит не матросам. Это очень и очень радует. Но... – Отец подошел к окну и задумался.

– Но, – продолжал он, поворачиваясь ко мне, – если какая бы то ни была инициатива не может и *не должна* исходить от матросов, *то может и должна* принадлежать офицерам... или офицеру, – поправился он, грустно улыбнувшись.

Я вспомнил весенний «Союз» и понял значение этой улыбки. В то же время страшная тревога, принявшая почти определенные формы, пронзила меня острой иглой. Едва я собрался с мыслями, как отец хлопнул меня по плечу и беззаботно воскликнул:

– Ну, политики на сегодня довольно! Посмотри, какая погода чудесная! Надевай фуражку – идем на ялике в Херсонес.

Я отогнал грозный призрак надвигавшегося ужаса и последовал приглашению.

Остатки каникулярных дней мелькнули, как одно мгновение. Большею частью я проводил их с отцом на воде и в воде, согласно вкусам не столько моим, сколько отцовским. Странное дело, несмотря на всю свою любовь к морю, огромный опыт и выдающиеся теоретические познания в морском деле, отец всю жизнь мечтал о возможности, хотя бы под старость, отдаться любимой работе – журналистике. Писал отец уже давно, но печататься рискнул только недавно, когда из Измаила послал в редакцию «Сына Отечества» (неофициальный орган партии с.-р.) несколько своих статей, где живо и увлекательно описывались сцены и типы из морского быта и высказывались соображения относительно неотложности некоторых реформ во флоте.

Все статьи были приняты редакцией и стали периодически появляться в июльских и августовских номерах «Сына Отечества» за подписью «Old Captain».

Статьи обратили внимание и заслужили несколько одобрительных отзывов петербургской прессы. Читая эти статьи в отсутствии отца (отец состоял подписчиком «Сына Отечества», и газета, во время его дунайской командировки, высылалась в 2-х экземплярах – в Севастополь и в Измаил), я, до самого его возвращения, и не подозревал, что они принадлежат его перу. Об авторстве своем отец поведал мне под строжайшим приказом – никому псевдонима не раскрывать, и я, почувствовавший необычайную гордость за отца и уже совсем собравшийся, было, бежать сообщить о новости своему другу, Коле Баль, огорчился ужасно. Но морской устав шутить не любил, и начальство, за появление без его разрешения статей в оппозиционной печати, да, к тому же, весьма по тем временам крамольных, автора, безусловно, не помиловало бы. Я был вынужден с этим согласиться, но еще долгое время у меня чесался язык.

Не чужд был отец и поэзии. В Морском Училище он близко сошелся с племянником известного поэта А. М. Жемчужникова

(одного из трех творцов бессмертного «Козьмы Пруткова») и сыном своего идейного вождя, публициста Н. В. Шелгунова. С легкой руки своих друзей, начинающих поэтов (особенно Жемчужникова, наиболее талантливого и любимого отцом), отец и сам стал писать стихи, но к своему случайному «стихокропанию» относился всегда иронически, считая себя в поэтической области совершенной бездарностью. Мне трудно, конечно, быть в этом деле вполне беспристрастным судьей, но, кажется, здесь отец проявил уж слишком большую скромность. Глубоко чувствуя и понимая прекрасное, обладая возвышенной и нежной, как у женщины, душой, отец не мог написать ничего грубого, плоского, безвкусного или неизящного. Все выходило у него как-то незаметно, само собой, удивительно верным, метким, продуманным, красивым и проникновенным.

К сожалению, у меня не сохранилось ни одного его стихотворения. Написанное, прочитав мне, отец неизменно рвал, так что фактически я был лишен возможности зафиксировать на бумаге хотя бы одно из его произведений. Запомнить же с одного разу и записать у меня не хватало памяти. Впрочем, «вдохновение» находило на отца довольно редко и, главным образом, в веселые минуты; я отлично помню, что почти все его поэтические забавы носили шутливый или юмористический характер.

Вечером отец брался за виолончель или гитару. На виолончели отец начал учиться очень поздно, на 36-м году. На скрипке, положим, он играл с детства, но с годами, вследствие долгого неупражнения на капризном и требовательном инструменте, потерял необходимую гибкость в пальцах и перешел на более снисходительную виолончель, в игре на которой достиг больших успехов. Серьезную музыку я не понимал и не понимаю, и поэтому, за немногими исключениями, больше любил слушать пение отца, сопровождаемое аккомпанементом на гитаре; последним отец владел мастерски. Голос у отца был совсем небольшой, но замечательный по чувству и выразительности. Пел он старинные русские и цыганские романсы, каких теперь никто не поет.

Многих из них, после смерти отца, я больше ни от кого не слыхал. Эти мелодии, трогательные по простоте и задушевности, до сих пор звучат в ушах моих.

Не могу сказать, было ли то предчувствием близкого конца нашего счастья, или расцветом моей сознательной любви к отцу, перед которым я всегда благоговел, чувствуя восторженное, доходившее до экстаза, обожание, непостижимым образом уживавшееся рядом с нашими чисто товарищескими, простыми отношениями, – но только засиживался я у отца в кабинете далеко за полночь, стараясь впитать в себя и запомнить все его мысли и отдельные слова, слиться воедино с его великой душой, чтобы ни одна из драгоценных минут, проведенных мною с отцом, не пропала даром.

Много лет отделяют меня от той поры, безжалостная слепая судьба отняла у меня дорогое существо, но железными, ничем неизгладимыми письменами навеки запечатлен в моем сердце дивный образ отца моего, и только с жизнью можно вырвать этот образ из сердца...

При нашей тесной совместной жизни я не мог не заметить, что нечто новое, чуждое мне, вошло в жизнь моего отца. Он почти совсем перестал спать и писал кому-то до утра бесконечные письма. Я не расспрашивал его, надеясь, что, по обыкновению, он выскажется, когда найдет нужным; но отец все молчал. Наконец, в один прекрасный день (для меня этот день совсем не был прекрасным) на отцовском письменном столе появился большой кабинетный портрет незнакомой мне молодой женщины еврейского типа. Тут я не выдержал, подошел к отцу и спросил его дрожащим голосом, что это за особа. Отец на минуту задумался, потом поднял голову и, смотря мне прямо в глаза, просто и решительно произнес:

– Это самый близкий мне человек.

До сего момента я думал, что самый близкий человек для отца – я, его единственный сын. Оказывается, нет. Женщина, которую я никогда не видал, о которой отец, в первый день по возвращении из Измаила, обмолвился лишь несколькими словами, стала между мной и отцом, оттеснив меня на второй план. Удар

был настолько неожиданным и ужасным, что у меня потемнело в глазах. Я очнулся, когда отец схватил меня в объятия.

– Сынишка, глупый мальчик, как смел ты так дурно понять? – говорил отец, прижимая меня к груди и утирая слезы, целым потоком хлынувшие из моих глаз. – Неужели я должен еще объяснять, что если кто и может быть самым близким мне человеком, то только после тебя. Тебе нечего бояться конкуренции, дрянной мальчишка! – шутливо закончил отец, давая мне легкого тумака.

Я немного успокоился и настойчиво (мне казалось, что теперь я имею это право) попросил отца не скрывать ничего и рассказать всю правду.

– Изволь, братишка, – охотно согласился отец, усаживая меня на диван и садясь рядом со мной. – Ты все узнаешь: ведь ты мой самый любимый, единственный друг.

И отец рассказал мне, как на бегах, в Киеве, он впервые увидел особу, портрет которой стоял у него на столе, как вторично встретился с ней, в тот же день, в вагоне, как разговорился, познакомился, обменялся адресами и обещаниями писать друг другу письма.

– Ты знаешь мою жизнь, – закончил отец, – знаешь, что у меня до сих пор не было личного счастья. Так вот, теперь это личное счастье есть и заключается оно в переписке с Зинаидой Ивановной Р.

Отец вынул из ящика письменного стола несколько писем г-жи Р. и стал читать, время от времени вопросительно на меня поглядывая.

Несмотря на свои 16 лет, я сразу понял, в чем дело. Грязная особа, прошедшая огонь и воду, авантюристка, вела ловкую, беспроигрышную игру. В письмах она ускользала, не поддавалась отцу, сдерживая его порывы и охлаждая бумажные потоки его пламенных излияний, но лишь для того, чтобы, доведя экзальтированного, детски-доверчивого и впечатлительного отца до белого каления, тем вернее завлечь в свои сети.

Счастьем отца я дорожил больше всего на свете, ради этого счастья я с радостью отдал бы свою жизнь, но видеть отца в

лапах подозрительной личности, рисковать заполучить эту личность себе в мачехи – и оставаться спокойным и равнодушным – было выше моих сил. С другой стороны, вступать с отцом в пререкания, стараться открыть ему глаза, я чувствовал, являлось делом преждевременным, а потому и бесполезным. «Пусть переписывается», думал я, «раз переписка, как он говорит, приносит ему счастье. Если дальше писем их отношения не пойдут – все заглохнет и прекратится само собой. Если же эта особа вздумает приехать в Севастополь, то отец сам очень скоро ее разгадает. Не буду пока ни докучать своими советами, ни расхолаживать его».

Остановившись на таком решении, я крепко обнял отца и сказал, что если он счастлив и доволен, то доволен и счастлив я. Отец благодарно пожал мне руку, и, как бы условившись между собой, мы больше к этому вопросу не возвращались. Жизнь потекла по-прежнему, спокойно и безмятежно, и тихое счастье, казалось, прочно вошло в наш дом. Смертельная тревога за отца, родившаяся после его разговора со мной в день возвращения из командировки, стала у меня постепенно спадать. Мало ли что говорится и о чем мечтается под влиянием минуты.

24 августа каникулы кончились и занятия возобновились. Ученье шло у меня, обычно, ни шатко, ни валко, но в том году мне было совсем не до наук. События висели в воздухе, гроза надвигалась. Мы, зеленая молодежь, чувствовали и думали вместе со взрослыми, горели и жили теми же стремлениями и надеждами, которыми дышала и волновалась вся Россия. Наш 6-й класс приобрел в глазах начальства самую неблагонадежную репутацию, как наиболее бунтарский, вечно недовольный, находящийся в «перманентной» оппозиции к правилам внешкольного надзора и прочим скорпионам гимназического житья-бытья. Коноводом и заправилой всех скандалов, историй и забастовок являлся великовозрастный Жорка Яковлев, любимец всего класса и enfant terrible училищного начальства. Следующую, по значительности, роль играл я, как хозяин «конспиративной» квартиры. Отец дал мне carte blanche приглашать к себе кого угодно и когда угод-

но, и я широко пользовался своим правом. С 8-ми часов вечера у нас дым стоял коромыслом. Три десятка молодых глоток старались перекричать одна другую, выкрикивая, по большей части, нечто совершенно нечленораздельное; густые клубы табачного дыма заполняли все пространство, от пола до потолка, и свет электрических ламп расплывался и мерк. Когда шум переходил все границы и становился слышным на улице, отец шел к нам, останавливался на пороге и вопрошал:

– О чем шумите вы, народные витии?

Его сейчас же облепляла восторженная толпа желторотых друзей, чуть не на руках тащила в мою комнату и усаживала на диван. Отец, как я отметил, был кумиром всей севастопольской учащейся молодежи и имел на нее влияние совершенно неограниченное. В наши сумбурные, бестолковые сборища он старался внести порядок и дисциплину, заранее приучая нас, «будущих граждан свободной России», к «выдержке и парламентаризму». Составив кружок для самообразования, мы принялись, сперва под руководством отца, а затем и самостоятельно, за изучение русских публицистов и критиков, начав с неизбежного Белинского и дойдя до Михайловского. Но высидеть смирно больше часа никто не мог, содом и столпотворение вавилонское каждый раз возобновлялись.

14 октября отец сообщил мне с сияющим видом, что ему удалось достать денег – 2500 р. и возместить покражу у него в вагоне казенной суммы, о чем он мне вскользь сообщил в день приезда из Измаила. Я и не знал о душившей его петле, о муках и напряженных думах в бессонные ночи, думах, где бы достать проклятые деньги. Отец все скрыл от меня, чтобы ничем не смущать моих светлых, беззаботных .дней. И только теперь, освободившись от терзавшего его кошмара следствия и позора, он поспешил поделиться со мной радостной вестью. Мы решили отпраздновать этот день, как следует. Набрали с собой провизии, поехали в Инкерман, пообедали на лоне природы, пешком вернулись в Севастополь, пошли на бульвар, оттуда – в театр, после театра долго сидели в кабинете, обсуждая виды на будущее и строя

всевозможные планы, иногда совершенно фантастического характера. Это был наш последний счастливый день. А на другое утро, 15 октября, мы узнали о начавшейся всеобщей забастовке. С этого момента я виделся с отцом только урывками. Все свое время он уделял экстренным заседаниям городской Думы и выступлениям на многочисленных митингах. Домой он забегал, чтобы наскоро проглотить кусок и на мои вопросы только с досадой отмахивался. Все ночи напролет он писал бесконечные письма, а утром отправлял их и слал телеграммы. Потом я узнал, что письма посылались отцом в Одессу к матросам различных пароходств, с горячим призывом присоединиться к общей забастовке. Письма возымели действие, и к железнодорожникам скоро примкнули служалще пароходных обществ. За три дня отец приобрел в городе чрезвычайную популярность; на улицах кучки народа, завидя отца, кричали ему «ура»; зайдя в любое общественное учреждение можно было услышать оживленные разговоры об отце. В городской Думе он стал совсем своим человеком, присутствуя каждый день на ее заседаниях, в квартире же нашей, с утра до вечера, толпилось множество совсем незнакомых людей; делегация за делегацией вливались в наши двери нескончаемым потоком. Всем посетителям мне, большею частью, приходилось сообщать, что отца нет дома и неизвестно, когда он вернется. Но мои заявления никто не слушал.

Новоявленные поклонники отца располагались у него в кабинете, столовой, моей комнате и даже на кухне, как у себя дома, и устраивали нечто вроде нескольких летучих митингов зараз. В отчаянии, я убегал из дому, поручив Федору, нашему новому вестовому, и кому-нибудь из своих товарищей по классу (человека 2 из них несли у нас постоянное «дежурство») присмотреть за квартирой. Популярность отца, росшая не по дням, а по часам в самом буквальном смысле, стала, наконец, нервировать и мучить меня. Я видел, как рвали отца на части, как он, бедный, метался по всему городу, не зная сна уже много ночей и почти не принимая пищи. Когда я, в редкие минуты встреч, уговаривал его хоть не-

много отдохнуть, отец, нетерпеливо мотая головой, бросал на ходу: «Некогда!» и исчезал.

Громовые раскаты слышались все ближе и ближе. 18 октября в нашем классе был письменный ответ по геометрии, которого я изрядно трусил. Отец, несмотря на то, что с головой ушел в общественную работу, вспомнил о моих делишках и утром, торопливо глотая горячий чай, задал мне несколько летучих вопросов из геометрии, желая убедиться, насколько я подготовлен. В классе все сошло у меня благополучно.

Решив задачу одним из первых, я побежал домой, почти не надеясь застать отца; было всего около трех часов дня. Сверх ожидания, отец оказался дома. Он встретил меня с распростертыми объятиями.

– Победа, сынишка! Победа полная! Мы победили! Ура!

И отец прочитал манифест 17 октября, только что присланный ему из редакции «Крымского Вестника».

Радость и счастье залили меня горячей волной. Манифест – это конец моей тревоге за отца, конец мучительным думам, конец постоянному метанию, митингам, выступлениям, риску! Я опять буду видеть моего дорогого папочку, сидеть у него в кабинете, дышать с ним одним воздухом, впитывать в себя каждое, самое незначительное, его слово, жить только им, думать только о нем, ибо он – мое счастье, моя совесть, моя вселенная, и без него нет ни жизни, ни солнца, а одна тьма беспросветная...

Но сейчас же ликование мое сжалось до микроскопических размеров. Да, полно, так ли? Не закипит ли теперь революционный водоворот с удесятеренной силой, не поглотит ли он без остатка дорогого человека? Каша заварилась во всероссийском масштабе, и расхлебывать ее придется, в первую голову, тем, кто заваривал.

Как бы в ответ на мои мысли, отец сорвался с места и схватил с вешалки свой (знаменитый впоследствии) плащ и фуражку. За порогом он вспомнил обо мне, обернулся и спросил:

– Ну, как с задачей? Решил?

– Решил, – печально ответил я, убедившись, что и сегодня отец целый день проведет вне дома.

– Молодец, поздравляю! Не сидится на месте; пойду, кое-кого повидаю, тех, кто не знает, порадую.

– Да ведь экстренный выпуск будет! – старался я удержать отца.

– Одно другому не мешает. А ты сиди, отдыхай и жди меня. Вечером куда-нибудь пойдем.

Отец ушел. Пообедав, я стал слоняться из комнаты в комнату, но, в конце концов, не вытерпел, надел пальто и вышел на улицу.

Известие о манифесте распространялось с молниеносной быстротой. Когда я спустился на Нахимовский, по улице сновала обычная будничная толпа. Но уже через полчаса повсюду стали образовываться отдельные группы людей, радостные и возбужденные. Группы приходили в движение, соединялись, и скоро все главные улицы города – Нахимовский, Екатерининская и Большая Морская – были запружены рокочущей многотысячной толпой. Знакомые и незнакомые останавливались, обнимались, поздравляли друг друга. Я встретил компанию своих шестиклассников, и меня куда-то повлекли. На столбах и заборах появились ораторы, кое-где над толпой заколыхались красные флаги и послышалось пение «Варшавянки» (ни к селу, ни к городу, но это обстоятельство никого не смущало). На беговых дрожках примчался полициймейстер Попов, бравый маленький человечек с огромными усами, и пригрозил казаками, но ему сунули к носу манифест, только что выпущенный из типографии «Крымского Вестника», и он укатил обратно. Мои друзья затащили меня в какой-то совершенно незнакомый богатый дом; там меня усадили за обильно уставленный винами и закусками стол, поили шампанским, жали руки, поздравляли, кричали «ура» и снова поили. Оглушенный, с отуманенной головой, я кое-как вырвался из гостеприимного жилища и побежал домой. Севастополь сиял залитыми электричеством улицами, ресторанами и кафе. Праздничная толпа, опьяневшая от избытка гражданских чувств, долго не давала мне никакой воз-

можности пробиться к Мичманскому бульвару и подняться на Чесменскую. Полиция блистала своим отсутствием; манифестации и речи кончились, по-видимому, вполне благополучно. «Слава Богу», думалось мне, «значит, все хорошо. Наступает новая, счастливая пора. Отец получит возможность заняться легальной политической деятельностью, будет выбран в Государственную Думу всем Севастополем (последнее тогда не подлежало никакому сомнению), составит себе всероссийское имя, а я... я буду гордиться им и пожинать в «реалке» даровые лавры».

В окнах нашей квартиры было темно. Мне отворил сонный Федор и сообщил на мой вопрос, что отец еще не приходил. Я этого и ожидал и, приказав Федору ставить самовар, развалился в отцовском кабинете на оттоманке. От утомления и пережитых впечатлений я скоро заснул. Помню, что Федор будил меня несколько раз, приглашая к столу, но я отмахивался и вновь погружался в глубокий сон. Окончательно разбудил меня чей-то сильный и властный толчок. Я открыл глаза и увидел одного из своих лучших друзей, Жорку Яковлева*), сына рабочего, бледного, с горящими глазами, в разорванной во многих местах косоворотке. Часы «буль» на отцовском письменном столе показывали 11.

– Проснись, чего дрыхнешь! – грубо проговорил Яковлев хриплым от волнения голосом. – Нашел время! В нас стреляли. 50, а то и больше, убитых и раненых. Петр Петрович цел, слава Богу...

– Кто. стрелял, почему?.. – в ужасе бормотал я, ничего не понимая, но чувствуя, что случилось непоправимое.

– Погоди, дай дух перевести... Денек, ну!..

Жорка в изнеможении плюхнулся на диван и несколько минут просидел с закрытыми глазами, часто и тяжело дыша. Потом стремительно сорвался с места и, глотая слова, жестикулируя, волнуясь и негодуя, начал торопливый и сбивчивый рассказ.

*) С осени 1905 г. член севаст. боевой организации партии С.-Р. В 1907 г. судился за убийство нескольких агентов охранного отделения, был приговорен к многолетней каторге, бежал и до 1917 г. пребывал в нелегальном положении. В 1917 г. – гласный Севастопольской городской Думы.

Я узнал, что отец, после произнесенной им речи на митинге местной интеллигенции пошел, во главе огромной толпы народа, к зданию тюрьмы требовать освобождения политических заключенных. Толпа была настолько возбуждена, что отцу с трудом удалось удержать ее от разрушения тюрьмы. С помощью своего влияния на народ, влияния воистину исключительного, отец убедил толпу держать себя прилично и мирно, пока он будет вести с администрацией тюрьмы переговоры об освобождении политических. Затем отец вызвал начальника тюрьмы, переговорил с ним и заручился его обещанием, что все политические немедленно получат свободу. Толпа стала терпеливо ждать. Минуты проходили в напряженном молчании. Внезапно ворота тюрьмы распахнулись, показались солдаты, и в толпу брызнул залп. Еще и еще. Толпа, забыв о своих воинственных намерениях, в панике ринулась врассыпную, оставляя убитых и раненых и едва не растоптав отца. Стрельба вызвала бурю негодования. В городской Думе открылось экстренное заседание, на котором отец выступал от имени населения.

– Вот тебе и манифест! – закончил Яковлев, надевая фуражку. – Ну, да ладно. Сначала, так сначала! Еще посмотрим, кто кого!

Всю ночь я не спал, не находя себе места и вздрагивая от малейшего шума. В 6-м часу утра, тщетно прождав отца, отчаявшийся и истомленный, я прикорнул на диване, не раздеваясь.

Часов в 10 я проснулся от страшного гвалта, поднятого моими друзьями-шестиклассниками, ворвавшимися ко мне чуть ли не всем классом. Оказалось, три старших класса нашей «реалки», в связи со стрельбой по толпе у тюрьмы, объявили забастовку и теперь шли «снимать» гимназистов и гимназисток. Друзья забежали ко мне узнать, почему я не пришел в класс, да, кстати, решили держать у нас нечто вроде военного совета.

Мне было совсем не до ученических «забастовок», в голове гвоздем сидела одна единственная мысль – что с отцом, и я довольно недвусмысленно послал всех своих приятелей к черту. Меня, однако, успокоили, сообщив, что отец с вечера находится в Думе,

где вырабатываются различные требования и резолюции, что Дума окружена огромной толпой народа, встречающей громовым «ура» каждое появление отца на крыльце, что войск и полиции совсем не видно, что охрану города несет милиция из рабочих севастопольского порта*) и что можно надеяться на строгое наказание виновников вчерашнего кровопролития.

После таких известий, я воспрянул духом и решил поддержать своих друзей – идти «снимать» гимназистов.

Мы быстро сбежали с Соборной на Б. Морскую и приступили к штурму парадных дверей мужской гимназии. Но предусмотрительный директор укрепил этот пункт настолько прочно, что нам пришлось провозиться с добрых полчаса, пока соединёнными усилиями трех первых силачей в училище и одного любителя из публики, дверь не была сорвана с петель. Взяв первую линию, торжествующая, ревущая и гогочущая толпа бурным потоком разлилась по коридорам и кинулась штурмовать вторую – двери классных комнат. Но неприятель решил сдаться на милость победителей. Гимназисты, с криком «ура», выбежали нам навстречу и смешались с нами в одну общую кучу. Растерянные преподаватели, после неудачной контратаки, решили предоставить дело его естественному ходу и отошли к исходным позициям – учительской. Но страсти разгорались, и одного поражения врагов было мало; требовалось их унижение. «К Ветнеку!» (директору), – крикнул кто-то – «К Ветнеку! Бей!» – сразу заревело кругом. Толпа кинулась к директорскому кабинету, взломала двери и ворвалась. Но директора, к величайшему нашему разочарованию, и след простыл. При первом же натиске у парадного хода он стал звонить в полицию и комендатуру, требуя присылки войск для усмирения гимназистов. Помощь обещали, но послать не решились: боялись

*) И в 1906 г., и в эпоху Великой Разрухи севаст. рабочие отличались своей интеллигентностью и сознательностью без кавычек. При сем не могу не отметить, что, в отличие от остальной рабочей массы, на 75% принадлежавшей к с.-д. партии, рабочие севастопольского порта были с.-р. Я лично знал даже двух к.-д. (!).

поставить себя уж в слишком смешное положение. Не дождавшись подкреплений и видя себя окруженным со всех сторон превосходными силами противника, директор предпочел спастись через окно. Из мужской гимназии союзные армии реалистов и гимназистов направились в женскую. Но тут получился конфуз.

Когда наша депутация из 5 человек (я в том числе) нерешительно вступила в 7-й класс и смиренно предложила «товарищам гимназисткам» забастовать, нас встретил такой единодушный крик: «Вон!», что толковать его двояким образом, при всем желании, оказывалось невозможным. Оглушенные этим криком, мы растерянно переглянулись, потоптались на месте и, повесив носы, поплелись обратно, провожаемые насмешливыми восклицаниями «товарищей гимназисток» и негодуя на их «несознательность».

Исполнив «гражданский долг», я пожелал своим соратникам дальнейших успехов и поспешил домой. Дома меня ожидала записка, принесенная, по словам Федора, неизвестным лицом, с виду рабочим. Я прочел: «Не тревожься. Скоро вернусь. Занят. Твой папка». Было около двух часов дня; следовательно, отец уже не меньше 16-ти часов подряд заседал в городской Думе. «Он свалится и заболеет», проносилось в голове. «Никакой организм не выдержит подобного напряжения. Пять дней не спать, почти ничего не есть и, при этом, еще непрерывно гореть внутренним огнем. Но, отчасти, это и хорошо. Заболеет, сляжет, отдохнет, а за время его болезни тревожные дни минуют, и жизнь войдет в нормальную колею».

Я подождал с час, чтением Майн-Рида стараясь хоть немного отвлечься от снедавшей меня тоски и мучительного беспокойства, но скоро отбросил книгу и крикнул Федору подавать обед. Отложив половину для отца, я стал хлебать суп, машинально прислушиваясь к каждому движению на дворе. «Неужели и сегодня его не увижу!», – почти со злобой думал я. Но вот в столовую через окно ворвались знакомые, веселые голоса, и я, едва не опрокинув стола, бросился навстречу отцу, подымающемуся по лестнице и окруженному моими друзьями с восторженными, раскрасневши-

мися лицами. Не в силах произнести от волнения ни слова, держась за руки, мы уселись с отцом на диван и долго не могли оторвать друг от друга светившихся счастьем взоров.

– Ну, брат, я пас, – проговорил отец слабым, надорванным голосом, прочтя в глазах моих тысячу вопросов. – Больше суток ораторствовал, не закрывая рта, и теперь... Вот пусть они тебе расскажут, – устало кивнул он на свою свиту.

Те загалдели разом, но Яковлев цыкнул на них и сжато, ничего не опуская, поведал об историческом заседании 18-го октября Севастопольской городской Думы и о роли отца в протекших событиях.

Сейчас же после стрельбы у тюремных ворот отец, через городского голову Максимова, созвал (именно «созвал», хотя юридически не имел на то никакого права) экстренное заседание городской Думы и выступил с докладом о только что происшедшем кровопролитии. После доклада Думой, единогласно, были посланы как от себя, так и от различных кругов населения многочисленные телеграммы в Петербург с протестом по поводу ничем не вызванного преступного убийства севастопольскими властями нескольких человек в день получения Высочайшего манифеста о свободах. Затем, отцу настолько удалось наэлектризовать неповоротливых думских гласных («толстопузых флегматиков», как называл их отец), что, по его предложению, вся Дума в полном составе во главе с отцом отправилась к коменданту севастопольской крепости, генералу Неплюеву и потребовала освобождения города от полиции и казаков и учреждения, для охраны, рабочей милиции. Все требования были немедленно выполнены сбитым с толку комендантом, еще не получившим никаких руководящих указаний из центра и посему не знавшим, какой линии поведения ему держаться после опубликования Манифеста 17 октября. По отцовской же инициативе, гласные постановили вывесить на стенах Думы «черную доску» с именами начальствующих лиц, «совершивших гнусное убийство свободных граждан».

– Надо оставить в памяти потомков деяние убийц, чтобы заклеймить на вечные времена их имена и показать, как карают сво-

бодные граждане всех, посягающих на их неприкосновенность! – закончил отец свое горячее слово.

Послали также требование об освобождении арестованных матросов «Князя Потемкина-Таврического» *) и об удалении полицеймейстера Попова, пригрозившего в начале манифестаций казацкими нагайками. Наконец, постановили объявить бойкот директору мужской гимназии, Ветнеку, просившему по телефону присылки войск для избиения гимназистов.

В конце заседания городской голова, миллионер Максимов, страшась личной ответственности за все, содеянное Думой, предложил отцу свое место на председательском кресле. Дума, как один человек, присоединилась к просьбе своего головы и пригласила отца быть временным представителем города. Отец, не имея на таковое представительство официальных полномочий от населения, разумеется, отказался и, в свою очередь, просил голову попрежнему работать вместе с ним.

Заседание продолжалось непрерывно 18 часов. Сделано было много, но предстояло сделать еще больше; общественная жизнь только начинала вступать в свои, завоеванные упорной борьбой, права.

Отец, в совершенном изнеможении, полулежал на оттоманке и, видимо, не мог шевельнуться от неимоверной физической и душевной усталости. Я придвинул к изголовью отца шахматный столик, покрыл его салфеткой и принес из столовой холодный обед. Отец жадно проглотил несколько кусков, но скоро мысль его заработала в новом направлении. Он встал с кушетки и заходил из угла в угол, ожесточенно кусая усы (его привычка). Я напомнил ему об обеде и о том, что он больше суток ничего не ел, но отец меня не слышал и продолжал сосредоточенно размышлять.

– Друзья мои, – начал он, остановившись и широким движением отбрасывая назад копну густых волос своих без единой седины, – события бегут с сумасшедшей быстротой, и Бог знает,

*) Это требование исходило от местных с.-р. и с.-д. организаций.

что будет завтра, через час, Бог знает, удастся ли мне в другой раз поговорить с вами спокойно и «по душам». Вы сегодня впервые приняли участие в политической жизни страны, и хоть участие это выразилось в грубых, некультурных формах – согласитесь, что выламывание дверей общественного учреждения не может быть названо культурным приемом борьбы – тем не менее, я готов допустить, что выбора у вас не было, что использованный вами исключительный способ протеста – следствие исключительных же обстоятельств. Но что прошло – то прошло. Я хочу вам сказать несколько слов, слов горячо любящего молодежь и желающего ей добра человека.

Недавней усталости у отца как не бывало. В глазах его снова горел огонь вдохновения, голова гордо откинулась назад, и от всего изможденного, осунувшегося лица излучалась стальная, несокрушимая сила духа. «И откуда силы у него берутся?» – почти со страхом подумал я.

Отец задумчиво и серьезно смотрел на нас в течение некоторого времени, потом тряхнул головой и заговорил тепло и проникновенно:

– Молодые друзья мои! Народное движение, охватившее всю Россию, не могло не найти отклик в тех из вас, кто вышел из детского возраста и кто рвется юной душой внести свои силы в борьбу за правду против неправды. Это стремление юности стать в честные ряды освободительной армии так же естественно и законно, как естественно и законно отвращение ко злу и неправде и влечение к добру и справедливости. Мы, родители, сами обязаны стать в ряды людей, готовых отдать жизнь за освобождение измученной России, и мы не можем, не имеем права скрывать это от вас. Бывают минуты в жизни народов, когда каждый должен отказаться от своих личных интересов и привязанностей, забыть свою личную жизнь и твердо идти к одной, общей для всех, великой и неотложной цели, идти до конца. В такие минуты долг обязывает отбросить в сторону страх за близких и любимых людей. Трудно сделать это, и в этом – источник моих отцовских страданий. Страх

за вас и любовь к вам не дают мне права останавливать вас; нет, это было бы недостойно гражданина, да и бессмысленно.

Отец подошел ко мне и, с бесконечной любовью, сжав ладонями мою голову, заглянул мне в глаза.

– Ошибаются те родители, – продолжал отец, гладя мои волосы, – которые думают, что запрещение может остановить вас. Этого сделать невозможно, как невозможно остановить самую жизнь, как невозможно запретить вам дышать тем воздухом, которым дышем мы. В минуту великого перелома русской жизни моя любовь к вам обязывает меня стать ближе к вам, посильными советами избавить вас от излишней опасности и направить на путь твердости и порядка в вашей деятельности. Проникнитесь, друзья мои, высотою цели, которой хотите служить, и только тогда работа ваша будет плодотворна, и только тогда участие ваших молодых сил не внесет беспорядка, поможет, а не помешает великой освободительной работе всего народа. Проникнитесь важностью дела, к которому хотите приложить свои руки, будьте серьезны, сосредоточенны, не делайте ни одного шага, не обдумав сначала общими силами его смысла и значения. Не вовлекайте в ваши дела детей – это нечестно.

Мы слушали отца с напряженным вниманием. Каждое слово находило горячий отклик в наших сердцах, и мы, 15-ти и 16-летние мальчики, молчаливо давали себе клятву всю свою жизнь следовать его заветам.

– Читайте почаще честные, прогрессивные газеты, – продолжал отец, – следите за общественной работой; это укажет вам, чем и как вы можете содействовать общему делу. Не унижайте нашего правого дела, внося в него беспорядок и буйство. Помните, что мы боремся против произвола и стремимся к порядку и законности. Помните, что никто из борцов за освобождение России не возвысит себя, употребив над кем бы то ни было насилие; насилие – оружие наших врагов, и оттого мы презираем их. Раньше, чем проводить в жизнь право, которое, по вашему мнению, должно принадлежать вам, обдумайте его спокойно, не требуйте

чрезмерного, но если решите добиться этого права – будьте тверды в своем решении, отстаивайте его до конца настойчиво и спокойно, не отступайте. Ваша твердость и решимость побудят робких присоединиться к вам. Перед грубой силой расходитесь, не вступайте в борьбу: это и бессмысленно, и недостойно вас. При нападении на вас без предупреждения – обороняйтесь, но почти всегда можно избегнуть столкновения, если вовремя отойти от силы.

Отец задумался, припоминал, не забыл ли чего.

– В обещание расширить ваши права через министерство народного просвещения – не верьте. Но также не забывайте, что забастовка хоть и могучее, но крайнее средство, требующее хорошей организации. Не злоупотребляйте этим средством, берегите его до того дня, когда забастовкой снова воспользуется вся Россия как средством политической борьбы; пока же – сближайтесь и организуйтесь. Если вы будете руководствоваться всем сказанным, то это избавит вас от излишней опасности и направит вашу работу на пользу дела. А, главное, не забывайте, что я ваш друг, готовый всегда помочь вам*).

V

На следующий день, 20 октября, в 10 час. утра, были назначены похороны жертв, убитых у тюрьмы. Отец ушел с утра в городскую Думу, чтобы сопровождать похоронную процессию вместе с городским головой Максимовым, частью гласных и множеством различных делегаций от общественных деятелей, профессиональных организаций и союза севастопольских рабочих. Наша «реалка» приняла посильное участие в церемониале, выставив около 20 музыкантов для похоронного оркестра и явившись на похороны en plein. На сборный пункт – у ворот реального училища –

*) По нашей просьбе отец записал свою импровизированную речь и, озаглавив ее: «Письмо учащимся старших классов», послал в газ. «Крымский Вестник», на столбцах которого она и появилась в 20-х числах октября.

пришло и большинство гимназистов и воспитанников среднего технического училища. Отпевание происходило в пригородной церкви, недалеко от тюрьмы, места недавнего кровопролития.

Уже в районе цирка я убедился, что в похоронах принимает участие больше половины города. Мы со своим оркестром казались песчинкой в необозримом человеческом море, когда по выработанному заранее маршруту вышли из города и направились к церкви, с трудом пробивая дорогу сквозь народную толщу. У церкви нам пришлось простоять около 2-х часов, в ожидании прибытия делегаций и гробов и окончания литии. Наконец, раздались звуки «Коль славен», и вся чудовищная толпа, растянувшись на 3 версты, заколыхалась, пришла в движение и повлекла нас за собой. Мыслей в голове не было; чувствовалось только страшное возбуждение и необычайный подъем духа. При взгляде на многотысячную народную армию энергия крепла и удесятерялась от сознания силы и солидарности всей этой грозной лавины.

Но вот поползли зловещие слухи. Передавали, что на обратном пути на нас нападут с ножами и револьверами хулиганы, местные «истинно-русские» люди, и начнется беспощадное избиение «крамольников и жидовских наймитов». Сердце сжалось, в душе вспыхнул огонь дикой ненависти, но решение идти до конца, дать отпор хотя бы всем силам ада, не сделалось меньше, а, наоборот, увеличилось и обострилось. Шествие продолжалось без помехи. «Коль славен» и «На смерть героя» чередовались. Ни отца, ни членов делегаций я не находил, как ни искал их глазами, и только, придя на кладбище и удачно заняв место, рядом с оркестром, возле самых могил, я заметил, наконец, форменное черное пальто отца, с красной повязкой на рукаве, среди группы людей в штатском. Восемь гробов опустили в могилы, и толпа затихла в напряженном, выжидающем молчании. Нервы у всех были настолько взвинчены, настроение так насыщено электричеством, что малейший звук – восклицание, треск сухой ветки – заставлял всех вздрагивать и настораживаться.

Но вот на возвышении выросла стройная фигура отца, с бледным, как смерть, лицом. Толпа всколыхнулась и замерла. Насту-

пила такая мертвая тишина, что биение собственного сердца звучало в ушах моих настоящими ударами молота. Казалось, вся сорокатысячная толпа дышала одной грудью, жила одной думой, имела одну душу, трепетавшую в судорогах мучительного ожидания.

Отец обвел глазами жадно тянувшиеся к нему тысячи старых и молодых лиц, нахмурился, опустил голову и заговорил медленно и глухо:

– У гроба подобает творить одни молитвы; но да уподобятся молитве слова любви и святой клятвы, которую я хочу произнести здесь, вместе с вами.

Когда радость переполнила души усопших, то первым их движением было идти скорее к тем, кто томится в тюрьме, кто боролся за свободу и теперь, в минуту общего ликования, лишен этого высшего блага. Они, неся с собой весть радости, спешили передать ее заключенным, они просили выпустить их и за это были убиты. Они хотели передать другим высшее благо жизни – свободу, и за это лишились самой жизни. Страшное, невиданное преступление. Великое, непоправимое горе.

Голос отца пресекся. Лицо его побледнело еще больше, глаза, с непролившимися слезами, сделались страшными и огромными. Подавив спазму в горле, он продолжал:

– Теперь их души смотрят на нас и вопрошают безмолвно: «Что же вы сделаете с этим благом, которого мы лишены навсегда? Как вы воспользуетесь свободой? Можете ли вы обещать нам, что мы – последняя жертва произвола?» И мы должны успокоить смятенные души усопших, мы должны поклясться им в этом. Клянемся им в том, что мы *никогда никому* не уступим ни одной пяди завоеванных нами человеческих прав.

Отец поднял руку и голосом, от которого волоса зашевелились на моей голове, выдыхнул с мучительным и восторженным рыданием:

– Клянусь!

По толпе пробежала искра. Десятки тысяч рук поднялись, как одна, и десятки тысяч голосов повторили за отцом:

– Клянусь!

– Клянемся им в том, – продолжал отец, – что все силы, всю душу, самую жизнь мы положим за сохранение нашей свободы. Клянусь!

В неистовом энтузиазме людское море выбросило сорок тысяч рук, и грозно пронеслось из конца в конец:

– Клянусь!

– Клянемся им в том, что свою общественную работу мы всю отдадим на благо рабочего, неимущего люда. Клянусь!

– Клянусь! – рокотало море.

– Клянемся им в том, что между нами не будет ни еврея, ни армянина, ни поляка, ни татарина, а что мы все отныне будем равные свободные братья Великой Свободной России!

Толпа обезумела. Это были уже не мирные граждане, а несокрушимая армия фанатиков, готовая ринуться на неприступные твердыни по мановению руки отца. И боевым воплем вырвалось из всех грудей полное потрясающего трагизма:

– Клянусь!

– Клянемся им в том, что мы доведем их дело до конца и добъемся всеобщего избирательного права. Клянусь!

– Клянусь!

И казалось, что и люди, и земля, и деревья, и могильные кресты, и самый воздух слились в одном стихийном порыве, в этом последнем «Клянусь!».

Повсюду раздавались рыдания. Незнакомые люди обнимались, раскрыв друг другу и души, и объятия. Я плакал на чьем-то плече, кто-то жал мне руку... Как сквозь туман, я видел залитые слезами лица своих друзей, медные трубы оркестра, сменившую отца у могилы приземистую фигуру присяжного поверенного Резникова, который пытался говорить, но которого никто не слушал. Глубокая, огромная радость овладела душой. Я задыхался от счастья, от гордости, от пламенного восторга, от беспредельной, невыразимой любви. «Из всех этих тысяч я – самый близкий **е м у** человек. И **он** – мой отец!».

Отец долго не мог освободиться от людей, желавших хоть пальцем коснуться его одежды. Наконец, ему удалось пробраться ко мне. Я увидел, как дрожали его руки, когда он закуривал папиросу, и мучительная жалость пронзила мне сердце. Мы не обменялись ни единым словом, а только переглянулись. Но в этом взгляде было сказано все.

После речей остальных ораторов: пр. пов. Резникова, городского головы Максимова и представителей «революционного пролетариата», как они отрекомендовались, с.-р. Мельникова и с.-д. Орлова, речей, таких бледных и невыразительных после «клятвы» отца, шествие тронулось и обратный путь. По выходе из кладбища людское море разбилось на отдельные ручейки, и мы с приятелями пошли домой, перекидываясь отрывистыми замечаниями.

У здания тюрьмы нас догнал на извозчике отец и сообщил, что он сейчас объяснялся с бандой «истинно-русских» людей, издали следивших за нами, но не решавшихся открыто напасть на нас – слишком мы были многочисленны. Отец заметил их, подошел и спросил, что им нужно. Комбинация из золотых погон и красной повязки настолько смутила «истинно-русских», что на несколько минут они потеряли дар речи. Наконец, их предводитель, пожилой, осанистый мужчина в картузе и поддевке, по-видимому, мясник, выступил вперед, вежливо снял картуз и нерешительно поведал «его благородию», что «его ребята за Царя обижаются».

– Почему обижаются? – спросил отец.

– Потому, выходит, что Царя больше не будет. А как же без Царя? Никак невозможно. Нет нашего на то согласия. Он, батюшка, наш исконный, православный, а теперича... как же так? Жид баламутит, Царя не хотит, народ на начальство пущает... А народ... народ, известно, что!.. Что бараны, что народ – все едино! Своей пользы не понимает, против Царя бунтует... Нет нашего согласия, ваше благородие!

– Послушайте, – сказал отец, – видите эти погоны? Я – царский слуга и против Царя ни сам не пойду, ни других не поведу. Теперь скажите, читали вы манифест?

– Так точно, ваше благородие, все читали.

– А если читали, то должны знать, что Царь дал нам право свободно писать, говорить, собираться, толковать о своих нуждах и посылать верных людей в Государственную Думу. Не так ли?

– Так точно, ваше благородие, мы грамотные, все понимаем. Царская милость, известно, – заговорили сразу несколько человек.

– Прекрасно. А что получилось? Царь дал свободу своему народу, народ обрадовался и пошел в тюрьму просить освободить тех, кто боролся всю жизнь за эту свободу, ту самую свободу, которая уже дана Царем, а начальство, вопреки царскому манифесту, приказало солдатам стрелять в народ, и много людей было убито и ранено. Так кто же, по-вашему, выходит бунтовщиком против Царя: мы, шедшие исполнить царский манифест, или начальство, не захотевшее ему подчиниться?

Слова отца сильно смутили «истинно-русских», они молча переглянулись и потупили головы. Предводитель почесал затылок и произнес, запинаясь:

– Оно так, ваше благородие... Царского манифесту, да не сполнять... Уж это последнее дело! А нам ни весть что наврали. Выходит, стало быть, совсем другой табак. Спасибо за науку, ваше благородие, прощенья просим. Гайда, ребята! – закончил он, взмахнув картузом, и вся ватага повалила за ним.

Не берусь судить о результатах описанной беседы. Отмечу только факт. Когда по всему югу России прокатилась волна еврейских погромов, Севастополь с немногими городами представлял исключение.

Дома мне удалось уговорить отца лечь отдохнуть. Я тоже решил вздремнуть и проспал до вечера. Проснувшись, я осторожно заглянул в отцовский кабинет. Он был пуст. Федор мне сообщил, что отца разбудил посыльный из Штаба, принесший какую-то бумагу. Отец прочитал ее, переоделся в парадную форму и ушел, приказав передать мне, что скоро вернется. Мне и в голову не пришло, что повестка из Морского Штаба может иметь какое-либо отношение к речи отца на кладбище.

Тем не менее, так оно и было. Как я узнал на другой день от отца, в Штабе его арестовали и, в сопровождении офицера и четырех часовых, повели через весь город на Графскую пристань, посадили на катер, отвезли на броненосец «Три Святителя» и заперли в совершенно закрытую от дневного света каюту, в которой вследствие последнего обстоятельства, круглые сутки горело электричество. Но в день ареста я не подозревал ничего и спокойно ждал отца до глубокой ночи. Так велика была моя вера в незыблемость «дарованных» гражданских свобод, в «действительную» неприкосновенность личности русского «гражданина».

Вечером на нашей квартире перебывало множество знакомых и незнакомых людей, справляясь об отце. Все имели к нему дела, дела, по словам посетителей, совершенно неотложные. Обозленный предстоящей перспективой новой беготни и разрывания отца на части, я сурово выпроваживал за двери всех, лично мне не знакомых, знакомых же встречал довольно сухо и категорически заявлял, что, хотя отец и должен скоро вернуться, он настолько устал, измучен н истощен, что ему необходим продолжительный отдых и что я, посему, самым решительным образом буду противиться попыткам кого бы то ни было помешать отцу восстановить свои силы.

Все понимали меня с двух слов, сочувственно трясли руку и уходили, и только один с.-р. Мельников, «представитель революционного пролетариата», как он себя упорно титуловал, довольно темная сорокалетняя личность, неожиданно вломился в амбицию:

– То-есть, как это, молодой человек? Каким образом вы можете помешать мне видеть вашего отца?

– Каким образом? Чрезвычайно простым: вот этими самыми руками, – охотно сообщил я. – Если же моя сила окажется недостаточной, то позову Федора.

Мельников смерил меня уничтожающим взглядом, но, прошипев: «Нахальный мальчишка!», предпочел все-таки убрать-

ся, подобру-поздорову, яростно хлопнув дверью. Время проходило, а отец все не возвращался. «Опять, наверное, в этой Думе, черт бы ее подрал», думал я с озлоблением. Часов в 12, увидев со двора свет в наших окнах, ко мне зашли два одноклассника; узнав про мою тревогу, они решили сбегать в Думу и в некоторые дома, где бывал отец. Я с нетерпением ждал их возвращения. Вернулись они встревоженные и смущенные. Отца нигде не могли найти, но от реалиста VII класса Сашки Виленчика, сына владельца самой крупной аптеки в Севастополе, узнали, что он, Виленчик, видел издали, около 5 часов вечера, подходившую к Графской пристани группу из 2-х офицеров и 4-х матросов с винтовками, причем один из офицеров, одетый в мундир, очень походил фигурою на отца. Лица, однако, Виленчик не разглядел.

Я как-то сразу получил твердую уверенность, что офицер в мундире – мой отец, и что он арестован. Но по чьему распоряжению? За что? Арест за речи после дарования свобод казался мне невероятным. Друзья разделяли это мнение и успокаивали меня тем обстоятельством, что ведь личность таинственного офицера в мундире еще совершенно не установлена.

Но последнее являлось, на мой взгляд, слишком очевидным, и я продолжал мучиться и теряться в догадках. Друзья, видя мое душевное состояние, решили у нас заночевать. Я горячо поблагодарил их и устроил одного в своей комнате, другого – в кабинете отца; сам же расположился в столовой, на chaise-longue'е. Задремал я только под утро. Измученный треволнениями за день, я проспал до 10 часов и проснулся от шума множества голосов. В квартире находилось человек 20 народу, на дворе стояло еще столько же, если не больше.

Я увидел присяжного поверенного Резникова, 5-6 гласных, наших недавних знакомых, супругов Рахт, и еще человек 10-15 знакомых, полузнакомых и незнакомых совсем. Но последних становилось все больше, прибывали все новые и новые лица, и скоро вся наша квартира представляла сплошной копошащийся муравейник. Эти добрые полсотни людей, не обра-

щая на меня ни малейшего внимания и чувствуя себя, как на улице, разбились на кучки и вели какие-то свои разговоры, не имевшие никакого отношения ни к отцу, ни к политике, ни к причине их непрошенного вторжения. Я растерялся и не знал, спасаться ли мне на двор или схватить свою трость с железным наконечником и начать дубасить по головам всех этих «гостей». Более всего возмущало меня то обстоятельство, что меня самого, по-видимому, принимали за одного из гостей.Спас положение силач Яковлев; он вытолкал из кабинета отца всех посторонних и оставил человек десять самых близких моих друзей. Заперев дверь на ключ, Яковлев осторожно сообщил мне о том, в чем я и без того был совершенно уверен, – именно, что отец арестован. Сидит он на «Трех Святителях»; городская Дума и представители общественных организаций хлопочут об освобождении отца, которое ожидается с минуты на минуту, рабочие же севастопольского порта и мастерских, собравшись сегодня утром, выбрали отца своим пожизненным представителем. Население волнуется и собирается устроить грандиозную демонстрацию-протест; известие об аресте отца успело облететь уже весь город. Имя отца на устах у всех; его «Клятва», кем-то записанная на память, расходится в сотнях списках по городу и передана по телеграфу в петербургские и московские газеты.

Одним словом, такого ореола славы, популярности и всеобщего поклонения не удостаивался ни один гражданин Севастополя с начала основания города.

Я слушал восторженные разглагольствования своего друга рассеянно и печально. Что в ней, в этой популярности, когда мой отец, больной и одинокий, томится в заключении, окруженный чужими и, в лучшем случае, равнодушными людьми!

Не успели мы обменяться впечатлениями, как вошел Федор и протянул мне записку, принесенную матросом с «Трех Святителей». Мы жадно наклонились над ней.

«Дорогой сыночка», писал отец, «не беспокойся и не волнуйся. Вчера был арестован в Штабе и сижу теперь на «Трех Святителях». Не сегодня-завтра все выяснится. Пока же мне разрешено свидание с тобой. С подателем этой записки приезжай ко мне. *Твой друг – папка*».

– Ну, дорогие, оставляю все наше добро на ваше попечение! – крикнул я своим друзьям и опрометью бросился в прихожую, где меня ждал высокий матрос с унтер-офицерскими нашивками. Я закидал его вопросами об отце, но он отвечал лишь сиплым «Не могим знать!», причем вытягивался и прижимал руки ко швам. «Дисциплина на ять!», грустно усмехнулся я про себя и молча дошел с ним до Графской пристани. Нас дожидался щегольской вельбот; мой провожатый сел к рулю, я – рядом с ним. Под дружные взмахи весел мы полетели вперед и через 10 минут пристали к левому борту стального гиганта. Меня любезно встретил молодой мичман и повел через лабиринт бесчисленных коридоров, поворотов, подъемов и спусков.

В одном из междупалубных помещений мы остановились у двери, охраняемой часовым; мичман попросил меня подождать и ушел. Ждал я не долго; мой мичман скоро вернулся в сопровождении толстого маленького человека с суровым лицом и длинными седыми усами, капитана I ранга Веницкого, командира броненосца, и щеголеватого, прилизанного лейтенанта, начальника караула. Капитан угрюмо кивнул мне головой, лейтенант же расшаркался с самой очаровательной грацией и отпер дверь каюты большим ключом. Командир жестом пригласил меня войти и вошел сам. Я увидел небольшую каюту с наглухо задраенным иллюминатором и ярким электрическим светом.

Отец сидел за миниатюрным откидным столом и писал письмо. Он встал, поцеловал меня и усадил на складной матерчатый стул. Выглядел отец неважно; томительная, тяжелая мысль явно преследовала его. Веницкий уселся на другой стул и, глядя на свои сапоги, приготовился слушать. «А! Так ты шпионить за нами приставлен! Погоди же!», подумал я. И, с места в карьер, я торопливо передал отцу все, что слышал от Яковлева и наблюдал сам, преувеличивая все факты до гомерических размеров и присочиняя к рассказу самые причудливые детали.

Отец слушал, улыбаясь; видимо, он не придавал моим словам большей веры, чем они того заслуживали. Но когда я дошел до

избрания его пожизненным депутатом от севастопольских рабочих, лицо отца преобразилось от счастья.

– Да неужели? Серьезно? Что ж ты сразу с этого не начал! Ну, спасибо, спасибо тебе за добрую весть! – с жаром воскликнул он, радуясь и волнуясь, как юноша. – Поздравьте же меня! – обратился отец к Веницкому. – Ведь какая честь, подумайте! Пожизненный депутат от рабочих! Неужели вы меня не поздравите?

– Никакой чести не вижу для офицера Флота Его Величества, никакой! – мрачно буркнул капитан I ранга, еще больше уткнувшись в свои сапоги. – И прошу вас, лейтенант, впредь не обращаться ко мне с такими неуместными... да, вот именно, неуместными предложениями.

– Эх, вы! – с горечью произнес отец, махнув рукой. – Казенные кляксы! Да и я-то хорош: забыл, с кем разговариваю!

– Лейтенант, лейтенант! – закипятился Веницкий, то вскакивая, то садясь, – Вы забываетесь, лейтенант! Я сегодня же подам рапорт на вас Главному Командиру. Я не клякса, а капитан 1-го ранга, прошу заметить! И... прошу молчать, не то я вынужден буду ввести в каюту часового! Клякса! Да знаете ли вы!.. Как вы смеете!

Капитан распетушился ужасно. Его лицо побагровело, лысина покрылась крупными каплями пота, которые он вытирал раздушенным платком. Несмотря на печальные обстоятельства, мы с отцом еле удерживались от смеха, глядя на сердитого маленького человека, в сущности, совсем не злого, но службиста и буквоеда до мозга костей.

– Если хотите продолжать свидание с сыном, – заговорил капитан, несколько успокоившись, – то прошу говорить только о семейных делах. Политической пропаганды не допущу-с!

– Да побойтесь вы Бога, командир! – засмеялся отец, – кого я могу распропагандировать? Кроме сына и вас, здесь никого нет. Ведь не за себя же вы опасаетесь?

– Все равно, все равно, – бормотал Веницкий. – Не допущу на вверенном мне корабле... Покорнейше прошу говорить только о семейных делах!

– Ну, ладно, – добродушно согласился отец. – О семейных, так о семейных. Вот что, Женя, – обратился он ко мне, – отправька ты это письмо...

– Нельзя-с! – снова заволновался Веницкий. – Не могу. Корреспонденция вам строжайше запрещена. Требуется особое разрешение прокурора. Вам это известно, лейтенант.

– Хорошо, – сказал отец, мигая мне незаметно для капитана. – Будем просить прокурора.

Мы заговорили о пустяках и через четверть часа свидание кончилось.

При расставании отец очень ловко сунул мне в руку записочку, которую я развернул только на берегу. Записка была адресована хорошему знакомому отца, прис. пов. Резникову. Я сейчас же отправился к нему на квартиру. Резников прочитал записку и передал мне. В записке говорилось о необходимости добиться Резникову у прокурора «разрешения видеться на «Трех Святителях» с отцом, как своим будущим подзащитным. В чем обвиняют отца, по каким статьям будут его судить, если дело дойдет до суда – мы не знали даже приблизительно. За предыдущую деятельность судить отца не могли – ее покрывала амнистия. За речь на кладбище? Вряд ли – объявлена свобода слова. Единственная зацепка – офицерское звание отца. Гражданские свободы, очевидно, не распространяются на чинов Армии и Флота.

Итак, отец может подвергнуться только дисциплинарному взысканию. На том мы с Резниковым и остановились.

Насколько справедливыми были наши догадки, можно судить по письму отца, написанному в числе многих других, в период его заключения на «Трех Святителях»:

«...Я только... в три дня своей русской свободы, за которые меня хотят судить... только в эти три дня понял, как сильно я полюбил свободной душой свободную Россию...

Я думал, что все русские люди чувствовали в себе такое же перерождение, но скоро убедился, что не все, так как я был экстренно призван в Штаб Флота, и адмирал Данилевский объяснил мне,

что форма, которую ношу... не позволяет радоваться вместе с русским народом освобождению России и что, служа в доблестном флоте, нельзя ликовать, пока сего не предпишет ближайшее начальство, что мой ликующий вид неприличествует тому доблестному флотскому мундиру, который... на меня напялили, призвав на столь же доблестную войну делить победные лавры моих сослуживцев!

Мне хотелось спросить тогда же контр-адмирала, долго ли флоту еще придется сдерживать в своих патриотических сердцах радость, которая, хотя по долгу службы и не проявляется, но, несомненно, переполняет же сердца народных воинов!

Разговор наш происходил 20 октября, к вечеру, и чувство радости третий день должно было клокотать в сердце адмирала, но он ничем не проявлял его, а, напротив, в разговоре со мной был гневен.

Да, долго пришлось бы мне ждать разрешения ликовать... Теперь, когда я пишу эти строки, наступило уже 30 октября, а манифест все еще скрывается от матросов и не прочтен на броненосце команде, да, может быть, так и не будет прочтен...

Я оттого это предполагаю, что, когда я спросил надзирающего за мной капитана 1 ранга Веницкого, отчего скрывают от команды такую великую радость, то он совершенно не понял меня и спросил:

– Да чему тут радоваться?

Да, гг. офицеры флота, теперь и я сам вижу, что вам этому радоваться не приходится»...

Придя домой, я застал квартиру уж очищенной от утренней публики. Меня дожидалось только несколько товарищей. От них я узнал, что в столицы и крупные центры отправлены телеграммы с извещением об аресте отца, что все местные общественные силы поставлены на ноги, что будет сделано все возможное для скорейшего его освобождения.

В следующие дни я продолжал регулярно навещать отца. Каждый раз я заставал его за писанием многочисленных писем, которые ему все не удавалось отправить по назначению. Я знал... кому

адресованы эти письма, и жгучая боль за отца, за себя, за наше счастье поднималась во мне всякий раз. «Неужели ему недостаточно первого опыта, да еще какого!» – думал я в полном недоумении. Но приходилось молчать, и даже, по просьбе отца, я отправил г-же Р. в Киев несколько «успокоительных» телеграмм.

При свиданиях неизменно присутствовал капитан Веницкий, предоставивший нам, в конце концов, говорить о чем угодно. Усердный службист как будто сообразил, что охранять сына от тлетворной пропаганды отца не входит в его обязанности.

Следствие тянулось, не приходя ни к какому определенному результату. Начальство все еще не решило, как поступить с отцом, какое обвинение к нему предъявить. Оставалось прийти к заключению, что ждали инструкций от высших властей, а пока тянули дело, стараясь изолировать отца от внешнего мира, если уж не могли уничтожить его популярности, выраставшей с каждым лишним днем ареста.

К концу первой недели своего сидения отец стал жаловаться на боль в глазах и невралгию от вечного электрического света. Пришла врачебная комиссия, осмотрела отца; 30 октября его перевели в светлое помещение. Каюту дали большую, роскошно обставленную. В ней была масса света и воздуха, проникавших через два больших иллюминатора. Я привез отцу несколько его любимых вещей с письменного стола и портрет г-жи Р., но писем от нее, чего он так жаждал, передать долго не мог – корреспонденция все еще оставалась запретным плодом. Наконец, я решился на невинную хитрость: вложил письма в узелок с бельем и передал его отцу при Веницком. Догадался ли бравый морской волк, что в узелке находится нечто недозволенное, или нет – не знаю; думаю, однако, что догадался.С передачей же корреспонденции на волю – г-же Р., Резникову, Севастопольской Думе, рабочим, редакциям столичных газет и различным знакомым – дело устроилось более оригинальным способом, чрезвычайно к тому же простым, как все оригинальное. Спускаясь однажды, после свидании с отцом, по трапу «Трех Святителей» обратно на шлюпку, я где-то, совсем ря-

дом, услышал громкий шёпот отца, звавшего меня по имени. Я вздрогнул и обернулся. Никого. По трапу, следом за мной, никто не шел. Перегнувшись через борт, на меня смотрел вахтенный начальник. Что за чудеса! Не с неба же прозвучал родной голос! Я стал продолжать спуск, как вдруг, слева, в иллюминаторе, в аршине расстояния, увидел голову отца: его поместили так удачно, что трап, по которому я обычно поднимался (с левого борта), почти пересекал один из иллюминаторов его каюты.

Отец просунул в иллюминатор конверт, я проворно его схватил и спрятал в карман.

Оглянувшись, я убедился, что никто ничего не заметил. С того дня мы с отцом постоянно пользовались этим счастливым способом, и иллюминатор «Трех Святителей» стал служить отправным пунктом для всех посланий отца. Думаю, однако, что здесь не обошлось без греха: если с борта броненосца и могли не замечать, как я лезу рукой в иллюминатор и достаю оттуда огромные пакеты, то сказать то же самое относительно людей, ждавших меня у трапа на шлюпке, было совершенно немыслимо.

С переводом отца в светлое помещение, Резников получил разрешение видеться с отцом и стал ходить на свидание вместе со мной, передавая отцу, почти открыто, кипы газет, множество писем и записок. Веницкий махнул рукой и окончательно закрыл глаза на все, происходившее у него за спиной; видимо, инструкции высшего начальства оказались весьма благоприятными для отца. Так оно и вышло. Скоро стало известным, что отца решено посадить на неделю на гауптвахту за «небрежное отношение к казенным суммам», результатом чего явилась потеря последних, хоть и пополненная своевременно, и, пока что этим и ограничиться. Надо полагать, с преданием отца суду за его политическую деятельность «сферы» решили повременить и ждать накопления нового «материала», дабы потом, заодно, припомнить и старые грехи.

Отец с каждым днем чувствовал себя все лучше. На «Трех Святителях» в его голове зрели грандиозные политические замыслы. Он хотел по освобождении ехать в Москву, побывать в «Со-

юзе Союзов» и центральном комитете конституционно-демократической партии, к которой собирался примкнуть с частью социалистов, разделявших его политические убеждения. Из этих немногих правых, так сказать, национал-социалистов и конст.-дем. партии отец намеревался создать Великую Всероссийскую партию Социалистов-Работников*), куда бы, со временем, вошли все разрозненные партии – как рабочие, так и крестьянские, с одной общей политической программой. Не знаю, насколько планы отца были осуществимы; в политике я профан. Сомневаюсь, однако, чтобы, даже с помощью своего необыкновенного обаяния, отцу удалось соединить несоединимое.

Я с особым удовольствием приносил отцу те номера «Сына Отечества», где печатались протесты по поводу его ареста. Протесты печатались каждый день, до самого освобождения. Имя отца, дотоле никому неведомое, как по волшебству, приобрело громкую известность, а его знаменитая клятва, «Клятва Шмидта», облетела всю Россию.

Дома я никогда не оставался один. Отец поручил меня попечениям Вити Володзько, навещавшего меня так часто, как только позволяли семья и служба; да и без него наша квартира никогда не пустовала. В течение 2-х недель отцовского ареста, меня ежедневно навещало не менее половины 6-го класса.

2 ноября отец встретил меня с давно ожидаемой радостной вестью – его проводили в госпиталь.

По выздоровлении ему предстояло отсидеть на гауптвахте за «небрежное отношение», после чего вся история оканчивалась, и отец становился свободным гражданином. Он сильно надеялся, что к моменту окончания его отсидки из Петербурга придет вожделенная отставка. В тот же день, вечером, вместе со своим двоюродным дядей, штабс-капитаном Денисевичем (кузеном отца) я отправился на корабельную сторону, в Морской Госпиталь. В Госпитале я никогда еще не был, и своей мрач-

*) Поскольку я могу судить, эта партия должна была иметь много общих черт с английскими трэд-юнионами.

ностью и пустынностью он произвел на меня самое гнетущее впечатление. У дверей отдельной палаты, отведенной отцу, стояла пара часовых.

Отца я нашел в большом возбуждении. Ожидание свободы под конец делается, как известно, особенно мучительным, и отец испытал это на себе в полной мере. Он метался по комнате, как лев в клетке, ерошил волосы, начинал говорить, обрывал, садился, вскакивал, закуривал папиросу и сейчас же ее тушил. Я успокаивал отца, как мог, убеждая, что полное освобождение – дело 2-3-х дней, если не часов. Убеждал я отца вполне искренно, твердо веруя в то, что говорил.

Действительность оправдала мою уверенность. На другой день, после обеда, собираясь к отцу, я услышал в передней резкий, нетерпеливый звонок и, опередив Федора, я бросился отворять. Через секунду я уже сжимал в объятиях отца. Увидав Федора, отец, на радостях, обнял и его. Очумевший от восторга Федор бестолково закружился по квартире, не зная, за что взяться, пока отец не приказал ему не мудрствовать лукаво, а поставить самовар.

Освобождение отца совершилось до смешного просто. Утром отец заметил отсутствие часовых у своих дверей. Прождал час, два, три – двери палаты продолжали оставаться свободными. Тогда отец вызвал дежурного врача, заявил ему, что он здоров и покинул госпиталь. Он надеялся на зачет 2-недельного ареста на «Трех Святителях» в срок предстоящей отсидки на гауптвахте; тогда все его дело можно будет считать окончательно ликвидированным.

– Ну, мой мальчик, я отдохнул, окреп и готов к новой борьбе! – воскликнул отец, расхаживая крупными шагами взад и вперед. – Не делай кислого лица, а лучше сбегай на почту, пока Федор занят, и отправь телеграмму.

Отец прошел в кабинет, написал на листке бумаги несколько слов и дал мне. Телеграмма была адресована в редакцию «Сына Отечества».

Я прочел:

«Спасибо за помощь, соратники! Я вновь в наших славных рядах. – Гражданин лейтенант Шмидт».

VI

В первый же день по освобождении политическая деятельность отца возобновилась. Вечером, после небольшого отдыха, он ушел на соединенное заседание представителей города и местных социалистических партий. Вернулся он поздно вечером, совершенно разбитый и измученный «вздорными бабьими счетами партийных недоумков», как он выражался, занятых бесконечными теоретическими пререканиями в то время, «когда каждая минута дорога и суток не хватает».

Социалистические партии (с.-р. и с.-д.), сначала заискивавшие в отце и желавшие, ввиду популярности красного лейтенанта среди всех слоев городского населения, перетянуть его, каждая, на свою сторону, скоро убедились, что отец идет своим собственным, самостоятельным путем, абсолютно не считаясь с их видами и интересами. Заискивающее отношение партийных «верхов» скоро сменилось холодным и подозрительным, если не прямо враждебным. Но отца, ставившего успех дела выше каких бы то ни было других соображений и уверенного, к тому же, в своем почти неограниченном влиянии на севастопольских граждан, очень мало трогало фырканье и недоверие его недавних союзников.

Дни свободы и ликования давно сменились унынием и тревогой. Еврейские погромы и возобновившиеся репрессии весьма недвусмысленно давали понять, что если власть, под натиском всех общественных сил, и сдала некоторые – второстепенные – позиции, то теперь она чувствует себя, в свою очередь, достаточно сильной для отобрания этих позиций назад. Революционное кипение в рабочих кварталах, притихшее после 17 октября, заклокотало с новой силой. Появились грозные симптомы брожения во Флоте. Но власть была несокрушимо уверена в неприступности вновь ук-

репленных твердынь своих и пребывала в полном и презрительном спокойствии. История убеждает, что оценка старой властью «реального соотношения сил» оказалась совершенно правильной.

Признаки надвигавшейся бури, слишком очевидные при наличии общего возбуждения и острой ненависти к властям взбудоражили «толстопузых флегматиков». Следовало предпринять решительные меры для предотвращения новых жертв и нового кровопролития...И вот Севастопольская городская Дума решается на шаг, невиданный и неслыханный в истории российского городского самоуправления.

Городской голова с несколькими гласными Думы являются во дворец к Главному Командиру Черноморского Флота и портов Черною моря, вице-адмиралу Чухнину, почти неограниченному владыке всего Черноморского побережья, и «убедительно просят» его превосходительство, от имени населения, если он хочет «гарантированного порядка», передать все свои полномочия по успокоению населения лейтенанту Петру Шмидту.

Нетрудно вообразить ярость представителя «твердой власти»! На другой день адм. Чухнин экстренно пригласил в Морское Собрание высший командный состав Черноморского Флота и сообщил «о наглом предложении гг. гласных Севастопольской городской Думы, присовокупив, что месяц тому назад он, Чухнин, без разговоров повесил бы лейтенанта Шмидта собственной властью, теперь же господ, подобных Шмидту, оказывается, и судить нельзя!»

– Вот, г. г. офицеры, какие времена настали. Ни думал, ни гадал дожить до них. Но твердо верю, что офицеры Черноморского Флота не забудут заветов своих славных предков и до конца выполнят присягу перед Престолом! – закончил адмирал Чухнин свое экстренное сообщение.

Простодушные гласные, несомненно, переборщили. Чухнин, если бы и хотел, не мог «передать» свою власть ни отцу, ни кому бы то ни было, кроме назначенного Высочайшим приказом своего

заместителя на посту Главного Командира. В противном случае, с момента передачи власти, Чухнин сам становился государственным преступником. Но «просьба» гласных чрезвычайно показательна для характеристики влияния отца на благонамеренных и трусливых обывателей.

Возобновились волнения и в средней школе. Гимназисты требовали удаления ненавистного им Е.Н.Ветнека, директора, выведенные из терпения его чисто провокаторской, иезуитской политикой. Ничего, конечно, не добившись, они отправились к своему другу и постоянному заступнику и ходатаю – моему отцу, умоляя его употребить все свое влияние, чтобы избавить гимназию от слишком «современного» педагога. Отец подумал, поискал, нашел выход и дал обещание своим юным друзьям, что завтра же директор гимназии Ветнек будет смещен. Суть дела заключалась в том, что Севастопольская мужская гимназия была не казенной, а городской и получала средства не от правительства, а от севастопольского городского самоуправления. От Думы, поэтому, зависело убрать или назначить любого педагога по своему усмотрению (при назначении требовалось все же утверждение Министерства Народного Просвещения). В тот же день отец отправился в городскую Думу (где он уже 2-й месяц заседал на правах гласного) и, обрисовав «постыдную, антипедагогическую» деятельность Ветнека, категорически потребовал от Думы его немедленного увольнения от обязанностей директора. Сторонников названного педагога нашлось в Думе так мало, что последняя, почти без прений, поставила на баллотировку предложение своего неофициального главы и подавляющим большинством голосов постановила освободить действительного статского советника Ветнека от обязанностей директора мужской гимназии. Гимназисты торжествовали и, по выходе отца из Думы, устроили ему неистовую овацию, намереваясь пронести его на руках до самой квартиры. Только убедительные просьбы отца, серьезно рассердившегося под конец, заставили огорченную молодежь отказаться от своего несколько эксцентричного чествования.

Но «реакция» не дремала. Члены родительского комитета мужской гимназии, настроенные далеко не так либерально, как думские гласные, восстали против удаления директора. Произошло бурное заседание родительского комитета, и отцу пришлось выдержать на себе соединенный натиск всех недовольных родителей. Отец, по обыкновению, и здесь одержал победу, перечислив и доказав все вины злополучного директора и убедил родителей в невозможности оставления на своем посту такого педагога, как Ветнек. В результате родители не только одобрили постановление Думы, но и приняли резолюцию с протестом против деятельности некоторых педагогов.

На основании закона от 12 октября, дня через 3 по освобождении, отец подал заявление об устройстве им митинга на Приморском бульваре. Он придавал этому митингу особенно важное значение. По долгу пожизненного депутата севастопольских рабочих, отец хотел разъяснить своим избирателям политику С. Ю. Витте в связи с недавним «обращением» министра к рабочим с просьбой успокоиться, ничего не предпринимать самим и подождать, пока он, Витте, будет устраивать их судьбу. Накануне митинга отец получил, однако, «срочное и весьма секретное» предписание Главного Командира, запрещающее отцу не только участие, но и появление на митинге среди народа. «В противном случае вы будете немедленно арестованы и отданы под суд не за агитацию, а за невыполнение лично вам отданного приказания», писал Чухнин. Отец посоветовался с городским головой и решил на митинг не идти. Существовало веское основание предполагать, что народ не даст арестовать отца, и дело кончится кровопролитием, которого отец всегда избегал до последней возможности. Этим запрещением адмирал Чухнин, однако, не удовольствовался. Видя, что отца, в той или иной форме, от политической деятельности не удержать и считая его главной, если не единственной, причиной севастопольской «смуты», адмирал решил обезвредить отца хоть на время, отменив для сего первоначальное свое решение – зачесть арест на «Трех Святителях» в

срок высидки на гауптвахте. Из Штаба явился адъютант для «заарестования» отца и сопровождения его на гауптвахту, но отец сказался больным и не поехал. Тогда пригласили для освидетельствования врача; врач признал отца больным, и отец остался на «свободе», хотя и должен был с тех пор сидеть дома.

Но вынужденный отдых от политической деятельности не принес отцу ничего в смысле укрепления здоровья. И дни, и ночи отец просиживал за письменным столом, то составляя записки по рабочему вопросу, часть которых, подходящую для помещения в периодической печати, он посылал в редакцию «Сына Отечества», то сочиняя длиннейшие письма в Киев. Спал отец не более 3-4 часов в сутки и, глядя на его исхудавшее, одухотворенное страданием лицо, я с каждым днем убеждался все более и более, что отец догорит до конца, что никто и ничто не остановит его на полпути. Я знал, как он любил меня, на какие жертвы был для меня готов, но еще лучше знал все свое бессилие помешать свершиться неминуемому. Мне оставалось единственное – окружить отца всей любовью, какая жила в душе моей. И теперь, на расстоянии 20-ти лет, прислушиваясь к своей совести, я в хоре множества обвинительных голосов не слышу голоса моего дорогого отца. Надеюсь, что никогда не услышу.

Вопреки его затворничеству или, вернее, благодаря ему, имя отца все чаще и настойчивее повторялось на народных митингах. «Массы», горя желанием увидеть отца и зная, что публичные выступления ему воспрещены начальством, доходили на сходках до неистовства, требуя его появления.

Теперь мне кажется, что эти неистовства служили в гораздо большей степени доказательством эгоизма и праздного любопытства, чем настоящей любви к своему герою: ведь знали же все, что отец рискует, выступая, в десять раз больше всех севастопольских «товарищей», вместе взятых. Но, во всяком случае, популярность отца достигала таких необыкновенных размеров, что я и по сей час не могу открыть действительных причин этого совершенно сказочного, головокружительного успеха. Отношение близ-

ких к отцу людей понятно: его достаточно было немного узнать, чтобы полюбить.

Но чем объяснить, что люди, никогда не видавшие отца, знавшие о нем только понаслышке, приходили в бешеный восторг при первом его появлении, когда отец не успевал еще и рта раскрыть? Даже мое сыновнее, пристрастное (смешно отрицать!) чувство теряется и не находит ответа.

Великое проявлялось и в малом. В одной аптеке, куда отец послал за бромом (он принимал его каждый день), не взяли денег за лекарство, когда узнали, кому оно предназначается, и просили передать отцу, что отпускают лекарстю – «в пользу революции».

– Революция начинает меня кормить! – рассмеялся отец, когда посланный в аптеку вернулся и с лекарством, и с деньгами.

В соседнем доме жила тетка отца, Александра Петровна Денисевич (сестра деда Петра Петровича) – 70-летняя старушка. Я часто к ней забегал, она угощала меня каким-то особенным вареньем и толковала, по-старушечьему обычаю, о наступивших «последних временах».

Однажды я застаю тетю Сашу в слезах, слезах умиления. Оказывается, только что на улице к ней подошел рабочий и спросил:

«Мне сказали, что лейтенант Шмидт – ваш племянник. Правда?» Старушка подтвердила. Тогда рабочий поклонился ей в землю и произнес: «До земли кланяюсь вам, если он ваш племянник: он – наш пожизненный депутат».

Южные газеты трубили вовсю, то помещая различные биографические сведения об отце, большею частью не имевшие ничего общего с действительностью, то сообщая, с соответствующими комментариями, о тех или иных его словах и поступках. Когда я приносил отцу эти газеты, он наскоро и неохотно их пробегал и снова принимался за писание писем.

Несмотря на свою врожденную склонность к идеализации людей и событий, отец безошибочно угадывал действительную ценность всех этих крикливых, рекламных статей и относился к ним со спокойной иронией.

10-го ноября опять приходила врачебная комиссия для осмотра отца и вторично признала его больным; адм. Чухнин никак не мог расстаться с мыслью посадить отца еще на две недели. А отец не вставал из-за письменного стола и все писал и писал. В письмах он изливал свою душу пред человеком, органически не способным не только понять его, но даже просто сердечно, по-человечески отнестись к нему и к его страданиям. Страдал же отец ужасно. Страдал и за себя, и за те политические и социальные идеи, которые, как он предвидел, волею судеб и безумного упорства властей, будут доведены в России до кровавого абсурда. Чтобы не быть голословным, приведу его слова из одного письма все к той же г-же Р., опубликовавшей к 1922 году в советском издательстве «Новая Москва» все письма к ней моего покойного отца: «...Насилие искусственно создается реакцией. Куда же они нас ведут? К страшной, небывалой в истории народов, кровавой революции. Их дорога направлена только к этому, да теперь, кажется, и повернуть-то поздно. Перешли грань; не устроит деревню и Учредительное Собрание, порвалась струна в мужицкой душе, не остановить уже ничем страшной темной массы крестьянства, вся темнота и дикость которого так бережно сохранялась сотни лет от лучей света. Эта темнота обрушится на всех, на правых и виноватых, и похоронит тех, кто случайно попадется на пути. Горько, душа надрывается...». (Письмо к г-же Р. от 10 ноября 1905 г.). Незадолго до смерти несчастный отец как бы мысленно перенесся на 12 лет вперед, взглянул, увидел... и ужаснулся.

Отец слал в Петербург своим приятелям из Главного Морского Штаба частые телеграммы с запросом, как обстоит дело с его отставкой, которой он так мучительно добивался. Приятели долго отмалчивались, приводя отца в отчаяние, но вот, 11 ноября, получилась, наконец, телеграмма товарища отца по корпусу, капитана 2-го ранга Овчинникова, служившего в Штабе, что отец «Высочайшим приказом от 7-го ноября уволен в отставку». Отец пришел в восторг и сейчас же отправил находившегося у нас в момент получения телеграммы одного из моих друзей в магазин

офицерских вещей для покупки ему погон отставного капитана 2-го ранга. В тот же день отец снялся в двух видах – стоя, в плаще и сидя. Эти 2 фотографии скоро стали известны всей России.

После отставки в голове у отца замелькало множество планов. В конце концов он остановился на одном. Сперва, через Одессу, отец решил отправиться в Киев (для свидания с г-жею Р.), из Киева – в крупные фабричные центры, устраивая во всех этих городах рабочие собрания; закончить свое политическое турнэ отец собирался Москвой, где, как я говорил выше, он хотел вступить в переговоры с «Союзом Союзов» и центральным комитетом конституционно-демократической партии. Получив избавление от ненавистной ему военной службы, отец воспрянул духом, ожил, помолодел, поздоровел, как будто бросил письменный стол и свое недельное затворничество и в первый раз после возвращения с «Трех Святителей» вышел со мной на свежий воздух (тогда же отец и сфотографировался).

По городу ходили туманные, тревожные слухи. Во Флотских казармах уже несколько дней, как начались митинги, а 11-го числа брожение перекинулось на соседние с Флотскими казармы 49 Брестского пехотного полка. На крейсере 1 ранга «Очаков» настроение экипажа по отношению к командному составу стало настолько угрожающим, что еще 9-го числа офицеры были вынуждены покинуть крейсер. Команды «Потемкина» (переименованного, после июньского бунта, в «Пантелеймон») и «Георгия Победоносца» готовились, с минуты на минуту, последовать за «Очаковым», настроение же остальной эскадры оставляло желать много лучшего.

Но и в сухопутных частях далеко не все обстояло благополучно. Кроме Брестского полка, замитинговали артиллеристы, чины же саперного батальона бегали на митинги к матросам в одиночку. О рабочих кварталах не стоило и упоминать, брожение в них не прекращалось с самой октябрьской забастовки, усиливаясь или ослабевая в зависимости от общего политического положения.

Отец вернулся домой в большой тревоге. Услышанные им важные новости грозили в корне изменить его планы, опрокинуть с одного маху все предположения и расчеты относительно поездки по России. За день до получения телеграммы об отставке, к отцу зашли двое членов местного Ц.К. партии С.-Р. и, запершись с ним в кабинете, долго о чем-то совещались. Как я потом узнал, они приходили зондировать почву, согласился ли бы отец принять командование восставшим Флотом. Отец категорически заявил, что выступление Флота он считает в настоящую минуту преждевременным, так как, во-первых, при сложившейся обстановке, нет уверенности в солидарности всех судов, а, во-вторых (что самое главное), единичное восстание только в одном Черноморском Флоте, не координированное во времени с действиями всех политических, общественных и военно-революционных организаций, пагубно и бесцельно, будучи заранее обречено на полную неудачу и напрасное кровопролитие. Эс-эры в общем соглашались с отцом, находя только, что подготовку к восстанию можно и даже необходимо начать сейчас, дабы всероссийские события не застали Севастополь врасплох. Весь этот разговор о выступлении Флота велся в настолько теоретических тонах, отец так верил в элементарный здравый смысл политических партий, что мысль о могущей произойти в ближайшие дни катастрофе ему вряд ли приходила даже во сне. Он был спокоен, счастлив и видел впереди широкие горизонты.Таким образом, грозные симптомы почти неизбежного военного бунта свалились на отца, как снег на голову. Для него теперь стало ясным, что возникшее брожение среди матросов и солдат – дело рук одной из революционных партий. Деятели подполья, незнакомые ни с военным делом, ни с психологией русского солдата, далекие от понимания реальных возможностей, не внимая его советам, очевидно, решили идти напролом и сыграть ва-банк. Вчерашнее совещание с представителями С.-Р. рисовалось отцу уже в новом свете. Если бы отец изъявил, в принципе, готовность принять «предложение» партии – вступить в командование революционным флотом, ему бы, без сомнения, указали, что, в таком случае, он может сделать это сейчас – казарма и часть Флота еще с 8-го числа вышли из повиновения командному составу.

Предположения отца соответствовали действительности; ошибался он только относительно удельного веса севастопольских С.-Р. Революционную пропаганду во Флоте вели в те дни социал-демократы, они же и подбивали суда на немедленное выступление.

Соперничавшие с социал-демократами социалисты-революционеры шли «в хвосте» событий и пользовались в матросских казармах весьма незначительным влиянием. Лишь в самые последние дни с.р-ам удалось отвоевать у с.-д. часть матросов и занять позиции на «Очакове».

Когда С.-Р. пришли к отцу со своими предложениями, они скрыли от отца, что руководство матросами – во всяком случае, большинством матросов – не в их руках, а в руках их политических соперников, с.-д., и что не во власти с.-р. подымать или не подымать восстания; последнее, во славу Карла Маркса, уже начали с.-д. Все это отец узнал лишь на другой день.

Отец прилег на диван, усталый и озабоченный. Я присел возле него, стараясь отвлечь его мысли на что-нибудь постороннее, не имевшее отношение к злобе дня. Отец, понемножку, стал погружаться в дремоту, как неожиданно раздался звонок. Явился жандармский ротмистр Гангардт, заменивший смещенного недавно с должности севастопольского полицеймейстера статского советника Попова и заходивший к отцу уже не первый раз. Этот офицер, вопреки своему голубому мундиру, слыл за человека либерального, не сочувствующего кровавым репрессиям и склонного к улажению конфликтов по возможности мирным путем. Он засиживался у отца в кабинете довольно долго, и я недоумевал, что может быть общего между ними.

Я раскланялся с Гангардтом и вышел из кабинета по знаку отца. Я чувствовал приближение неотвратимого, чувствовал сердцем, но разумом еще не осознал – сознание только просыпалось. Прошло полчаса, час.

Отец все сидел с полицеймейстером в кабинете, запершись на ключ, и до меня порою глухо доносились го-

лоса. Когда Федор внес самовар, вбежала пара приятелей. Я им очень обрадовался; тоска становилась невыносимой. Вспотевшие и запыхавшиеся друзья принесли вести огромной важности. В казармах – форменное восстание; убит пехотный офицер и ранен адмирал Писаревский. Подробностей они не знали; все это случилось каких-нибудь 2 часа тому назад и многое еще не выяснено.

Друзья имели сияющий вид и строили в достаточной степени нелепые планы насчет грядущего переворота и установления земного рая.

– Конец царству нагаек и пулеметов! – восклицал один в мальчишеском экстазе. – Движение теперь не остановить! Баста! Опричникам придется туго!

«Кричи, кричи», думал я с горечью, глядя на разбушевавшегося гимназиста. «Не твоему отцу, благополучному купцу II гильдии, придется рисковать головой, храбрый маменькин сосунок!».

– Вы же-е-ертвою пали в борьбе ро-ковой, – неожиданно и фальшиво затянул другой сиплым басом.

– Перестань! – грубо прикрикнул я. – Отцу мешаешь.

Приятели замолчали и перенесли внимание на чай. Скоро дверь из кабинета раскрылась и показался отец с ротмистром. Отец был сильно взволнован, ротмистр же чем-то доволен и чрезвычайно любезен с отцом. В передней они задержались, оканчивая вполголоса разговор. При виде жандармского мундира друзья удивленно переглянулись, делая большие глаза и пожимая плечами. Я вспыхнул.

– Что это за гримасы? – резко спросил я.

– Да мы ничего.

– Нет, не ничего.

– Имейте в виду, что отец может принимать у себя всех, кого он найдет нужным принять, и не вам, меднолобым идиотам, судить о его поступках!

– Послушай, однако, ты не имеешь права... – Ты, брат, полегче, – заговорили оба сразу.

– Молчать, идиоты!

Челюсти у меня тряслись. Я был готов задушить их. Вся боль, все муки и терзания за отца поднялись со дна моей души, лишая меня последнего самообладания. Какой-то дьявольский, неумолимый рок отнимал у меня единственное близкое существо – все, что было у меня на свете; я, 16-ти летний мальчик, испытывал такие страдания, какие не под силу и взрослому, а два беспечных шелопая, называющие себя моими друзьями, смотрят на отца ожидающими, нетерпеливыми глазами, считая, что он дал какие-то обязательства, должен их исполнить и не вправе даже пытаться отвратить горькую чашу от своих уст!

О, как я их ненавидел в тот миг!

Отец, в плаще и фуражке, быстрыми шагами вошел в столовую и, не замечая наших возбужденных лиц, отрывисто кинул:

– Одевайся. Ты проводишь меня.

Я поспешно стал натягивать пальто, отец же, оборотясь на пороге к товарищам, в замешательстве поднявшимся из-за стола, дружески попросил:

– А вы, детки, сидите, пейте чай. Женя сейчас вернется. Не оставляйте его одного.

Друзья смущенно выразили согласие. Мы вышли с отцом на Соборную и несколько шагов сделали молча.

– Ну, вот что, братишка, – заговорил отец, взяв меня под руку. – Ты не волнуйся и будь совершенно спокоен. Я иду сейчас в казармы. Попробую уломать матрозню не делать глупостей. Под влиянием эс-деков она совсем обалдела и творит безобразия. Эс-деки, само собой, в нужную минуту улизнут, и отдуваться за все содеянное придется одним матросам.

И отец в кратких словах передал мне рассказ ротмистра Гангардта о сегодняшних событиях.

В четыре часа в казармы Флотского Экипажа явились социал-демократы и созвали матросов на митинг; к матросам сейчас же присоединились солдаты Брестского полка, казармы которых находились рядом с матросскими. Ораторы стали приглашать

матросов объявить «забастовку». На бессмысленность этого приглашения – ибо бастовать могут служащие и рабочие, а не чины армии, в распоряжении коих только одно средство: военный бунт – не обратили внимания ни матросы, ни солдаты, ни сами агитаторы. Митинг шел по обычному для 1905 года трафарету: крики «долой!» и «правильно!» чередовались, «орателям» рукоплескали, настроение все более и более подымалось. Толпа так увлеклась, что не заметила подхода, почти вплотную, боевой роты учебной команды 50 Белостокского стрелкового полка, вызванной начальником учебного отряда Черноморского Флота контр-адмиралом Писаревским. Последний находился тут же, придя вместе с ротой; он громко приказал командиру роты, штабс-капитану Штейну, открыть огонь по толпе, если после его, Писаревского, предупреждения матросы и брестцы не разойдутся по казармам. Приказание было услышано митинговавшими и, видимо, оказало действие – толпа дрогнула. Но почти в тот же момент раздались два выстрела; стрелял матрос Петров, несший в тот день караульную службу у ворот морских казарм. Первым выстрелом был ранен адмирал Писаревский, легко; вторым – капитан Штейн, смертельно. Петрова боевая рота сейчас же арестовала, но, оставшись без командира, не знала, что ей делать дальше. Напирая на роту, матросы требовали освобождения Петрова, страсти разбушевались вовсю, и неизвестно, какой оборот приняли бы события, если бы не появление ротмистра Гангардта, успокоившего толпу и уговорившего ее мирно разойтись. Но вечером ротмистр получил донесение о вторичном собрании матросов и о решении их произвести на другой день грандиозную манифестацию совместно с солдатами Брестского полка и портовыми рабочими, с целью привлечь на свою сторону все части севастопольского гарнизона и захватить в свои руки власть над судами, крепостью и городом. Узнав об этом, Гангардт немедленно отправился к отцу.

Мне думается, что теперь, через 20 лет, позволительно высказать свои догадки (но только догадки). Я догадывался, что

ротмистр Гангардт– «наш», что он искренно и глубоко сочувствует отцу и его делу, сочувствует гораздо сильнее и активнее, чем личные друзья отца, члены тайного «Союза офицеров – друзей народа», Витя Володзько, Гармсен и Вердеревский. Если бы потребовалась действительная, энергичная помощь, при наличии серьезных шансов на успех, Гангардт, мне кажется, не задумался бы предложить отцу свои услуги. Но при настоящем положении вещей Гангардт отлично видел, точно так же, как видел и мой отец, что поднятое революционными партиями движение осуждено на верный, неминуемый провал, что единственный выход – немедленная ликвидация вспыхнувшего беспорядочного мятежа, начавшегося бессмысленным и жестоким убийством несчастного капитана Штейна. Зная влияние отца на матросов, Гангардт помчался к нему и горячо стал просить его, рассказав суть дела, пойти в казармы и убедить матросов отказаться от своего предприятия, гибельного и безнадежного для них и вредного для дела свободы.

Где-то ты теперь, милый ротмистр?*)

– Ты думаешь, что тебе удастся их образумить? – спросил я отца, когда он кончил свой рассказ.

– Надеюсь. Во всяком случае, попробую. Но уговорить матрозню «сложить оружие» – только половина дела. Придется съездить к начальству и убедить его замять всю историю, не прибегая к репрессиям и поискам зачинщиков.

Мы подошли к Графской пристани и увидели баркас с вооруженными матросами. Казармы неведомыми путями успели узнать о предстоящем приезде к ним отца и позаботились о средствах переправы на Корабельную сторону.

– Здоровы, молодцы! – сказал отец, подходя к баркасу, – из казарм? За мной?

– Здравия желаем, вашескобродие! – радостно гаркнули матросы. – Так тошно! Пожалуйте!

*) После 1905 г. Гангардт совершенно исчез с поля моего зрения. В 1906 г. пронесся слух о его заключении в Шлиссельбургскую крепость.

Отец наскоро попрощался со мной и прыгнул в баркас, сейчас же отваливший.

– Ступай домой! – крикнул отец, стоя во весь рост на корме. – Меня не жди и ложись спать, как всегда.

Я подождал, пока очертания баркаса не слились с темнотою ночи и медленно поплелся домой. Улицы были пустынны. Прохожих почти не попадалось.

Патруль, встреченный мною у подъема на Мичманский бульвар, смахивал, скорее, на испуганную кучку людей, каждую минуту ожидавших нападения, чем на патруль. Фонари горели редко, магазины и кафе закрылись ранее обыкновенного, город притаился, ушел в себя, загородился от жизни в эгоизме животного страха, готовый, в нужный момент, вылезть на свет Божий и лизать ноги победителю, кто бы им ни был.

Дома я застал целую кучу друзей, своих и отца, пришедших в мое отсутствие, – супругов Рахт, Володзько, лейтенанта Вердеревского и с полдюжины реалистов. Рахты были молодоженами, не удовлетворенными ни жизнью, ни друг другом, ищущими цели и смысла бытия, а покамест, в поисках новых путей состоящими на родительском иждивении.

Он – высокий, нескладный мужчина, с добрым, но не очень умным лицом, с год как кончил университет и теперь отбывал воинскую повиннность вольноопределяющимся в севастопольской крепостной артиллерии. Жена его, великолепная музыкантша, обладала прекрасной, милой, открытой душой, но не очепь счастливой наружностью. Рахты сильно привязались к отцу; и у них вошло в потребность заходить к нам по вечерам и «набираться сил» в кабинете отца.

Рахты закидали меня вопросами об отце, но я уклончиво отвечал, что отец отправился по своим делам, а я ходил его провожать и подышать свежим воздухом. Разыгрывая любезного хозяина, я пошел в кухню распорядиться насчет ужина; незаметно мигнув Володзько, я вызвал его за собой в прихожую и посвятил в положение вещей. Витя отшатнулся и побледнел.

– Да что ты! – в ужасе прошептал он. Потом задумался и поник головой. – Впрочем, здесь нет ничего неожиданного. Не в Петином характере останавливаться перед жертвой, если этой жертвой можно спасти, хотя бы, не стоющего его мизинца. Даст Бог, все кончится хорошо.

Но, как бы не веря своим словам, Витя отчаянно махнул рукой и проговорил с выражением глубокого, безнадежного горя:

– Эх, пропал наш Петр Петрович!

VII

Пробила полночь, а отец не возвращался. Все гости разошлись, кроме трех самых близких моих друзей – Жорки Яковлева, Васи Корди и гимназиста Сашки Меча, сына отставного есаула. Самовар, тухнувший в третий раз за вечер, пел тихую и тоскливую песенку, часы равнодушно отсчитывали секунды, Федор давно спал, и квартиру обволакивала чуткая, настороженная тишина. Друзья клевали носом. Им всем давно хотелось спать, но они стыдились оставлять меня одного, в смятении и тревоге. Дружба обязывает, а в описываемый момент наступил как раз срок первого платежа по дружеским векселям.

Я угрюмо молчал и курил, до одурения, папиросу за папиросой. Я знал, что не лягу до возвращения отца, и беспрерывным поглощением никотина старался привести свои мозги до состояния полнейшего бесчувствия. Будь на столе водка, я напился бы, как сапожник. Наконец, Сашка Меч обратился ко мне с решительным видом:

– Вношу предложение: идем на «Корабелку», в казармы и узнаем, как и что. Достать лодку я беру на себя.

Я в восторге вскочил.

– Отлично придумано, Сашка! Вы как, с нами или останетесь здесь? – обратился я к остальным.

– Разумеется, все идем.

Парадная запиралась фрацузским замком, у нас с отцом было по ключу, а потому я спокойно оставил наше жилище на попечение

спящего Федора. Через несколько минут мы уже шагали по Екатерининской, направляясь в Южную бухту.

По дороге не попадалось ни души; только в порту, мастерских и на складах теплились кое-где огоньки и слышались смутные голоса.

Меч, указывая дорогу, шел впереди с уверенным видом человека, знающего все ходы и выходы. «Не полетите – протянут канат... Не наткнитесь – бочка», то и дело предупреждал он. Стараясь не потерять его в темноте, мы спешили за ним изо всех сил, поминутно на что-нибудь натыкаясь и ушибаясь иногда очень больно. Я не чувствовал ничего, но мои друзья, находившиеся в более уравновешенном состоянии, не утратили еще способности к ощущениям, и у них часто вырывались сердитые ругательства.

Зазвучали близкие голоса. Мы увидали группу людей, лежавших на берегу почти у самой воды и лениво попыхивавших «носогрейками». Меч подошел к ним и тихо заговорил, указывая в нашу сторону. Один из куривших встал и пошел вдоль берега. Меч сделал знак, и мы последовали за незнакомцем. Он скоро привел нас к небольшой шлюпке для двух гребцов, жестом пригласил садиться, вскочил сам, оттолкнулся багром и сел с Яковлевым на весла. Меч, знавший дорогу, стал править. Шлюпчонка, в глубокой тишине, быстро пересекала Южную бухту, скользя мимо черных силуэтов судов, застывших в сонном величии. Тишина, нарушаемая только всплесками весел, не угнетала душу, как на квартире, а успокаивала и ободряла. Судовые огни дробились в воде мириадами искр, вызывая в памяти полузабытые, колеблющиеся образы...

Наконец шлюпка подошла к высокой пристани Корабельной стороны. Наверху маячила неподвижная фигура часового, в темноте вырисовывались мрачные громады морских казарм.

– Кто гребет? – послышался грозный оклик.

– Свои, – отозвался Меч.

– Кто свои? Не подходи, стрелять буду!

– Сын к Шмидту приехал, – пояснил хозяин шлюпки с забавной важностью.

Часовой подошел к трапу и нерешительно переспросил:

– Сын, говоришь? Покажись!

Я «показался». Но на лбу у меня не было написано, кто я такой, да если бы и было, то, за темнотой, всё равно никто ничего бы не прочел. Часовой, после минутного размышления, словно извиняясь, проговорил:

– Никак невозможно. Приказано не пущать, которые вольные и без мандату. Мандат имеете?

Слово «мандат» часовой выговаривал старательно и с видимым удовольствием.

– Нет, мы без мандату, – с сожалением ответил за нас хозяин лодки.

– К дьяволу мандат! – рассердился я и, выхватив записную книжку, с которой никогда не расставался, оторвал листок и написал в темноте: «Беспокоюсь. Когда вернешься? Ради Бога, черкни хоть слово». Сложив записку, я показал ее часовому и крикнул:

– Записку отцу передашь?

– Отчего же, записку можно, – охотно согласился часовой.

Мы подъехали к пристани, часовой нагнулся и взял записку. Потом резко свиснул. Из мрака вынырнула новая фигура, перекинулась с часовым немногими словами и опять уплыла во мрак. Зацепившись багром за железную скобу, мы терпеливо ждали ответа. Минут через 20 его принесла та же фигура. Я дрожащими руками зяжег спичку и на оборотной стороне своей записки прочел два слова, написанные рукою отца: «Ложись спать».

Растерянный, я протянул записку товарищам. Те прочли и расхохотались.

– Ну, брат, нечего делать: надо слушаться папеньку! – весело сказал Яковлев, ласково, но настойчиво усаживая меня на бочку.

Делать было, действительно, нечего, и я, крикнув часовому: «Спасибо, товарищ!», велел отваливать.

На обратном пути, размышляя над двумя словами отца, я пришел к выводу, что дела обстояли или очень хорошо, или, наоборот, из рук

вон плохо. Друзья, с которыми я поделился своими мыслями, отчасти со мною соглашались, но также находили, что красноречивый лаконизм отца можно объяснить просто нежеланием распространяться в записке о таких вещах, о коих говорят только с глазу на глаз.

На берегу я горячо поблагодарил незнакомца за услугу и попросил сказать свою фамилию.

– Что фамилия! Какой в ей интерес? Мы люди маленькие, – ответил незнакомец с грустной насмешкой. А что доставил вас к папаше – велика важность! Нельзя было не доставить, ведь как, чай, тревожились. Известно, одна кровь. – А папашу вашего мы – во, как уважаем, – добавил он взволнолнованно.

Я вынул кошелек, порылся в нем и неуверенно протянул незнакомцу пятирублевую бумажку – весь свой наличный капитал.

– Это вы напрасно, барчук, – проговорил славный человек с таким достоинством и горькой обидой, что я покраснел до ушей.

– Простите, ради Бога, – прошептал я, изо всей силы стиснул ему руку, повернулся и, шагая через три ступеньки, стал подыматься на Екатерининскую.

Шел третий час утра, когда мы вернулись домой. Я устроил постели своим друзьям и, по заведенной привычке спать в кабинете отца в его отсутствие, улегся, не раздеваясь, на отцовский диван. Задремал я незаметно для себя и проснулся от яркого электрического света, ударившего мне прямо в глаза.

– Ну, брат, это свинство. Ведь я же просил тебя лечь спать но-настоящему, – с упреком говорил отец, делая ночной туалет.

– Ну, что, как? – бросился я к нему в восторге, что вижу его целым и невредимым.

– Не задавай вопросов, прошу тебя, – с раздражением отозвался отец. И так голова кругом идет, а тут еще ты пристаешь. Не беспокойся, все узнаешь в свое время.

Действительно, про заседание 11 ноября матросского революционного комитета я узнал в «свое время», именно когда мы вдвоем сидели за десятью замками под сводами очаковского каземата.

Прибыв в казармы, отец попал как раз на совещание экипажного комитета с судовыми делегациями и представителями от сухопутных частей. Торжественно встреченный членами комитета и усаженный рядом с президиумом, отец, первым делом, ознакомился с требованиями «забастовавших» моряков. Требования оказались настолько детскими, вздорными и не соответствующими моменту, что отец пришел в совершенное недоумение. Так, например, матросы добивались «вежливого обращения» с ними офицеров, продления отпусков до 12 ч. ночи, улучшения матросского котла*) и т.д. в том же роде.

Принимая во внимание, что как сама «забастовка», так и требования являлись делом социал-демократов, становилось, по меньшей мере, непонятным поведение серьезной политической партии.

Просмотрев все пункты, отец обратился к комитетчикам и заявил, что подобную чепуху он не хочет обсуждать. Если матросы решили выступить открыто с оружием в руках, то требования должны быть исключительно политического характера, все же политические требования свести к одному – требованию созыва Учредительного Собрания.

Такую цель вооруженного выступления отец бы приветствовал и содействовал ей всеми силами, если бы не считал преждевременным, а потому гибельным и бесполезным, самого факта выступления при существующей политической обстановке, обстановке полной изоляции от общерусского движения. Посему, желая добра матросам, он умоляет их сегодня же ликвидировать безумства, содеянные ими за три дня мятежа, и покориться властям; с своей же стороны он обещает сделать все, от него зависящее, чтобы матросы получили полную амнистию, и начальство не стало разыскивать зачинщиков, ограничившись наказанием одного Петрова, убийцы капитана Штейна.

Речь отца вызвала бурные прения. Присутствовавшие на заседании члены местного комитета социал-демократической партии

*) Матросский паек в Русском Флоте спокон веку славился своим высоким качеством и количеством, достаточным по крайней мере на двоих.

стали возражать отцу, титулуя его «мелко-буржуазным деятелем» и «сыном своей среды». Отец счел ниже своего достоинства вступать с ними по этому поводу в пререкания; он только еще раз обратился к матросам с горячим словом убеждения опомниться, послушаться его и не идти за социал-демократическими предателями на верную гибель.,

Пока отец говорил, сочувствие делегатов было явно на его стороне, но едва он покинул казармы, как социал-демократы снова завладели темной матросской массой и стали хозяевами положения.

Но я забежал вперед и рассказал то, о чем узнал в каземате, спустя полторы недели.

В ночь с 11-го на 12-е ноября отец отказался поделиться со мной новостями, а я не посмел докучать ему своим любопытством.

На другой день, утром, отец сообщил, что хочет выступить на завтрашнем митинге на Приморском бульваре и идет сейчас хлопотать о разрешении и просить содействия городской Думы. Дело в том, что отец хотя и получил отставку, но фактически еще не мог ею воспользоваться: отставка не успела пройти приказом по Флоту, и адмирал Чухнин, прицепившись к этому обстоятельству, категорически запретил отцу, впредь до оформления отставки, принимать участие в политической жизни. Он еще раньше грозил арестовать отца при одном появлении его на бульваре во время митинга, и отец подчинился, не желая вызывать почти неизбежного кровопролития.

Но теперь отец решил добиться своего во что бы то ни стало в связи с угрозой гибельного выступления морских казарм и портовых рабочих с их нелепыми, в данный момент, экономическими требованиями, отец хотел разъяснить на митинге широким массам всю абсурдность этих требований и доказать, что только всероссийское движение с единой «платформой» – Учредительным Собранием – имеет шансы на победоносный конец... Напившись чаю, отец ушел.

Я твердо решил взять себя в руки и не мешать отцу работать для того дела, о котором он мечтал всю жизнь, а если потребуется, идти за отцом и умереть вместе с ним. Ни умолить, ни заставить его свернуть с предопределенного пути я не мог.

Целый день в нашей передней раздавались звонки. Друзья и знакомые, один за другим, приносили новости. События развивались с молниеносной быстротой, и только чудо могло предотвратить надвигавшуюся катастрофу.

С утра вооруженными матросскими патрулями стали арестовываться на улицах флотские офицеры (сухопутных не трогали ни матросы, ни присоединившаяся к ним часть солдат Брестского полка) и отправляться в казармы; оттуда их, однако, немедленно выпускали.

После обеда во дворе флотских экипажей опять начался митинг, на котором было решено идти в казармы Брестского полка и соединиться с солдатами. Соединение произошло беспрепятственно; все нижние чины Брестского полка примкнули к мятежным матросам.

Комендант крепости, генерал-лейтенант Неплюев, нашел, что пришло время «действовать». Расположив на Историческом бульваре пулеметы против мятежных морских казарм, генерал бесстрашно отправился в брестские казармы и приказал бунтовщикам сдать оружие и принести повинную, угрожая, в противном случае, пустить в ход пулеметы. Храброго генерала, конечно, сейчас же арестовали и отвели в морские казармы.

Рубикон, таким образом, был перейден. После ареста коменданта испарились последние надежды на ликвидацию беспорядков мирным путем и на возможность получения амнистии даже при условии изъявления покорности восставшими частями Армии и Флота. Поэтому мятежникам ничего не оставалось, как идти до конца, играть ва-банк, сделать все возможное для присоединения к ним тех частей, кои оставались до сих пор враждебными или нейтральными. В 4 часа дня я получил известие, что одна такая попытка окончилась весьма неудачно для восставших.

Матросы флотского экипажа, солдаты Брестского полка и все рабочие севастопольского порта, с красными флагами и оркестром музыки, одной общей, смешанной нестройной толпой направились к казармам 50-го Белостокского полка, чтобы уговорить его солдат обезоружить своих офицеров и примкнуть к восставшим. Но вышла неприятность. Белостокский полк, в полной боевой готовности, построенный в колонну, встретил манифестантов гимном, сопровождаемым громовым «ура» белостокцев. Манифестанты растерялись, и вдруг их оркестр тоже заиграл гимн.

Это вышло настолько неожиданно для затеявших всю историю представителей российской социал-демократической рабочей партии, что они заметались, как безумные, крича: «Товарищи, вас обманывают!». Тем временем Белостокский полк повернул кругом и направился в открытое поле. Командир полка, полковник Бутузов, человек предусмотрительный и осторожный, тоже, по-видимому, боялся за свой полк и спешил увести его подальше от греха.

Восставшие не последовали за белостокцами, опасаясь ловушки, и вернулись в свои казармы.Таким образом, попытка мятежников «кооптировать» в свои ряды второй полк севастопольской пехотной бригады потерпела позорное фиаско. Но сейчас же вслед за ней произошло событие противоположного характера, до такой степени важное для дела восставших черноморцев, что оно не только с избытком покрыло предыдущую неудачу, но и влило в ряды мятежников не совсем безосновательную уверенность в победе.

В казармы прибыла депутация от крепостных артиллеристов и заявила о солидарности крепостной артиллерии с матросами флотских экипажей и возмутившихся кораблей, обещая не допустить обстрела революционных судов правительственными. Ликование экипажей не имело границ. В самом деле, обещание артиллеристов «не допустить» не было громкой фразой. Могущественная крепостная артиллерия могла в 5-10 минут, при бое на дистанции 200-300 саженей, стереть в порошок всю эскадру Черно-

морского Флота, будь она даже вдесятеро сильнейшей. Оставайся артиллеристы верными своему обещанию, Бог весть, чем кончилось бы ноябрьское восстание 1905 года. Гадать не возьмусь, но результат, вне всякого сомнения, получился бы не столь убийственный для повстанцев.

...Увы!..

Артиллеристы потребовали, однако, взамен своей поддержки, освобождения коменданта, ген. Неплюева. Его матросы немедленно освободили.

Все эти известия доходили до меня в сильно преувеличенном или искаженном виде. Но, в общем, дела восставших принимали как будто благоприятный для них оборот.

Часов в 5, возбужденный и сияющий, вернулся отец. Чухнина удалось, наконец, уломать, и он разрешил отцу выступить на завтрашнем митинге, при том, однако, условии, что отец переоденется для сего в штатское.

Я суетился, накрывая на стол и разогревая на машинке обед отцу и уже предвкушал удовольствие провести с ним такое редкое теперь tête-á-tête, как явился незваный гость, ненавистный мне с.-р. Мельников, в чрезвычайно «стильном» костюме: в черной косоворотке, черной широкополой шляпе и в черной же «крылатке» покроя 70-х годов.

Отец, страшно проголодавшийся и не желавший в ту минуту никакого другого общества, кроме моего, встретил Мельникова не слишком радостно. Пригласив его в кабинет и затворяя за собою дверь, он, на пороге, многозначительно мне подмигнул: постараюсь, мол, скоро выпроводить.

Нетерпеливо дожидаясь в столовой конца беседы отца с несимпатичным гостем, я рассеянно прислушивался к глухо доносившимся голосам. Голоса, звучавшие вначале умеренно и однотонно, стали вдруг повышаться и один другого перебивать. Повышение шло crescendo, достигло максимума, дверь кабинета распахнулась, и из него бомбой вылетел Мельников, бледный и перепуганный, за ним отец, с исковерканным бешенством ли-

цом, крича: «Вон, мерзавец!». Мельников кинулся к вешалке, схватил «крылатку» и, стоя уже в передней, обернулся и проговорил срывающимся от страха и оскорбления голосом:

– Вы свои морские замашки оставьте, господин лейтенант. На матросов кричите, а я не позволю... Прошло время...

– Вон! – заревел отец, обезумев, кидаясь на Мельникова с поднятыми кулаками.

Что-то зазвенело, хлопнула дверь, и, тяжело дыша, в столовую вернулся отец, с еще не остывшей гримасой бешенства на лице.

– Каков мерзавец, а? Ах, мерзавец! – возмущался отец, расхаживая крупными шагами и ероша волосы. – И это – член социалистической партии, защитник интересов трудового народа! Неужели их «генералы» все такие же шантажисты?..

– Да расскажи в чем дело, ведь я ничего не знаю, – перебил я, наконец, отца. – Ешь суп и рассказывай.

Отец присел к столу и, торопливо глотая, прерывая свой рассказ возгласами негодования, поведал, что произошло в кабинете между ним и Мельниковым.

Вот, приблизительно, сей знаменательный диалог:

Мельников. Нам передавали, что на завтрашнем митинге вы собираетесь говорить против всех экономических требований рабочих и будете рекомендовать лишь одно требование чисто политического характера, именно – созыв Учредительного Собрания! Так ли?

Отец. Совершенно верно.

Мельников. Кроме того, вчера, на заседании комитета флотских экипажей, вы проводили мысль о несвоевременности восстания и неподготовленности к нему судов и экипажей Черноморского Флота, уговаривая матросов ликвидировать мятеж и ждать всероссийских событий.

Отец. И это верно.

Мельников. Наконец, ходят слухи, что вы вторично намереваетесь выступить в казармах с речью против революционных действий в настоящий момент.

Отец. Непременно. Это мой долг.

Мельников. Так вот, Петр Петрович, мы предлагаем вам не мешать нам: на митинге не оспаривать целесообразности экономических требований, выставленных севастопольскими рабочими по настоянию обеих социалистических партий, а в морские казармы совсем не являться*).

Отец. Ваши предложения я отклоняю.

Мельников. Это ваше последнее слово?

Отец. У меня нет ни первого, ни последнего слова, а только одно – и первое, и последнее.

Мельников. В таком случае наша партия должна будет принять свои меры.

Отец. Меня они не интересуют.

Мельников. Послушайте, Петр Петрович, будьте благоразумны; ведь мы можем сильно повредить вам. Если потребуется, мы не ограничимся одним уничтожением вашей популярности в городе и во Флоте, но постараемся в корне подорвать вашу репутацию, как честного человека...

Мельников не окончил. Произошла сцена, которую я описал.

Чтобы развязаться с этой грязной личностью, добавлю несколько слов. Когда, три дня спустя, сотни снарядов рвались над «Очаковым», а несчастные повстанцы, спасавшиеся вплавь, беспощадно расстреливались в воде орудийным и пулеметным огнем, этот господин спокойно наблюдал с балкона за происходившей на его глазах трагедией. Скоро по подавлении восстания он улизнул за границу. Впрочем, при Керенском он где-то вынырнул...

Отец пообедал, и я уговорил его вздремнуть часок-другой.

– Только смотри, непременно разбуди через час, – приказал отец, направляясь к себе в кабинет. – Должен быть сегодня в трех местах. Слышишь? Я поклялся всеми святыми.

Но, видно, отцу в тот день не суждено было иметь ни часа отдыха. Влетел Сашка Меч с эс-дековской прокламацией.

*) Позже выяснилось, что Мельников делал свои «предложения», не имея на то никаких полномочий от Ц. К. партии С.-Р.

– По-моему, здорово, а? – возбужденно заговорил он, тыча нам в нос бледно-розовый лист папиросной бумаги, еще пахнущий типографской краской.

– Посмотрим, – сказал отец с тревогой и стал читать. Все следовало по шаблону, установленному раз и навсегда. Наверху – «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Внизу – «Севастопольская организация Р. С.-Д. Р. П.». После официально-традиционного вступления – казенных фраз об «эксплуататорах», «трудящихся массах» и «задачах пролетариата» – прокламация делала ловкий вольт и, обращаясь к матросам флотских экипажей («авангарду российского пролетариата») призывала их вступить в борьбу с «мировым капиталом», для чего требовалось, прежде всего, разоружить офицеров, а затем объявить «мирную забастовку» (!!).

Отец схватился за голову, простоял несколько секунд неподвижно, потом, надев на бегу фуражку, кинулся вон из квартиры. Я сдернул с вешалки плащ отца и бросился вслед за ним, догнав его только на улице. Набросив на него плащ, я прошел, вернее, пробежал рядом с ним несколько десятков шагов.

– В казармы?

– Куда же еще? Опять буду говорить, убеждать, умолять, приказывать, если придется. Не могу быть равнодушным, когда несчастные дураки, как бараны, позволяют тащить себя на верную гибель.

Увидав извозчика, отец вскочил в экипаж, махнул мне рукой и укатил.

Было ясно, что и из второй попытки отца ничего не выйдет. Матросы зашли слишком далеко и отрезали себе все пути отступления. И, во всяком случае, смерть в бою предпочтительнее виселицы или расстрела.

Отец вернулся гораздо раньше, чем я ожидал.

В казармах творилось настоящее столпотворение. С судов прибывали делегаты с выражением своего рода верноподданнических чувств повстанческому комитету. Выходило, на первый взгляд, нечто серьезное и многообещающее, принимая к тому же во внимание 12-дюймовки крепостных батарей. Но отец до

конца оставался скептиком, и многочисленность делегаций не убеждала его в революционной солидарности всех судов Черноморского Флота. Каждая делегация представляла, по мнению отца, настроение большей или меньшей части экипажа данного корабля, но ни в коем случае не всей команды целиком; разговаривая с отдельными делегатами, отец всякий раз убеждался в правильности своего предположения. Общее собрание комитета флотских экипажей с представителями судов и сухопутных частей было назначено на другой день, 13 ноября. После приморского митинга отец решил пойти на это собрание, чтобы, в последний раз, попытаться повлиять на матросов и обсудить с ними вопрос о наилучшем выходе из создавшегося положения.

Собираясь ложиться спать, я вспомнил о знаменитом «союзе» и спросил отца о позиции, занимаемой его членами. Отец помолчал, потом горько усмехнулся и спросил:

– Помнишь мои слова: «Союз» – это лейтенант Шмидт?»

– Помню.

– Ну, так забудь, что в этом союзе были люди, кроме меня. Я воспользовался бы их помощью или тогда, когда б мог ручаться головой за полную для них безопасность, или же...

– Или? – вопросительно повторил я.

– Или... если бы они сами предложили мне свою помощь, – закончил отец с усилием.

Он отвернулся, но я заметил, как по щеке его поползла тяжелая, одинокая слеза...

VIII

С утра 13 ноября 1905 года Севастополь резко изменил свою физиономию.

Элегантные думские туалеты и щегольские, черные с золотом, кителя морских офицеров растворялись без остатка в густой массе разноцветных косовороток плебса и темно-синих морских «голландок». Народ кишел на главных улицах – Нахимовской,

Б. Морской и Екатерининской; бульвары, набережные, площади и перекрестки чуть ли не с рассвета наполнились беспрерывно митинговавшими рабочими и матросами. Массы опьянели от собственной решимости идти напролом и с какой то истерической веселостью следили за ходом азартной игры, где ставкой была жизнь тысяч людей.

Не знаю, что здесь преобладало – «революционный энтузиазм» или отчаяние? Думаю, одно дополняло другое. Каждый понимал инстинктом, что надежды, дерзнувшие занестись к недосягаемым дотоле вершинам, должны не только разбиться, но и разбить, сорвавшись с головокружительной высоты.

Этот день пролетел для меня, как одно мгновенье.

Я куда-то ходил, с кем-то встречался и говорил. Лица мелькали передо мной, как в тумане, молодые и старые, знакомые и чужие. Отца, казалось, я не видал сто лет, но чувствовал его присутствие повсюду. Его имя висело в воздухе, на каждом шагу слышались разговоры о нем, о надеждах, на него возлагаемых, о словах, им когда-то сказанных, о местах, где видели его сегодня, о лицах, с ним говоривших...

Отец был везде и нигде, неуловим и неминуем одновременно. Из реальности, облеченной в плоть и кровь, он постепенно превращался в отвлеченный символ, в бесплотный, легендарный призрак.

Отец олицетворял Севастополь, а Севастополь напоминал об отце...

...В морские казармы прибывали все новые и новые делегаты с судов. Все заявляли в один голос, что нет разногласий среди экипажей, что если некоторые суда – единицы – и не поддержат повстанцев, то, с другой стороны, не окажут им ни малейшего противодействия, что о противодействии не может быть и речи.

К полудню к матросам присоединилась саперная рота и, таким образом, для поверхностного наблюдателя, все морские и сухопутные части, кроме твердокаменного Белостокского полка, перекрасились в красный цвет.

В три часа дня начинался митинг на Приморском бульваре и, за час до начала, я пришел на бульвар с кучкой друзей. Отца, покинувшего квартиру еще до моего пробуждения, я нигде не встречал, хотя 5-6 часов колесил по всему Севастополю. Бульвар являлся, поэтому, единственным местом, где я мог наверняка встретиться с отцом, выступавшим на сегодняшнем митинге.

Слухи о прибытии отца распространялись с непостижимой быстротой, и к 3-м часам – началу митинга – протиснуться на бульвар не представлялось никакой возможности. Люди сидели, буквально, на головах друг у друга.

Я занял место на первой скамье перед открытой сценой, служившей, в обычное время, эстрадой для военного оркестра, а сегодня – ораторской трибуной. Рядом со мной и сзади поместился, за малым исключением, весь 6-й класс.

Окруженный горячей атмосферой дружбы и любви, чувствуя около себя единомышленников, фанатических поклонников отца, я забыл все потрясения последних дней и отдался блаженному отдыху и безмятежному спокойствию кратких, мимолетных мгновений.

Производимый толпою шум морского прибоя внезапно затих. Имя отца зашелестело отовсюду, головы вытянулись, глаза загорелись восторженным огнем стихийного, массового энтузиазма – и ураган невиданной, долго подготовлявшейся овации, оглушил, ошеломил, почти испугал меня. Люди сходили с ума, выбивались из сил, испуская нечеловеческие, бессвязные вопли, топали, орали, хрипели, рукоплескали, рычали, как дикие звери.

Буря продолжалась не менее 10 минут, и все это время отец стоял на эстраде с обнаженной головой, ожидал, когда уляжется шум. Он был в штатском, в котором я не видал его в течение двух лет, с того самого дня, когда, во время последнего плавания, мы сошли на берег в Лиссабоне.Штатское отцу не шло, и даже в этом последнем, ничтожном, обстоятельстве чудилась злобная мстительная рука его будущего палача.

Мало-помалу шум затих. Отец собирался заговорить, когда снова поднялся гвалт.

– Фуражку, фуражку! – кричали десятки голосов. – Просим надеть фуражку!

– Перед народом принято говорить с обнаженной головой, – возразил отец.

– Просим, просим! – неслись неистовые крики.

– Не позволим! Просим надеть фуражку!

Отец нетерпеливо пожал плечами и надел морскую фуражку с офицерской кокардой – единственную форменную часть своей одежды.

Толпа удовлетворилась и приготовилась слушать. Отец окинул горящим взглядом тысячи бледных, взволнованных лиц, поднял высоко голову и запел свою лебединую песнь...

Его речь имела колоссальный успех и привела меня в сумасшедший восторг, как и всех остальных. Я бесновался и кричал вместе с толпой, позабыв, что передо мной – мой отец и видя в нем, в ту минуту, лишь одного трибуна. Но теперь речь отца на митинге 13 ноября представляется мне не такой захватывающей и блестящей, какой показалась 20 лет тому назад.

Ее нельзя даже сравнить со знаменитой «Клятвой» на кладбище, доставившей отцу всероссийскую известность. И это понятно. Минуты, подобные минутам, пережитым отцом на похоронах 20 октября, не повторяются дважды в жизни.

Кроме того, измученный рядом бессонных ночей, отец вряд ли отчетливо осознавал окружающее. Когда он кончил речь, то едва держался на ногах, и я, с несколькими друзьями и каким-то рабочим, донесли его до извозчика почти на руках. Я уверен, что речь отца, при других условиях, после здорового и продолжительного отдыха, вышла бы гораздо лучше!

Но и та речь, которую отец произнес в действительности, успех имела потрясающий. Мне кажется, что какую бы речь

отец тогда ни произнес, она заслужила бы тот же самый успех. Выражали восторги не речи, которую, за дальностью расстояния и благодаря слабому голосу отца, многие совсем не слышали, а самому отцу, одно появление которого наэлектризовывало и зажигало толпу.

В общих чертах речь отца сводилась к краткому обзору русского революционного движения за последние годы, оценке тогдашнего политического момента и формулировке ближайших задач революции. В конце речи отец повторил свое убеждение в необходимости исключительно политических забастовок с требованием созыва Учредительного Собрания, при обязательном условии координации действий местных сил с центральными общественными и профессиональными организациями.

В начале речи отца произошел любопытный казус. Среди всеобщего внимания и тишины вдруг раздалось громогласное: «Болван!».

Толпа всколыхнулась, загудела и забурлила. Послышались яростные ругательства и угрозы. «Кто кричал? – Кто смел? – Тащи его сюда!» – неслись грозные крики.

Скоро несколько рук выволокли из толпы высокого и толстого полковника пограничной стражи. При виде ненавистной (тогда) военной формы, толпа заревела, как раненый зверь, и, если бы не отец, вряд ли злополучному полковнику удалось уйти целым и невредимым.

Отец ступил вперед, протянул руку и повелительно крикнул: «Не трогать!» И этого слова было достаточно, чтобы полковника отпустили.

Обязанный отцу своим спасением, полковник захотел оправдаться и, вскарабкавшись на эстраду обратился, с разрешения отца, к публике с речью, в которой объяснял свой поступок тем, что не слыша отца из-за его слабого голоса, он, полковник, давно горя желанием услышать «знаменитость», так огорчился, что невольно выругался вслух от досады.

– Нет голоса – нечего и соваться, – закончил ободренный вниманием полковник, сам обладавший поистине феноменальным «командным» басом.

Но, в ответ на последние слова, толпа так недвусмысленно зарычала, что полковник пограничной стражи кубарем скатился с эстрады и поспешил исчезнуть.

После речи отец совершенно обессилел. Воротясь домой на извозчике, он пластом пролежал часа два, не будучи в состоянии шевельнуться. Я и друзья ухаживали за ним, как могли и умели, и старались делать поменьше шума, в надежде, что отец заснет.

Но, несмотря на полный упадок физических сил, сила духа и нечеловеческая энергия не покидали отца ни на минуту. Вечером он опять собирался в казармы, чтобы еще раз попытаться уговорить матросов остановиться, пока не пролита новая кровь, пока он не переговорит с властями и не узнает определенно, на что могут рассчитывать матросы при изъявлении покорности.

Я умолял отца никуда больше не ходить, доказывал, что это безумие, напоминал, что он с 6-ти часов утра на ногах, что недопустимо так пренебрегать остатками здоровья, что надо хоть немного себя пожалеть, да и меня тоже: ведь мы составляли одно целое, и страдание одного из нас всегда передавалось другому.

Отец успокаивал меня, обещая, что идет в казармы в последний раз, и что если ему и сегодня не удастся образумить матросов, то он, исчерпав все средства убеждения, махнет рукой и предоставит безумцев их собственной участи.

– Хотя бы потому, – пояснил отец, – что у меня нет времени возиться с ними – завтра, как тебе известно, я должен ехать в Одессу и приступить к организации коммерческих моряков.

– А я-то как же? – вырвалось у меня с испугом.

– Ты уже взрослый человек и тебе пора привыкать к самостоятельности. Ведь летом ты оставался? Разумеется, если дела задержат меня в Одессе на долгое время, я тебя выпишу.

Я замолчал, борясь с противоположными чувствами. Разлука с отцом тяжела, но зато он уедет отсюда, будет отделен от приближающихся ужасов внушительным расстоянием и перестанет ежедневно рисковать собой.

В начале 9-го, отлежавшись, слегка перекусив и выпив стакан вина, отец, с новыми силами, бодро отправился в путь-дорогу «ругаться с матрозней».

Оставшись один, я погрузился в размышления. Мне не верилось в предстоящий отъезд отца. Казалось невероятным, что отец может оставить город, имя которого теперь неразрывно соединялось с его именем, город, где только камни не кричали о Шмидте. Положим, отец собирался уехать только на время, хорошо, ну, а как же Флот, казармы, рабочие, городская Дума? Неужели он их покинет в такую минуту? Нет, это слишком на него непохоже!

Друзья, видя меня лежащим с полузакрытыми глазами, деликатно говорили вполголоса о последних новостях из казарм, о работе социалистических партий, о тревожных, пока еще неопределенных слухах, относительно приближения к городу карательного отряда генерала Меллер-Закомельского.

Незаметно для себя я уснул. Проснулся от внутреннего острого холода, потрясавшего тело мелкой, нервической дрожью. Друзья ушли.

Столовые часы показывали половину первого. Значит, я проспал около 4-х часов! А отца все нет. Влекомый необъяснимой уверенностью (теперь я знаком с теорией влияния на расстоянии), быстро прошел в переднюю, отпер парадную дверь и столкнулся с отцом.

Не говоря ни слова, отец вошел в кабинет, скинул плащ и тяжело опустился на кресло. Я смотрел на него во все глаза, не смея задать вопроса – такой у отца был подавленный и удрученный вид.

– Не слушают, дураки, – заговорил он слабым, совершенно разбитым голосом. – Ведь как распинался. Все резоны выставил, доказал им, как на ладони, всю безнадежность, всю бессмысленность их затеи. Кончу – орут «Правильно!» Выйдет эс-дек и нач-

нет вопить о мировом капитале и трудящихся массах – и ему орут «Правильно!». Промучился я с ним часа 3, плюнул и пошел домой. Пусть разделываются, как знают.

– Итак, завтра в Одессу?

– Завтра в Одессу.

В неудержимом порыве счастья я бросился к отцу на шею, тиская и тузя его от полноты чувств.

– Чего обрадовался? – слабо улыбнулся отец. – Что избавишься от недреманного отцовского ока?

– Врешь! – закричал я в диком восторге. – Врешь! Одного не пущу! Вместе поедем!

– Вместе, так вместе, – согласился отец, подумав. – Ничего с тобой не поделаешь. Будем потрясать основы en deux, – добавил он, рассмеявшись. – Постой... Кажется, к нам.

Я насторожился и услышал топот нескольких пар ног, поднимавшихся по лестнице.

– Поздновато для визитов, – заметил отец с досадой. – Мне, положим, не привыкать-стать, но, в конце концов надоедает. – Посмотри, кто, – приказал он, когда задребезжал робкий звонок.

Я отпер парадную дверь и, при свете электрического фонаря, увидел кучку матросов, нерешительно переминавшихся с ноги на ногу.

– Вы к папе? – спросил я, по меньшей мере, неприветливо.

– Так точно, – заговорили они вместе. К Петру Петровичу...

– Вы совсем спятили, – грубо оборвал я. – Вламываетесь в час ночи! Есть у вас что-нибудь в голове? Папа спит, приходите завтра.

И я сделал движение, чтобы захлопнуть дверь перед самым носом уничтоженных моим приемом матросов.

– Так что никак невозможно, барин. Такое дело, что помирать в пору. Не от себя мы, а от команды «Очакова», всей, как есть, барин. Будьте великодушны, доложите его благородию.

И говоривший, высокий красавец, с бледным, одухотворенным лицом и горящими лихорадочным огнем глазами, поклонился чуть не до земли.

– Пусти их, Женя, – услышал я сзади голос отца. – Входи, ребята. Что скажете?

Матросы столпились в передней, переглядываясь, тяжело вздыхая и подталкивая друг друга.

– Такое дело, ваше благородие, – заговорил, наконец, высокий матрос – такое дело... На вас, как на Бога, одна надежда. Погибаем. С «Очакова» мы, ваше благородие, – пояснил он, впиваясь в отца пытливыми глазами.

Отец нахмурился.

– Идемте, – пригласил он их в кабинет после недолгого раздумья.

Матросы, на цыпочках, один за другим, благоговейно стали переступать порог кабинета. Отец смотрел на них с добродушной усмешкой. Пропустив последнего, пятого по счету, он вышел вслед за ними и, сделав мне знак идти в свою комнату, закрыл за собою дверь. Я покружился по столовой, закурил папиросу и остановился у окна, бессмысленно вперив взор в непроницаемую пелену ночного мрака.

Теперь я не могу припомнить, было ли у меня ясное сознание, что за дверью решается судьба моего отца. Иногда мне кажется, что, безусловно, было, и я даже ощущаю ледяной озноб мучительного ожидания; иногда же я уверен, что ни о чем в тот момент не думал и почти ничего не чувствовал – слишком изнемогла душа от постоянного напряжения и ожидания катастрофы.Сколько времени я простоял у окна, пока длилось совещание – тоже не помню. Времени для меня не существовало.

Когда двери кабинета открылись, и в столовую ворвались голоса, я обернулся. На пороге, провожая матросов, стоял отец. На лице его, бледном, серьезном и сосредоточенном, появилось новое, незнакомое мне, выражение, прибавилась какая-то лишняя, незримая, но резкая и определенная черта. И этой чертой, казалось, судьба отца делилась на две неравные части: **до** и **после**.

Глаза отца сияли; он смотрел на матросов, но вряд ли их видел. Точно воспоминание о чем-то бесконечно дорогом, давно

умершем, коснулось его легким, прозрачным крылом... Матросы, с фуражками в руках, застыли в позе почтительного внимания и безграничной, собачьей преданности.

– Ну, молодцы, – сказал отец, очнувшись от задумчивости, – ступайте с Богом и ничего не бойтесь. Передайте моим матросам привет, а командирам судов – строжайший приказ: «вольных» на борт не пускать. Карать буду беспощадно. Поняли?

– Так точно, вашескобродие, поняли! – весело гаркнули матросы, вытянувшись в струну.

Отец ласково кивнул им на прощанье, матросы, столкнувшись, сделали «кругом» и ушли.

Заперев за ними дверь, я ступил несколько шагов по направлению к кабинету отца и остановился. Силы изменили мне; я не мог идти дальше.

Я понимал, что, как только войду, отец заговорит со мной, а я буду знать *наверное;* теперь же у меня была... не надежда, нет! – а трусливая возможность отдалить неизбежное и не думать о нем несколько лишних секунд.

Последние секунды незнания! Каждая из них равнялась человеческой жизни.

– Женя, иди сюда, – раздалось из кабинета. Смертная тошнота подступила к горлу, но я преодолел ее и пошел к отцу. Он сидел на диване и подзывал к себе любящей, бесконечно доброй улыбкой.

– Садись рядом, голубчик.

Я сел, зная все, что он скажет, но молясь чуду.

Отец погладил меня по голове и сказал коротко и просто:

– *Их надо спасти, сынишка.*

Сердце рванулось, выскочило из груди и покатилось в черную бездну. Все прошлое – и мое беззаботное, радостное детство, и светлая, счастливая юность, и лихорадочно-горячечный темп последних дней – все отодвинулось в туманную даль, потускнело, дрогнуло и растаяло без следа. В душе родился звук, как от лопнувшей струны, прозвенел нежно-нежно – и замер. Теперь я знал *наверное.*

Чуда не произошло.

«Мертвая хватка» судьбы, немного ослабившей пальцы, чтобы ловчей ухватить, стала еще прочнее, и мы продолжали свой стремительный бег в предопределенной исторической орбите.

Я не сразу стал вслушиваться в слова отца, и часть из них успел пропустить.

...– Таким образом пришлось изменить первоначальное решение. Если завтра не удастся вырвать у Чухнина обещание амнистии, то у матрозни не останется иного выхода, как лезть на рожон в чаянии победы, пусть более, чем сомнительной. Ведь сдавшись на милость такого победителя, как Григорий Павлович Чухнин, матросы не будут иметь ни одного шанса на спасение.

...Когда я уговаривал казармы ликвидировать свой мятеж, то руководствовался вескими соображениями. Особенных кар, не считая, конечно, Петрова, убийцы капитана Штейна, я уверен, экипажи не понесли бы. Во всяком случае, смертных казней ожидать было нельзя. А продление бунта флотских казарм вызывало несомненное кровопролитие.

С очаковцами дела обстоят гораздо хуже. Имена всех зачинщиков – «главарей» – хорошо известны командному составу (чего нельзя сказать относительно казарм), снятому матросами с корабля, и здесь неминуемы смертные приговоры*): бунт на военном корабле, находящемся в плавании, хотя бы только на бумаге, – иное дело, чем митингование вышедших из повиновения нижних чинов. Все это стало мне ясным лишь после беседы с очаковцами.

...Как они молили меня!.

– О чем? – спросил я глухо.

– Принять команду над Черноморским Флотом. Это звучит слишком гордо, согласен, но они убеждены, что когда я подыму на «Очакове» флаг Главного Командира, к нам пристанут все

*) Будущее показало, что отец был совершенно прав. Из всех чинов Черноморского Флота, замешанных в ноябрьском мятеже 1905 г., смертные приговоры получили одни «очаковцы» (отец, Частник, Антоненко и Гладков).

остальные суда. Я не верю ни минуты в такой невероятный исход, но охотно допускаю переход к нам некоторой части Черноморского Флота. Четыре номерных миноносца и сейчас уже стоят рядом с «Очаковым».

Вот мой ответ команде: условно, до переговоров с Главным Командиром, я принимаю их предложение. После переговоров выяснится вопрос об амнистии, и мое условное согласие станет или безусловным – если гарантии о неприменении казней не будут даны, или я возьму его обратно – при согласии Чухнина.

В случае полной неудачи переговоров я приказал очаковцам не предпринимать ничего, пока не выяснится настроение эскадры. На это потребуется несколько дней.И только открытое нападение на «Очаков» поведет к вооруженному отпору с нашей стороны. Я знаю, что ты любишь меня, но также уверен, что ты, мой мальчик, встретишь мое решение так, как я вправе от тебя ожидать.

Я молчал. Что я мог сказать? Уговаривать отца бросить матросов и думать только о себе? Я знал, насколько это бесполезно; к тому же, отец слишком хорошо помнил свою знаменитую клятву.

Приходить в отчаяние, биться головой о стену? Но прежний нервный и боязливый юноша во мне только что умер; в одну ночь я созрел во взрослого человека с опустошенной душой.

– Пора спать, мальчуган, – сказал отец, подымаясь и вглядываясь в мое лицо с ласковым беспокойством. – Я очень рад, больше – очень счастлив, что ты отнесся к моему решению как мужчина и как мой сын. Иного и не могло быть. Покойной ночи, голубчик.

Я молча обнял отца и отправился в свою комнату. Не отдавая себе отчета, я присел к письменному столу, раскрыл «общую» тетрадь и цветным карандашом нарисовал большой красный флаг и обвел его черной каймой.

И в ту же секунду из кабинета донесся ко мне чудный, проникающий в самые недра души, голос отца:

Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!
Вот арфа золотая.
Пускай персты твои, промчавшися по ней,
Пробудят в струнах звуки рая.

И если не навек надежды рок унес –
Они в груди моей проснутся;
И если есть в очах застывших капли слез –
Они растают и прольются...

Я знал, что в этот миг отец прощался с жизнью. «Они растают и прольются»... машинально повторил я последние слова.

Но в моей груди не было больше слез. О чем рыдать? Ведь умереть мы могли только вместе.

IX

В ночь с 13-го на 14-е ноября эшелоны карательного отряда генерал-лейтенанта барона Меллер-Закомельского высадились на Меккензиевых Горах и двинулись к Севастополю походным порядком.

Начальник отряда получил сведения о порче мятежниками железнодорожного полотна и о намерении революционных судов обстреливать подходящие составы; неуверенность в действительном положении вещей как относительно Флота, так и сухопутных частей – крепостной артиллерии и пехотной бригады – вынудила знаменитого усмирителя к мерам сугубой предосторожности. Высадив первый эшелон глубокой ночью, он разделил его на две части и направил к мятежному Севастополю по двум дорогам, восточной и северной. Подойдя к Севастополю, штаб отряда узнал от военных властей, что крепостная артиллерия заявила о своей солидарности с повстанцами, а эскадра находится в состоянии брожения; каковы будут конечные результаты этого брожения – определить еще было нельзя. Пока же один «Очаков» и несколько мелких судов окончательно и определенно передались красным.

Таким образом, относительно эскадры полученные сведения являлись, скорее, благоприятными для правительственных войск; серьезная опасность грозила только со стороны крепостной артиллерии. Имея последнюю в числе своих противников, не стоило и думать о ликвидации мятежа; следовало, прежде всего, позаботиться о лишении повстанцев их могущественного союзника – крепости. Пока вырабатывались меры для приведения в исполнение этого плана, артиллерия карательного отряда расположилась в двух пунктах – на Северной стороне и на Историческом бульваре, на том месте, где в 1854 г. находился знаменитый 4-й бастион. С этих мест легко обстреливать и морские казармы, и «Очаков».

Адмирал Чухнин также не терял даром драгоценного времени. Утром 14-го ноября он отдал распоряжение о снятии с орудий всех ненадежных судов (а таковых насчитывалось 90 %) замков и ударников, чем и оградил себя от всякой неприятной неожиданности с этой стороны. Судовые команды, не решившие еще, куда им примкнуть, беспрепятственно допустили к себе на борт агентов Главного Командира – чинов его штаба – и наблюдали с довольно равнодушным видом операцию, производимую над их орудиями. На явно мятежный «Очаков» агенты Чухнина, само собою, пожаловать убоялись.

Привести крепостную артиллерию в «христианский вид» взял на себя командир Брестского полка, полковник Думбадзе (брат ялтинской «знаменитости»). Хотя его полк и находился в рядах мятежников, но, тем не менее, существовала надежда, что прибытие генерала Меллер-Закомельского заставит забывших присягу солдат переменить фронт и обратиться против своих недавних союзников. В ожидании этого радостного события энергичный полковник придумал замечательный по своей простоте и остроумию способ уловления мятежных артиллерийских душ. К артиллеристам был послан полковой батюшка с приличной проповедью к заблудшим чадам и соответствующим количеством нагруженных подвод с казенным «вином» и прозаической колбасой. После проповеди, «чадам» была поставлена выпивка.

«Чада» перепились, как свиньи, передрались, легли переваривать обильное угощение и... проснулись запертыми в крепостных казематах и погребах. У орудий стали офицеры, и, таким образом, «ликвидация» артиллеристов получилась полная, настолько полная, что через полчаса явилась возможность открыть из крепости огонь по «Очакову».

Но, по необходимости, я опять забежал вперед. Крепость изменила нам на другой день, 15-го ноября, 14-го же числа власти произвели только подготовительные операции – разоружение судов и окружение полевой артиллерией карательного отряда казарм флотских экипажей.

Встали мы с отцом 14-го ноября поздно, часов в 10. За столом говорили о вещах, не находившихся ни в каком отношении к злобам дня. К чему? Все давно решено, через несколько часов должна наступить катастрофа – в этом у нас с отцом не возникало ни малейшего сомнения – так не лучше ли провести последние мгновения, оставленные нам судьбой, в тихой и спокойной беседе о безвозвратно минувших, прекрасных днях?

По какой-то ассоциации идей мы заговорили о Фигнере, и отец, большой его поклонник, вспомнил постановку на петербургской сцене «Пиковой Дамы» с Фигнером в главной роли зимой 1886 г. Отца тогда только что произвели в офицеры, и этот первый спектакль по получении мичманских эполет оставил в душе его неизгладимое впечатление. Отец так увлекся в своих воспоминаниях, что потерял, на время, сознание действительности, вскочил, встал в позу оперного певца и запел арию Германа в последнем действии (у карточного стола). Слова арии: «Пусть неудачник плачет, кляня судьбу свою» так подходили к его положению, что невольно вернули отца к ужасной действительности, напомнив, что сейчас не 1886 год, а, увы, уже 1905. Отец резко оборвал пение, сел к столу и некоторое время молча прихлебывал чай.

– Пора идти, – проговорил он, наконец, взглянув на часы.

– К «Чухне»? (прозвище адм. Чухнина у моряков) – спросил я.

– Конечно. К кому же еще? Надежды мало, и не могу даже

утешить себя поговоркой, что «попытка – не пытка». Ты знаешь, каково мне идти к этому индивидууму и просить его о чем бы то ни было. А сегодня придется не просить, а, форменным образом, умолять. Ничего не поделаешь! Надо выручать матрозню.

– Напрасно ты едешь, – сказал я, глядя, каж отец надевает сюртук. — Заранее говорю – ни черта из этого не выйдет. Лишнее унижение.

– Попробую, – лаконически возразил отец.

– Правительство настолько сильно, что имеет полную возможность не идти на компромиссы, а требовать безусловной сдачи, – не унимался я.

– Перестань! – крикнул отец с болью. Мне стало стыдно и я замолчал.

– Готов, – сказал отец, хлопая себя по карманам – не забыл ли чего. – До свидания. К обеду вернусь.

Он ушел, а я задумался и продолжал пить чай, стакан за стаканом, пока из самовара не потекла еле теплая, тонкая струйка. Я очнулся, встал, надел пальто и вышел со двора.

Уже за воротами я сразу сообразил, что дело неладно. Как и вчера, повсюду стояли толпы народу; но разница между вчерашним и сегодняшним днем бросалась в глаза. Это были уже не митинговавшие восторженные орды «сознательных граждан», а трусливые, испуганные кучки исконных российских обывателей, тревожно шепчущихся о спасении собственной драгоценной шкуры. Имя Меллер-Закомельского повторялось едва ли не чаще, чем имя отца; говорили, что он уже в 5-ти верстах от Севастополя, что отряд его, состоящий из отборных, закаленных боями с японцами и зверскими усмирениями, солдат снабжен сильной артиллерией и многочисленными пулеметами, что барону даны инструкции действовать беспощадно, не вступая ни в какие переговоры с мятежниками, что он известен, как жестокий, безжалостный солдат, недоступный чувству сострадания и человечности, что его не остановит никакое количество крови, лишь бы выполнить полученное задание, что

Брестский полк, узнав о приближении карательного отряда, принес повинную и выдал зачинщиков.

Но в рабочих кварталах, в рядах разношерстного демоса преобладало еще вчерашнее боевое настроение. Существовала уверенность в эскадре и артиллеристах, а потому приближение Меллер-Закомельского не внушало особого страха. В самом деле, если бы весь Черноморский Флот с крепостью составлял одно целое, спаянное единой идеей (Учредительным Собранием), с железной дисциплиной и оперативным штабом хотя бы из 5-6 офицеров различных родов оружия, во главе с любимым и популярным вождем, то правительство никогда бы не справилось в один день (как справилось с казармами и «Очаковым») с такой огромной и организованной силой. О невозможности для правительства расправиться с Черноморским Флотом, восставшим целиком, не приходится распространяться. Для форсирования же фортов Севастопольской крепости понадобилось бы не менее корпуса с осадной артиллерией, каковые силы правительство вряд ли имело возможность сосредоточить в короткое время. А действовать требовалось быстро и решительно; каждый лишний день продления бунта в Черноморском Флоте и частях севастопольского гарнизона отражался самым гибельным образом на настроении и сопротивляемости пропаганде в соседних частях. Зараза грозила перекинуться на север, известие же об отпадении от правительства такой величины, как Черноморский Флот, и о бессилии властей справиться с мятежом само по себе могло повлечь целый ряд возмущений в войсковых частях по всему лицу великой Империи Российской.

Вот почему есть основание предполагать, что при упомянутом условии – солидарности крепостной артиллерии со всеми без исключения судами Черноморского Флота – правительство было бы вынуждено пойти на уступки, и если не согласиться на созыв Учредительного Собрания (требование, которое отец поставил условием своего участия в восстании), то, во всяком случае, дать конституцию на деле, а не на бумаге. Побродив по улице и доста-

точно наглядевшись и наслушавшись, я воротился домой, испытывая потребность в уединении и нежелание толкаться как среди «несознательных», так и сознательных чересчур, одинаково мне чуждых. На Соборной, в двух шагах от нашего дома, я сошелся со своим другом, Васей Корди, шедшим ко мне.

– Что нового? – спросил я его.

– Табак наше дело, – угрюмо ответил Корди.

Отец уже вернулся домой. Я взглянул на него и понял, что попытка соглашения с Чухниным потерпела полнейшее фиаско. Я ничего не спросил у него и только крепко обнял. Отец прижал меня к своему сердцу, и я почувствовал, как сильно оно билось.

– Не удалось, брат, – проговорил, не замечая моего друга. – Даже разговаривать со мной не захотел – не принял. Судьба! Зато совесть теперь у меня чиста. Вся кровь, если она прольется, падет на него одного.

Мне хотелось заметить, что утешение это плохое, что для Чухнина кровь, пролитая во имя самодержавия, имеет не более цены, чем вода из городского водопровода. Но, взглянув на убитое горем лицо моего отца, не сказал ничего.

– Идем обедать, – решил отец. – Здравствуйте, милый Вася, – заметил он Корди. – Пообедайте с нами. Федор, подавай.

«Скорей бы началось», думал я, с усилием глотая суп. «Как бы ни началось, чем бы ни кончилось – только бы скорей. Все лучше этого состояния».

И вот, на парадной, вздрогнув, судорожно забился колокольчик. Казалось, кто-то, большой и сильный, кричал, захлебываясь от нечеловеческого ужаса, от нестерпимой, безумной боли. Когда ему не хватало воздуха, он умолкал, но, переведя дыхание, опять принимался испускать дикие вопли, в которых слышался призыв, полный отчаяния и смертельной тоски:

«Спасите! Спасите!».

«Началось!» вихрем пронеслось в голове. «Вот оно, memento mori!».

Отец встал из-за стола бледный, но страшно спокойный. Вася с недоумением переводил глаза с отца на меня, сам постепенно бледнея. Федор торопливо побежал отворять. На пороге столовой стоял вчерашний красавец-матрос. Он был без шапки (вероятно, потерянной по дороге), в расстегнутом бушлате и держал в руке длинный и узкий матросский ремень («Взял извозчика и погонял лошадь этим ремнем», сейчас же догадался я).

Черты Антоненко (фамилия матроса), покрытые смертельной бледностью, общим выражением странно напоминали в ту минуту отца.

– Что случилось?

Голос отца был спокоен и ровен, только легкая судорога, скользнувшая по его лицу, показала, чего стоило ему это спокойствие.

– Так что, ваше высокоблагородие, – начал Антоненко, вытянув руки по швам. – Эх, да что там! – перебил он себя. – Конец, ваше благородие, пропали мы, одно слово! Главный Командир суда разоружили, которые к нам перекинуться полагали на помочь. С утра, значит. А нам и невдомек. Узнали, да поздно...

– Все суда разоружил? – быстро спросил отец, поспешно одеваясь.

– Никак нет, ваше благородие, «Ростислава» и «Синопа» не тронул, потому команда там... А «Очакову» против них не устоять. Матросы, ваше благородие, потому, как вы наш, то-ись, командир и приказали самим не распоряжаться, а вам докладывать... Эх, ваше благородие, конец, все едино!

– Ну, это мы еще посмотрим, – пробормотал отец, лихорадочно запихивая в саквояж какие-то вещи.

– Одна беда, ваше благородие, не приходит, – продолжал Антоненко. – Казармам теперича тоже крышка, потому генерал Закомельский антиллерию кругом поставили. Податься некуда, одно слово.

– А, так вот как! – заревел отец в страшном бешенстве, багровея до черноты. – Вот что задумали, мерзавцы! Хорошо! Увидим, кто кого! Извозчика позови, – резко бросил он Федору.

– Извозчик есть, ваше благородие, на нем приехал, – торопливо доложил Антоненко.

– Тем лучше, – сказал отец, схватил саквояж и, обращаясь ко мне, произнес таким суровым и повелительным тоном, с каким никогда еще со мной не говорил:

– Сиди дома. Перед закатом солнца приходи на бульвар. Если на «Очакове» увидишь красный флаг – бери шлюпку и приезжай на «Очаков».

Я кивнул головой, не в силах от волнения произнести ни слова. Но отец уже сбегал по лестнице, крикнув, на ходу, Антоненко:

– За мной!

Хлопнула дверь, и мы остались с Васей одни у окна, видя, как через двор пробежали отец с Антоненко.

– Или пан, или пропал, – подавленно прошептал мой друг. Шатаясь, я опустился на стул. Спирало дыхание. Как ни был я подготовлен к страшной развязке, она меня ошеломила. Догадливый друг пошарил в буфете, вытащил бутылку вина, достал штопор, откупорил и налил стакан до краев.

– Пей, полегчает.

Я залпом хлопнул стакан. Бодрящий огонь быстро стал разливаться по жилам, и через минуту голова моя пошла ходуном. Вино оказалось старой мадерой, которую отец держал для почетных гостей. Я, в свою очередь, налил другу, и скоро бутылка опустела. Мы вместе легли на диван. Ничего не говорили, только Вася мурлыкал что-то сквозь зубы. Несколько часов мы провели в полузабытьи. Пришли в себя, когда в столовую ворвалась компания шестиклассников, с Мечем и Яковлевым во главе. Известие, что отец решил принять командование над мятежным Флотом, успело распространиться по городу, вызывая общее ликование.

– Приветствую сына главнокомандующего! – воскликнул Меч, полушутливо, полусерьезно. – Теперь ты такая важная особа, что страшно и подойти к тебе. Чего доброго, не захочешь водить с нами компании.

Я взглянул в окно и увидел, что багровый диск заходящего солнца уже наполовину скрылся за горизонтом. Схватив фуражку, я, как безумный, выскочил на улицу. Яковлев и Корди последовали за мной. Мы успели прибежать на бульвар до истечения назначенного отцом срока.

Жадно разглядывая «Очаков», мы не находили нигде красного флага; один Андреевский величественно колыхался на корме под слабым дуновением ветра. Постояв и полюбовавшись гордыми линиями крейсера, мы вернулись обратно. В квартире, к тому времени, собрался почти весь 6-й класс и часть седьмого.При моем появлении раздалось громовое «ура». Меня окружили, жали руки, обнимали и поздравляли. «Нашли, с чем!», подумал я с горечью.

Не спрашивая моего согласия, человек с 20 решили у нас заночевать. Друзья опасались – не совсем без основания – что меня могут арестовать. А так как я перестал быть для них только приятелем, и сделался чем-то вроде официального лица, то друзья решили охранять мою особу сообща, чтобы в целости препроводить к отцу на «Очаков», когда на крейсере появится заветный красный флаг.

Вечером я почувствовал лихорадку. Друзья уговорили меня лечь пораньше, чтобы набраться сил к завтрашнему дню. Я лег в своей комнате, друзья же расположились по всей квартире, где попало – на диванах, креслах, стульях, на полу – кто что занял. Но предварительно нарядили «караул» по всей форме: караульный начальник, разводящий, три смены часовых. Пост был у ворот. Кроме того, по Соборной, из конца в конец, ходили встречные «дозоры», по два человека, сменяемые, как и «часовые», каждые два часа. Словом, охрану «сына главнокомандующего» обставили весьма солидно. В случае тревоги, я, по приставленной заранее лестнице, спускался через окно на двор, со двора, при помощи той же лестницы и в сопровождении двух друзей, карабкался на забор, спрыгивал оттуда в малолюдный переулок, пробирался на квартиру одного из своих спутников и скрывался там впредь до отцовского распоряжения.

В два часа ночи, когда моя свита, кроме «часовых» и «дозорных», погрузилась в глубокий сон, за мной явился матрос с «Очакова». Опрошенный «часовыми», он заявил, что ему поручено доставить меня на «Очаков» и что у него имеется ко мне записка от самого «Главного Командира» – таков был новый титул моего отца.

Когда меня разбудили, я уже знал, в чем дело. В записке отец писал:

«Возьми белье и вещи, нужные на первых порах. Не забудь захватить браунинг. Немедленно приезжай ко мне. Я еще с вечера приготовил кулек с необходимыми вещами – двумя сменами белья, туалетными принадлежностями и фунтом табаку».

Одевшись, сунув в карман браунинг с запасной обоймой (подарок отца, когда мне исполнилось 16 лет) и взяв под мышку кулек, я перецеловался со всеми своими друзьями и покинул нашу квартиру... чтоб больше никогда в нее не возвращаться.

Стояла черная, как чернила, ночь. Фонари почти не горели в тех глухих переулках, которыми я с матросом пробирался к Корниловской набережной, где нас ожидал катер, и только гигантские щупальцы прожекторов двух смертельных врагов – «Очакова» и «Ростислава» – изредка освещали нам путь.

Мы шли в глубоком молчании. Своего провожатого я дома разглядеть не успел, и до сих пор его личность остается для меня тайной. Через четверть часа мы подошли к Корниловской пристани, и я заметил носовой огонь и черный силуэт большого катера. Я прыгнул в катер, оступился и чуть не упал, но меня подхватили чьи-то сильные объятия и, как ребенка, перенесли на корму. Винт забурлил и, рассекая воды Минной бухты, катер понесся к Главному рейду.

Фигуры матросов четко вырисовывались в освещенном фонарем пространстве.

За всю дорогу не было произнесено ни слова; очевидно, выполнялись инструкции свыше.

В голове не появлялось ни одной определенной мысли, а то обстоятельство, что я увижу сейчас отца в дикой, совершенно фантастической роли «Главного Командира» революционного фло-

та, уже не поражало моего воображения, несмотря на всю свою чудовищную неправдоподобность.

Темная громада «Очакова», скупо освещенная бортовыми огнями, выплыла из мрака сразу и неожиданно. Катер застопорил, дал задний ход и плавно подошел к левому борту. Захватив свой кулек, я одним духом взлетел по трапу наверх и с разбегу наткнулся на часового.

– Кто таков? – загородил он мне путь.

Я стал объяснять, когда яркий сноп света вырвался из отворившейся двери и в ее прямоугольнике показалась фигура отца.

– Это ты, Женя?

Я кинулся к нему. Отец взял меня под руку и ввел, через большой коридор, в залитое электрическим светом роскошное адмиральское помещение.

– Ну, вот тебе новая наша квартира, – сказал отец, поводя рукой. – Не знаю, надолго ли. Не так уютно и славно, как у нас на Соборной, но жить можно.

Адмиральское помещение состояло из большой залы – гостиной, сплошь покрытой дорогим ковром, с длинным обеденным столом и множеством столиков, кресел и пуфов, кабинета и спальни. Всюду сверкало полированное красное и ореховое дерево; бронза, хрустальные люстры – все говорило о недавнем пребывании старой власти, все напоминало нам, что мы здесь только случайные и недолгие гости.

– Ты будешь спать в кабинете, днем же можешь располагаться по собственному усмотрению, – объявил отец. – Чаю хочешь? Отпразднуем новоселье.

Он нажал кнопку, и в ту же секунду появился дежурный вестовой.

– Чаю, – коротко приказал отец. – Ну, как тебе здесь нравится?

– Да что ж, ничего, – пробормотал я, растерянно озираясь по сторонам. – Но на старом месте было в тысячу раз лучше.

– Еще бы!

Вестовой внес на подносе два стакана чая и поставил на один из небольших столиков.

– А хлеб? – спросил я, чувствуя внезапный голод.

– Скандал, брат! – засмеялся отец. – На всем корабле – ни крошки. Как это так артельщик сплоховал – ума не приложу. Вся команда легла спать с голодным брюхом. Ничего, завтра привезут с берега запасов на целый месяц.

– Как дела? – спросил я тихо.

– Пока неважны, брат, не буду от тебя скрывать. До сих пор, кроме номерных миноносцев и контр-миноносца «Свирепого» – никого. С минуты на минуту ожидаю известий о захвате новых судов. До утра дело ограничится, вероятно, мелочью – транспортами и канонерками. За броненосцы примемся завтра... Точнее, сегодня днем.

– Как тебя встретила команда?

– С большой помпой. Выстроилась во фронт, когда показался яличник с «Главным Командиром» (пришлось взять первый попавшийся ялик: мое прохождение на адмиральском вельботе могло обратить преждевременное внимание), при вступлении моем на борт «Очакова» оркестр заиграл встречу. «Командир», кондуктор Частник (милейшая личность) подошел с рапортом, что «на вверенном ему корабле никаких происшествий не случилось». Какая злая ирония, не правда ли?

– Приняв рапорт, я обратился к команде с речью, – продолжал отец. – Приветствуя команду и благодаря ее за оказанные мне честь и доверие, я напомнил, что согласился на их предложение при одном непременном условии: именно, чтобы все свои требования, вроде «вежливого обращения», они отбросили и выставили единым девизом и лозунгом восстания – созыв Учредительного Собрания.

Самым решительным образом подтвердил, что требую беспрекословного повиновения себе и назначенному мной командному составу, а что непослушание и своевольство будут караться мною беспощадно.

Наконец, подчеркнул, что за наше дело – святое, правое дело – Бог и русский народ, и что мы не должны позорить и грязнить этого дела кровью своих врагов. Затем я распустил команду, назначив в 3 часа дня молебен по случаю тезоименитства Марии Федоровны.

– Если бы ты мог видеть, с каким чувством, с каким сознанием своей верности русской верховной власти пели мои матросики!.. Весь остальной день прошел в хлопотах и распоряжениях, которыми был полон рот. Назначил командира, старшего офицера, вахтенных начальников*); к сожалению, эти «начальники» – такие же матросы, пользуются у команды весьма слабым авторитетом, и только мои приказания исполняются беспрекословно, иногда даже слишком усердно. – Отец засмеялся:

– Интересный пример. Я приказал «гнать в шею» с корабля всех «вольных», особенно агитаторов. Так матрозня поняла мое приказание буквально! Вечером, два юрких молодых человека успели незаметно пристать к кораблю и взобраться на палубу. Команда приняла их сначала за матросов с другого корабля, но, разглядев штатскую внешность незваных гостей, спустила их по трапу обратно в воду так энергично, что одному из симпатичных молодых людей пришлось выкупаться, а другой расшиб затылок. Разумеется, я сделал строгий выговор за усердие не по разуму и обещал в следующий раз примерно наказать.

– Но каковы матросы!

И отец, с рассеянной улыбкой, о чем-то задумался.

– Ты ведь прислал за мной до подъема условного красного флага. Почему, в таком случае, ты не сделал этого раньше? – спросил я после некоторого молчания.

– Забыл, голубчик, прости меня! Так затаскали по новым обязанностям, что только ночью мог вздохнуть свободно. И тогда, как ножом в сердце, ударила мысль: «А что, если моего мальчугана арестуют и тем свяжут мне руки? Все тогда погибло». Ни секунды не медля, я послал за тобою катер. Пока ты не явился, места себе не находил. Но, слава Богу, все благополучно, и мы опять вместе.

– Навсегда! – отозвался я, взглянув на отца строго и серьезно.

– Так что командир до вашего высокоблагородия, – доложил дежурный в дверях.

– Проси.

---

*) Что касается Частника, то отец только утвердил его избрание командой «Очакова».

Вошел высокий, худой брюнет, с умным и грустным интеллигентным лицом, в кондукторских погонах. Он вежливо мне поклонился.

– Какие новости, Сергей Петрович? – спросил отец с едва заметной, тревожной ноткой.

– Пока хорошие, Петр Петрович. В Южной бухте захвачены еще два миноносца и канонерская лодка «Кубанец». Офицеров арестовано 14 человек. Сейчас привезут. Куда прикажете их поместить? С прежде арестованными всего 23 человека; офицерские каюты все заняты.

– Всех вновь арестованных помещать в дежурной каюте.

– Есть!

– Знакомьтесь – мой сын. Присаживайтесь, Сергей Петрович, потолкуем.

Отец и Частник закурили папиросы и вступили в продолжительную и оживленную беседу.

До 15-го числа на всех судах, кроме «Очакова», прогнавшего своих офицеров, дела дальше митингований и требований, вроде «вежливого обращения», не подвигались. Команды перестали повиноваться своим офицерам, выносили различные резолюции, но открыто к «Очакову» не присоединялись, и офицеры продолжали оставаться на кораблях.

Отец, вступив в командование мятежным флотом, энергично принялся за захват и присоединение к «Очакову» судов Черноморского Флота. Ночью десант с «Очакова» и отряды матросов из флотских экипажей «атаковали» 5 номерных миноносцев, эскадренный миноносец «Свирепый» и канонерскую лодку «Кубанец», не встретив со стороны команды этих судов никакого сопротивления.

Офицеров арестовали, свезли на «Очаков» и рассадили, в одиночку, по свободным каютам (15-го числа большую часть арестованных офицеров отец поместил вместе, в просторной, так называемой, «дежурной» каюте). Но захват названных мелких судов имел скорее моральное, чем практическое значение. Победа

и поражение зависели от поведения линейных кораблей – броненосцев «Чесмы», «Князя Потемкина-Таврического» («Пантелеймона»), «Императрицы Екатерины II», «Двенадцати Апостолов», «Георгия Победоносца» и «Трех Святителей». (На присоединение «Ростислава» и «Синопа», которым Чухнин, не в пример прочим, оставил замки и ударники, никто из очаковцев не рассчитывал). Открытое нападение на эти суда представлялось слишком рискованным делом. Не говоря уже о могущем произойти кровопролитии, чего отец хотел избежать во что бы то ни стало, команда «Очакова» не могла вступить в единоборство с командами 6-ти броненосцев, хотя бы и разоруженных, если б последние вздумали оказать сопротивление. А в этом не было ничего невозможного.

Настроение матросов линейных кораблей делало такие неожиданные и непоследовательные скачки то в ту, то в другую сторону, в зависимости, нередко, от самых вздорных и нелепых слухов, что отец не мог поручиться за верность «Очакову» любого из судов эскадры в продолжение и одного часа*). Плана у отца, в строгом смысле этого слова, не было никакого; те или иные его действия подсказывались самим ходом событий, развертывавшихся с кинематографической быстротой. Намечались только штрихи, черновые наброски совершенно неизбежных первых шагов, вытекавших из существа восстания. Ночью дело ограничивалось захватом судов, не могущих оказать восставшим серьезного сопротивления. Днем же 15 ноября предстояли операции в более крупном масштабе. Утром отец на «Свирепом» должен был освободить заключенных на «Пруте» участников июньского мятежа на «Потемкине», а затем объехать всю эскадру с призывом присоединиться к «Очакову». На суда, выразившие отцу сочувствие, предполагалось послать немедленно команды очаковцев для ареста офицеров и замены их лицами нового, назначенного отцом командного состава (из нижних чинов, конечно). Но прежде всего сле-

*) На «благонадежном» «Ростиславе» матросы шесть раз подымали и спускали красный флаг.

довало захватить арсенал, где хранились ударники, снятые Чухниным с орудий ненадежных судов, и вновь вооружить присоединившиеся линейные корабли. В противном случае, присоединение даже всех шести колеблющихся броненосцев не могло принести «Очакову» никакой пользы: соотношение сил не менялось, и одному «Очакову» приходилось иметь дело с правительственными «Ростиславом» и «Синопом». Правда, при всех случайностях и комбинациях, в наших руках оставался козырной туз – крепостная артиллерия.

Под ее крылом мы могли не опасаться враждебного отношения всего Черноморского Флота. Но если бы обстоятельства заставили пойти этим тузам – отбивать наступление осадных корпусов – то, при отсутствии других козырей – судов Черноморского Флота – мы рисковали проиграть игру. Так далеко, однако, отец не загадывал.

Во-первых, до прибытия осадных частей оставалось еще слишком достаточно времени, и отряд Меллер-Закомельского не смел и помышлять о взятии крепости одними своими силами, а, во-вторых... «Очакова» и очаковцев, рано или поздно, ждала, все равно, неминуемая гибель. Отец знал это с самого начала, знал – и пошел на верную смерть.

Шел пятый час утра. Непривычное возбуждение и душевный подъем не смогли побороть потребностей молодого организма; меня стало неудержимо клонить ко сну, и отец, заметив мои красные глаза, приказал идти спать. Не раздеваясь, я прилег в его кабинете и погрузился в мертвый сон...

Спал я не больше трех часов. Меня разбудили шум, беготня и чрезвычайное оживление на палубе. В иллюминаторы глядел близкий восход солнца. Электричество в зале погасло, и его сменил бледный и грустный рассвет сумрачного ноябрьского дня. Я стал раздумывать, не подняться ли мне на палубу, как в залу вошел молодой, рыжеватый матрос с полуинтеллигентной физиономией, совершенно мне неизвестный.

– Денек! – обратился он ко мне, как к старому знакомому. – Но ничего. Часам к десяти, надо полагать, погодка разгуляется.

В адмиральском помещении «Главного Командира» он держался, как у себя дома, разгуливая, кружась на месте, присаживаясь и вновь вставая.

– На кого я похож! – продолжал он, взглянув на себя в зеркало и проводя рукой по давно небритому подбородку, заросшему густой рыжей щетиной.

– Обязательно завтра побреюсь.

Я с недоумением наблюдал его, не произнося ни слова. В двери залы просунулась голова часового (вход в адмиральское помещение охранялся караулом).

– Гладков! Ты здеся? Подь сюды. Командир требует. Живее!

Гладков еще раз хлопнул рукой по подбородку и с сожалением оторвался от созерцания собственной физиономии.

– Какой командир? «Главный»?

– Нет, кондуктор.

– Подождет, – хладнокровно решил Гладков. Часовой плюнул и закрыл за собою дверь. «Порядки», подумал я. «Поставили для охраны караул, а лезет сюда, кто хочет. Непременно скажу отцу».

– В каком вы классе, разрешите узнать? – дружелюбно обратился ко мне Гладков, непринужденно развалясь в кресле и кокетливо побалтывая ножкой.

– В шестом, – буркнул я, глядя на него волком.

– Товарищи ваши бастуют, кажись?

– Бастуют.

– Да, уж наши педагоги, знаете... А меня к вам Петр Петрович прислали, – сказал Гладков с такой приветливой и доброй улыбкой, что на душе у меня потеплело. – Поди, говорят, Гладков, посмотри, что мой оболдуй делает. Вы не обижайтесь, это не я, а Петр Петрович вас так называют.

– В таком случае, познакомимся, – предложил я, улыбнувшись и крепко пожимая его руку.

В дверь вторично высунулся часовой.

– Да иди ты, черт, дьявол, анафема! Кличут его, кличут, а он...

– Удивительно некультурная публика! – пожаловался Гладков. – А еще сознательные! – Он манерно раскланялся и вышел. Светлело все больше и больше. Когда первые лучи солнца брызнули сквозь ряд задраенных иллюминаторов, в залу вошел отец.

– С добрым утром! Идем на молитву. Мы вышли на палубу. Команду построили и две шеренги; впереди занимали места Частник, «старший офицер» и «вахтенный начальник».

Мы взошли с отцом на средний мостик спардека и стали рядом.

– На молитву, шапки долой! – скомандовал «старший офицер».

Последовала пауза в три-четыре секунды – и к далекому, равнодушному небу понеслась последняя молитва обреченных. Простые, грубые голоса матросов звучали трогательно и наивно, сжимая сердце острой тоской. Я взглянул на отца.

Он искренно, горячо молился. Он молился за Россию, за своих матросов, вверившихся ему, чьи жизни он должен был спасти, за правое, народное дело, которое взялся защищать, за меня, за себя... Крупные, тяжелые слезы текли по его худому, изможденному лицу, но он не вытирал их, не замечая...

Мучительная жалость к отцу и матросам овладела мной. Глаза защипала, горло сдавила спазма, и две едких слезы обожгли мои щеки.

Царствуй на славу нам,
Царствуй на страх врагам,
Царь православный. –

Пронеслись и расстаяли в воздухе звуки величественного гимна, спетого матросами мятежного крейсера.

«Ave, Caesar, morituri te salutant!» – невольно пришло мне в голову.

– Накрой-сь!

«Командир» «Очакова» Частник пошел по фронту, отдавая распоряжения, а отец, тряхнув головой, вытер глаза кончиками пальцев и обнял меня за плечи.

– Помолились – и на душе легче стало. Идем пить чай с сухарями. Команда для нас постаралась и раздобыла где-то сухарей.

Мы вернулись в залу и присели к столу, на котором успел появиться небольшой никелированный самовар с чайным прибором и корзинкой сухарей.

– Однако, порядки у тебя ничем от старых не отличаются, – заметил я отцу, наливая по стакану себе и ему. – Впрочем, это очень хорошо.

– Еще бы! Самое главное, брат, не дать матросу заметить, что он вышел из привычной рутины, выбит, так сказать, из колеи. Тогда он будет спокоен и тверд душой, сознавая, что все остается по-старому, что он подчиняется привычным ему нормам, тянет все ту же военную лямку, соблюдает все те же, положенные Морским Уставом, церемонии и обряды.

И невольно он укрепится в уверенности, что ничего противозаконного не совершает, а, наоборот, свято «сполняег» присягу своему царю.Внешние формы, брат – великое дело. Военная служба ими только и держится.

Через 11 лет я понял всю глубину этой простой истины.

– Как с захватом судов? – задал я отцу нескромный вопрос.

– Пока никак. В 10 часов поднимаю красный и адмиральский флаги, с сигналом о командовании Флотом. После соблюдения формальностей, вступив, так сказать, «официально» в должность «Главного Командира», я смогу требовать подчинения себе на «законном» основании. Но вот что мною уже сделано.

Отец вынул из кармана лист почтовой бумаги и протянул мне. На листе было написано его рукой: «С.-Петербург, Его Императорскому Величеству. Славный Черноморский Флот, свято храня верность своему народу, требует от Вас, Государь, немедленного созыва Учредительного Собрания*) и перестает повиноваться Вашим министрам. *Командующий Черноморским Флотом лейтенант Шмидт».*

– Телеграмма? – спросил я, пробежав глазами эти дерзкие строки.

---

*) В горячечной лихорадке событий отец легко мог не заметить редакционной оплошности приведенной телеграммы. Разумеется, «немедленно» созвать законодательный орган, да еще такой страны, как Россия, совершенно немыслимо. Отец подразумевал, конечно, только немедленное торжественное обещание созыва Учр. Собр. со стороны Императора Николая.

– Да. Только-что отправил.

Я задумался, взвешивая последствия телеграммы.

– Понимаешь, в чем суть? – продолжал отец. – Телеграмма, конечно, не окажет никакого действия в желаемом направлении, а вызовет, в лучшем случае, панику. «Действовать» будут факторы иного рода. Но если мы и погибнем – движению дан смысл и значение. Моя телеграмма – такая прокламация на всю Россию, какой ни одному эс-эру не написать. А вот и еще.

Отец показал небольшой, в виде афишки, отпечатанный листик. На афишке стояло:

«В случае насилий со стороны казаков над мирным населением в городе, я буду вынужден принять решительные меры. Командующий Черноморским Флотом гражданин лейтенант Шмидт».

– Ну, вряд ли это остановит казаков Меллер-Закомельского, – усомнился я. – Кроме того, какие же «решительные меры» ты имеешь с виду?

Отец не успел ответить. В залу поспешно вошел Частник.

– Петр Петрович, показалось пассажирское судно. Не задержать ли?

Отец вскочил.

– Обязательно. Среди пассажиров может оказаться весьма нежелательный элемент. Приготовьте миноносец, сам пойду осматривать публику.

– Идем на палубу, – предложил мне отец. – Сейчас подымется занавес, и представление начнется. Каков будет конец – не скажу, но что у тебя найдется, чем сегодняшний день помянуть, – за это ручаюсь.

Я поднялся с отцом на капитанский мостик, бывший в течение всего незабвенного дня 15 ноября 1905 г. (кроме полутора часов боя) моим неизменным наблюдательным пунктом. Солнце взошло уже довольно высоко. Гладков угадал: день обещал быть солнечным и почти жарким. Панорама очаровательного городка

раскинулась предо мной во всей своей пленительной красоте. С корабля отчетливо виднелись кишащие народом улицы Севастополя. Народ то собирался в кучки – митинговал, то расхаживал большими организованными толпами – «демонстрировал». Над головами, кое-где, развевались красные флаги.

Мы облокотились на борт и залюбовались красивым зрелищем. Отец, словно предчувствуя, что последний день видит свой Севастополь, смотрел на него жадно, не отрываясь.

– Какая прелесть! – вырвалось у него. – И в такой волшебно-прекрасной рамке творится столько безобразий!

К отцу подошел унтер-офицер, начальник караула над арестованными морскими офицерами, к которым сегодня прибавилось несколько сухопутных полковников и три генерала. Армейцев привезли на борт «Очакова» с берега.

– Ваше высокоблагородие, – доложил караульный начальник, – так что один из арестованных господ генералов просит эту самую записку домой доставить.

И часовой протянул отцу клочок бумаги. В эту минуту номерной миноносец подошел к правому борту «Очакова», отец поспешно сбежал вниз, пересел на миноносец и помчался навстречу пассажирскому пароходу, находившемуся от нас не дальше, как в двух кабелътовах.

Караульный начальник все еще держал в руках записку арестованного генерала, не зная, как поступить, и я попросил унтер-офицера дать мне ее прочесть.

– Сделайте ваше одолжение, – с удовольствием согласился унтер. – Может, папаше потом передадите, а они решат, посылать, или как.

– Хорошо.

Унтер ушел, а я развернул записку – целое письмо – генерал писал своим многочисленным чадам. В довольно слезливом тоне он сообщал о своем аресте и просил детей молиться за своего «бедного папу». Жалкое письмо это меня очень тронуло и, решив, при случае, замолвить перед отцом слово за пленного генерала, я

сунул письмо в карман и стал отыскивать глазами миноносец, на котором ушел отец. Миноносец уже стоял борт о борт с пароходом; в подзорную трубу, по черной, с золотом и красным, тужурке, я легко распознал на палубе парохода своего отца. Скоро к нам донеслось глухое «ура».

«Ого», подумал я, «нашего полку прибыло». В сопровождении большой группы людей отец вернулся на миноносец и пустился в обратный путь. Судно же, оказавшееся пассажирским пароходом Русского Общества «Пушкиным», отдало якорь и остановилось в виду Севастополя.

Когда миноносец подошел к «Очакову», я увидал, что группа людей состояла из нескольких десятков пассажиров «Пушкина». Отец, взойдя на палубу «Пушкина», объяснил в двух словах положение дел в Севастополе и, извинившись перед пассажирами, попросил их отправиться на адмиральский корабль для краткого опроса. Поняв из слов отца, что революция проникла и в Черноморский Флот, пассажиры разразились бурным «ура» и беспрекословно повиновались новоявленному главе вооруженных сил Черного моря. По прибытии на «Очаков», отец опросил пассажиров и, убедившись, что «подозрительных» среди них нет, ознакомил с политической обстановкой, придав своему сообщению несколько оптимистическую окраску.

Выходило, что все суда и весь гарнизон готовы поддержать требование «Очакова» и морских казарм о созыве Учредительного Собрания. Ошеломленные пассажиры пришли и неистовый восторг и снова грянули «ура».

После сего, пожелав своим недолгим гостям всяческого благополучия, отец предложил им вернуться на «Пушкин», и через минуту тот же миноносец отвез обратно всех пассажиров, кроме двух друзей, студентов Новороссийского университета, Пятина и Моишеева. Друзья, ехавшие в Севастополь по приглашению знакомых семейств репетиторами, после сообщения отца внезапно изменили планы и предложили отцу свои услуги в качестве активных работников.

Отец согласился, предупредив, что гарантировать им мирный исход восстания не может; в Севастополь прибыл карательный отряд Меллер-Закомелъского и возможно прибытие новых частей правительственных войск из других местностей Империи.

Предостережение отца, однако, не остановило двух неофитов. Они остались на «Очакове» и пробыли на нем до конца. После подавления восстания их судили вместе с матросами-очаковцами и приговорили к 10-летней каторге. По дороге в Сибирь студенты бежали и добрались до Финляндии.

Там друзья попали в новую передрягу, примкнув к Свеаборгскому восстанию. На этот раз участие в мятеже им обошлось дороже. Они были схвачены вторично, судимы военно-полевым судом, приговорены к смертной казни и расстреляны.

В 10 ч. утра состоялась церемония поднятия красного флага*) и сигнала: *«Командую Флотом. Шмидт»*, сопровождавшаяся пушечным выстрелом. Перед подъемом отец сказал команде несколько подобающих слов, которых, по дальности, я не расслышал. До меня долетели только отрывки фраз: «знамя свободы» и «с нами Бог». Когда ветер затрепал на фокмачте «Очакова» кусок красной материи, с Приморского бульвара явственно донеслось «ура». Улицы Севастополя, наблюдаемые мною в сильную морскую трубу, превратились в настоящий бедлам. Люди окончательно посходили с ума и замитинговали разве что не на крышах. Красные флаги появились на таких пунктах, где, кажется, им совсем было не место, – на деревьях и заборах.

Даже матросы с явной насмешкой смотрели на беснование «сознательных граждан». «Сдурели они, что ли!» – с недоумением пробормотал стоявший рядом со мной молодой матрос-сигнальщик.

«Очаков» готовился к решительной схватке. Из Южной бухты, рассекая волны, под красным флагом, к нам приближался эс-

*) Кормовой Андреевский флаг развевался на «Очакове» до конца восстания.

кадренный миноносец «Свирепый». На нем отец должен был освободить заключенных на «Пруте» потемкинцев, а потом обойти эскадру, броненосец за броненосцем, приглашая команды последовать примеру «Очакова». С этого момента до самой катастрофы мне только изредка удавалось перекинуться с отцом парою слов. Девятый вал понес в пропасть его утлую ладью, и отцу оставалось следить лишь за тем, чтобы порывом все разраставшегося урагана не опрокинуло ее в бушующие волны ранее исторически-неизбежного падения в бездну.

«Свирепый» подошел к «Очакову», чтобы принять «Главного Командира». Очаковцы засуетились. На носу «Свирепого» расположились музыканты; отряд в 30 человек вооруженных матросов частью поместился на корме, а частью окружил капитанский мостик. Лица у всех были серьезные и сосредоточенные; шаг предстоял опасный и рискованный: задача освобождения потемкинцев могла оказаться не под силу одинокому контр-миноносцу с ничтожным по численности отрядом, а объезд всей эскадры, по своей безумно-дерзкой отваге, мог сравниться только с подвигом лейтенантов Дубасова и Шестакова, атаковавших на утлых катерах своих три турецких броненосца, и кончиться для мятежных храбрецов поголовной гибелью.

Когда все было готово, отец быстрыми шагами направился к трапу и стал спускаться на миноносец. Тут я не выдержал и со всех ног бросился на нижнюю палубу.

– Стой! – закричал я не своим голосом. – Возьми меня!

– Нельзя, голубчик, – мягко отклонил отец мой порыв. – Фигура реалиста может испортить все впечатление – слишком она будет комична. А сейчас мы должны бить по психологии. Ступай, мне нет времени тебе объяснять.

Я печально стал смотреть, как отец взошел на мостик, «Свирепый» плавно отделился от «Очакова» и, при звуках бравурного марша «Под двуглавым орлом», развивая ход, взял направление на Килен-бухту, место стоянки «Прута». Фигура отца резко выделялась на высоком капитанском мостике, сохраняя одно и

то же положение; наконец, миноносец взял влево и скрылся за «Ростиславом».

Я побродил по палубе, послушал матросские разговоры и, не находя себе места, вернулся в залу. Часовой был из нового караула и видел меня, очевидно, впервые – пустил не сразу. С трудом втолковал ему, что я – сын «Главного Командира» и живу вместе с отцом. В огромной зале мне сделалось еще тоскливее. Не скажу, чтобы меня мучила особенная тревога; ужас, от которого волосы шевелятся на голове и темнеет в глазах, я пережил в кабинете отца на Соборной и не боялся теперь ничего. Я знал конец и приготовился к нему.

Но тоска, смертельная тоска по такому близкому, но уже невозвратному прошлому, по нашей мирной, бесконечно счастливой и уютной жизни, по тихим вечерним беседам, которые уже никогда, никогда не вернутся, разрывала мне сердце.

Я зашел в спальню отца, присел на кровати, постоял перед зеркалом, потрогал его вещи – головную щетку, мыло, флакон с одеколоном, расположенные на туалетном столике, схватился за волосы и зарыдал.

X

«Свирепый», под несмолкаемые крики «ура» мятежных очаковцев и перемежавшиеся воинственные звуки оркестра, игравшего Преображенский марш, обходил по борту, вплотную, малым ходом все броненосцы Черноморского Флота.

Народу на палубе «Спирепого» значительно прибавилось; на миноносце находились теперь освобожденные отцом потемкинцы и арестованные им же офицеры транспорта «Прут».

С броненосцев «Свирепому» что-то кричали, но что именно – определить я не мог даже приблизительно. Одно можно было сказать с уверенностью – эти крики не имели ничего общего с характерным «ура». Только при прохождении мимо «Потемкина» и «Георгия Победоносца», «Свирепый» встретили оглушительным

и несомненным «ура». Через 5-10 минут на фок-мачтах последних броненосцев взвились красные флаги. Ликование очаковцев «не поддавалось описанию», хотя в действительности вряд ли имелись к тому основания.

Все суда, кроме «Ростислава» и «Синопа», представляли собой беззащитную мишень, не будучи в состоянии сделать ни одного выстрела из обезвреженных Чухниным орудий, и поднятие красных флагов на «Георгие» и «Потемкине» носило, поэтому, исключительно моральный характер. Ликование, таким образом, следовало отложить до взятия красными арсенала и вооружения присоединившихся судов.

Обойдя все броненосцы, «Свирепый» стал возвращаться к «Очакову». Когда я разглядел в трубу лицо моего отца, то поразился его выражению. Смертельно бледное, оно искажалось неестественной, страшной улыбкой.

Отца и потемкинцев команда встретила продолжительными овациями. Вид у потемкинцев был довольно жалкий – бледный, истощенный, забитый. Они, вероятно, чувствовали себя дико; поминутно кланялись и просили «землячков» отпустить их на берег «до начальства».

Их просьбу скоро исполнили; на двух номерных миноносцах освобожденных «героев» высадили на пристань Минной бухты, откуда они явились добровольно к генералу Неплюеву. Своим поступком потемкинцы значительно облегчили свою участь, ибо не могли же судьи не принять во внимание такой «лояльности» и не сбавить наказание на несколько степеней…

Вслед за потемкинцами на палубу «Очакова» поднялись арестованные офицеры «Прута». Отец приказал поместить их в большую каюту, служившую прежде караульным помещением.

Офицеры бодрились, хотя у многих на сердце, понятно, скребли кошки. Я с состраданием и жгучим стыдом смотрел, как наши матросы довольно невежливо шарили и ощупывали их карманы в поисках оружия.

После обыска пленников повели куда-то вниз. Офицеры шли молча, опустив головы, и только один из них, толстый лейтенант с заплывшими жиром глазами, из которых текли обильные слезы, громко и откровенно всхлипывал, все порываясь убедить в чем-то одного из конвойных, на что тот нетерпеливо отмахивался. «Вот так офицер!», подумал я с удивлением.

Разместив арестованных, отец, шатаясь от пережитых потрясений, вошел со мной в адмиральское помещение и повалился на диван. Я еще ничего не успел сообразить, как следом за ним почти вбежали Пятин и Моишеев.

Студенты превосходно освоились с обстановкой, с полуслова понимали приказания отца и добились своей энергией и деловитостью уважения и послушания команды.

Отец лежал на диване, спрятав в руки лицо; его плечи судорожно вздрагивали. Я растерянно стоял над ним, беспомощно озираясь по сторонам.

– Вашему папе нехорошо, – обратился ко мне Пятин. – Сядьте рядом с ним, приласкайте его. Аптечка на корабле имеется?

– Право, не знаю, – ответил я с отчаянием.

– Должна быть, – решил Пятин. – Пойду, поищу. А ты, – повернулся он к Моишееву – побудь здесь. Можешь еще понадобиться.

Моишеев осторожно опустился на стул, а я присел к отцу на диван и стал тихо гладить его по голове.

При моем прикосновении плечи отца затряслись еще сильнее, а из груди его вырвалось страшное рыдание:

– Я душу свою готов положить за них, иду ради них на Голгофу, на верную смерть, а они меня проклинали!..

И отец забился в истерике.

В дверях показалось испуганное лицо часового. Из-за его плеча выглянуло еще несколько встревоженных матросских физиономий.

– Закройте дверь, – повелительно кинул мне Моишеев, торопливо наливая стакан воды.

Я бросился выполнять его приказание.

– Необходимо скрыть от команды припадок Петра Петровича, – шепотом продолжал Моишеев, стараясь заставить отца выпить воды. – Чтобы ни один человек не знал. Иначе – все погибло!

– Давно все погибло. Неужели вы не видите! – воскликнул я с упреком.

– Т-с! – остановил меня Моишеев, указывая глазами на отца.

Отец постепенно приходил в себя. Выпив еще стакан воды, он вытер глаза платком и виновато посмотрел на нас.

– Нервы сделались, как у бабы, – сконфуженно проговорил он, стараясь улыбнуться. – Три ночи не спал, питался подобно святому Антонию – и вот результаты.

– Вам надо отдохнуть, Петр Петрович, – серьезно сказал Моишеев. – Вы не имеете права так небрежно относиться к своему здоровью. На вас лежит слишком много ответственности – успех дела и жизнь тысяч людей.

– Потому-то я и не могу отдыхать ни минуты, – ответил отец, поспешно подымаясь. – Прикажите, голубчик, усилить десант на «Свирепом» до 50 человек. Сейчас «атакую» «Потемкина». Надо ковать железо, пока горячо – пока там висит красный флаг.

– Есть! – молодцевато откликнулся бравый студент, щеголяя знанием морского устава.

В дверях Моишеев столкнулся с Пятиньм, спешившим к отцу со склянкой в руках.

– Чтоб тебя! – огрызнулся Пятин на своего друга. – Чуть лекарства не уронил. Выпейте, Петр Петрович, – обратился он к отцу, бухая в стакан добрую чайную ложку валериановых капель. – Еле нашел. Насчет медикаментов дело обстоит у вас неважно. Это скверно, Петр Петрович; мало ли что может случиться. Необходимо озаботиться приведением вашей медицинской части, так сказать, в боевую готовность.

– Знаю, родной, – согласился отец, глотая лекарство. – Да не до того теперь! На вулкане сидим, не знаем, что будет через пять минут, так где уж тут о докторах думать!

– Готово, Петр Петрович, – доложил, входя, Моишеев. –

Все люди на местах; команда «Потемкина» с нетерпением ждет вас – кричит и машет шапками.

– Иду! – отозвался отец, нахлобучивая фуражку и кладя в карман браунинг, лежавший на маленьком столе. От его припадка не осталось и следа. Он снова был свеж, бодр, молод, готовый с геройским самоотвержением продолжать безнадежную борьбу.

– Ничего, брат, – хлопнул он меня по плечу, направляясь к выходу. – Все образуется!

Я и студенты последовали за отцом на палубу, провожая его на новый риск и опасности.

Весь «Свирепый», от носа до кормы, ощетинился штыками морской пехоты. При появлении отца, с обычным наружным спокойствием, бесстрашием и уверенностью в движениях, загремело единодушное «ура».

Мятежники с радостью убедились, что их предводитель не изменился и, по-прежнему, готов жить и умереть с ними. Слухи о припадке отца, вероятно, успели распространиться среди матросов, сея понятную тревогу и угрожая паникой.

«Ура» очаковцев подхватила команда «Потемкина», и начало вторичного «рейда» отца на «Свирепом» сопровождалось настоящим триумфом. Я опять взошел на капитанский мостик и стал следить за эволюциями «Свирепого». Голову, в то же время, сверлила мысль: «Что причиной истерики?».

В момент припадка у отца вырвалось, что его проклинали. Но кто, когда, при каких обстоятельствах – оставалось для меня темным.

– Разрешите на минутку трубочкой попользоваться, – услышал я сзади себя знакомый голос. Я обернулся и увидел Гладкова.

– Послушайте, Гладков, – обратился я к нему с внезапно мелькнувшей мыслью – вы не ходили вместе с папой на «Прут»?

– Так точно, ходил. До смерти не забуду. Картина была.

– Расскажите мне все, с мельчайшими подробностями. Очень прошу вас, пожалуйста!

– С большим удовольствием. Событие, можно сказать, историческое, в учебники средних учебных заведений попадет.

И Гладков приступил к рассказу сначала спокойно, затем все более и более воодушевляясь. Вот как произошло освобождение потемкинцев и все последующее.

Застопорив «Свирепого» у правого борта транспорта «Прут», отец приказал морской пехоте оставаться на месте и один поднялся по трапу на транспорт. Его встретили растерянные лица офицеров и довольные рожи «матрозни». Взяв под козырек, отец обратился к единственному капитану 2-го ранга с вопросом, не он ли является командиром «Прута».

Получив утвердительный ответ, отец заявил, что пришел освободить заключенных на «Пруте» участников потемкинского мятежа и что только смерть может помешать ему привести свое намерение в исполнение.

– Вы можете убить меня, – сказал отец окружавшим его офицерам, – и я даю вам честное слово русского моряка, что мои матросы не тронут вас. Если не верите, могу их спросить при вас.

Вслед за этими словами отец перегнулся через борт и крикнул матросам «Свирепого»:

– Молодцы, вы обещали никого не трогать, если меня здесь убьют. Помните?

– Так точно, ваше благородие, никого не тронем. Пусть будут благонадежны, – загалдело несколько голосов*).

– Слышите? – обернулся отец к офицерам. – Итак, убить меня вы можете безнаказанно, но арестовать матросы меня не позволят. Таким образом, у вас два выхода: убить, меня и тем самым помешать освобождению потемкинцев, и оставить меня в живых, открывая дорогу к камерам арестованных. Предупреждаю, господа, что, освободив потемкинцев, я буду принужден арестовать вас самих. Выбирайте. Даю вам 5 минут.

---

* В «обещании» матросов «Свирепого» позволительно, конечно, сомневаться.

Отец вынул часы и терпеливо стал следить за минутной стрелкой.

Офицеры тревожно зашептались, поглядывая то на своих матросов, то на десант «Свирепого». Не прийдя ни к какому определенному заключению относительно действий той и другой стороны в случае активного сопротивления отцу, офицеры решили «подчиниться силе» (на «Пруте» было около 150 человек команды против 50 матросов «Свирепого»!) и не оказывать никакого сопротивления освобождению потемкинцев.

О таком решении г.г. офицеров «Прута» и было сообщено моему отцу. Тогда отец, в сопровождении командира «Прута», спустился в трюм – место заключения потемкинцев – и велел караульному начальнику открыть все камеры.Караульный начальник беспрекословно повиновался. Отец входил в каждую камеру и объявлял заключенному, что он свободен, может выходить из камеры и садиться на пришедший за ним и его товарищами красный миноносец.

Удивленные потемкннцы нерешительно подымались наверх и пересаживались на «Свирепый», не обнаруживая при этом особенной радости. Когда последний из освобожденных покинул свою плавучую тюрьму, отец жестом пригласил офицеров «Прута» последовать примеру их бывших арестантов. И офицеры покорно повиновались.

Интересная для характеристики морских порядков того времени и адмирала Чухнина деталь: *ни один из офицеров «Прута» нс был предан военно-морскому суду за ни чем, кроме трусости, необъяснимое преступление бездействия власти в момент нахождения местности на военном положении».*

Первую часть программы отец выполнил. Оставалась вторая. «Свирепый» направился к Главному рейду, к линейным кораблям и, малым ходом, по-борту, стал поочередно обходить все броненосцы.

Стоя во весь рост на капитанском мостике, отец громко предлагал офицерам и команде кораблей застрелить его, если они на-

ходят его деятельность вредной для России, или же присоединиться к нему, если его поступки им кажутся правильными.

Ответ линейных кораблей не замедлил последовать. Он показал всю преступность кучки не признающих отечества «партийных недоумков», подбивших несчастных матросов на ряд гибельных для них безумств, и всю правоту моего отца, умолявшего повстанцев не медлить ни минуты и ликвидировать свой мятеж, доказывая его полную неподготовленность и несвоевременность.

«Чесма», «Екатерина II», «Три Святителя» и «Двенадцать Апостолов» встретили отца гробовым молчанием. «Ростислав» и «Синоп», штаб и средоточие правительственных сил, устроили встречу, вполне оправдывающую доверие к этим судам адмирала Чухнина.

Борты «Ростислава» и «Синопа» облепили офицеры и надежные сверхсрочнослужащие кондуктора и боцмана. Команду частью упрятали в трюм, частью отодвинули на задний план. Таким образом, отец оказался лицом к лицу с одними врагами. Ему не дали говорить и обрушились на него потоком ругани, проклятий и издевательств, грозили кулаками, показывали кукиши и языки. Месяц спустя, в очаковском каземате, отец признался мне, что ему особенно запомнилась фигура одного пожилого кондуктора, бубнившего, как заведенная машина, басисто и однотонно: «Будь проклят, изменник, будь проклят, изменник, будь проклят, изменник». Вероятно, в чаянии многих и богатых милостей, усердный службист исполнял чье-то определенное задание. Шум, поднятый ставленниками Главного Командира, лишил отца возможности переговорить с командой единственных, кроме «Очакова», вооруженных линейных кораблей. Вспоминая в крепости фигуры боцманов, с высунутыми языками и протянутыми кукишами, отец смеялся до слез, но в момент, решавший судьбу восстания, ему было совсем не до смеху. Нервы, истрепанные 4-дневным хождением по канату над пропастью, не вынесли жестокого удара, а платонические овации «Потемкина» и «Георгия Победоносца» не могли, конечно, сгладить убийственного впечатления от сфабрикованного ему

Чухниным приема. Отец крепился на виду всей эскадры, но, сойдя с капитанского мостика, дал волю душившим его отчаянию и тоске.

«Свирепый», во время рассказа Гладкова, успел пристать к «Потемкину», и там царило теперь необычайное оживление. Слышались то крики «ура», то взрывы протестующих голосов. Внезапно раздался револьверный выстрел. Сердце у меня замерло. «Отец!». Очаковцами овладела безумная тревога, они забегали по палубе, не зная, что предпринять. Одна мысль остаться без предводителя приводила их в исступление. Кричали, что нужно к «Потемкину» послать миноносец с заряженным минным аппаратом и пустить в броненосец мину, если с отцом случилось несчастье. Но скоро наша тревога улеглась. «Свирепый» быстро приближался к «Очакову», и на капитанском мостике по-прежнему отчетливо возвышалась фигура отца.

Вторая партия арестованных офицеров оказалась значительно более первой – человек в 20-25. Всех пленных на «Очакове» скопилось около 70 человек; их соединили и, по приказанию отца, привели к нам в адмиральскую залу. Очевидно, отец собирался о чем-то с ними переговорить.

Офицеры, без конвойных, один за другим, входили и располагались по всему помещению отдельными группами; сесть никто не решался. Я присел к круглому, стоявшему особняком, столику.

Что думали офицеры в ожидании выхода к ним отца – составляет, конечно, их тайну, но держались они с таким видом, как будто все, что с ними случилось – арест нескольких десятков представителей «белой кости» одним больным отставным лейтенантом и доставка их, подобно связанным баранам, на борт мятежного крейсера, без звука протеста со стороны хотя бы одного из арестованных – в порядке вещей, не кладет ни малейшего пятна на их офицерскую честь и не может подвергнуть их храбрость и мужество никакому сомнению.

Я с детства жил в морской среде и настолько хорошо ознакомился с ее нравами, принципами, обычаями и взглядами, что давно привык считать понятия г.г. офицеров Российского Фло-

та 1890-1900 годов о чести, достоинстве и долге несколько отличными от общепринятых. Тем не менее, поведение арестованных офицеров на «Очакове» 15 ноября 1905 г. меня поразило. Во всяком случае, «герои» подавления севастопольского мятежа не имели ничего общего с героями Чесмы, Наварина и Малахова Кургана; с героями Цусимы – пожалуй. И нет нужды в пристрастно-враждебном отношении для подобного заключения. Факты говорят сами за себя.

Отец вошел в залу и, сделав общий поклон, попросил офицеров садиться, сам заняв место во главе большого обеденного стола. Часть офицеров уселась по обе стороны отца, за тем же столом, часть разместилась по креслам и диванам. На меня никто не обращал внимания. Только один совсем молодой мичман, с которым я сыграл однажды летом на Мичманском бульваре партию в теннис, узнал меня, подошел, пожал руку и, улыбаясь, прошептал: «Вот так встреча! Charmé de vous voir!».

Лица офицеров были бледны и взволнованны; они угадывали содержание предстоящей беседы и заранее готовились к худшему.

Когда все расселись, отец немного помолчал, затянулся папироской и произнес свою речь офицерам Черноморского Флота, о которой потом ходило столько перевранных и извращенных рассказов.

– Господа офицеры, – начал отец, – я позвал вас сюда, чтобы ознакомить с положением вещей. Суть дела такова. Крепость, казармы, Брестский полк и часть судов на стороне народа (отец не знал, что как раз в этот миг пехота и артиллерия ему изменяли). Надеюсь, что скоро вся эскадра перейдет на ту же сторону. Но даже если бы сего в ближайшие дни и не случилось, мы все же останемся господами положения. Крепостная артиллерия в несколько минут может стереть в порошок враждебные народу суда. Генерал Меллер-Закомельский бессилен против нас что-либо предпринять; войска его для этого слишком малочисленны и ненадежны. Думаю, сегодня или завтра они присоединятся к революционным флотским казармам. Мною уже послана Государю

Императору телеграмма от лица Черноморского Флота, с требованием созыва Учредительного Собрания. Если ответа или согласия на нее не последует, и бюрократия и на этот раз станет между Царем и его народом, то я отрежу перешейки и запрусь в Крыму вместе с верными народу Черноморским Флотом и сухопутными частями.

Оставаясь непоколебимо верными своей присяге, данной Государю Императору, как Отцу Отечества и Верховному Вождю Армии и Флота, мы до последнего издыхания будем бороться с его правительством и не сойдем со своего поста, пока наше требование не будет удовлетворено или пока мы не ляжем костьми (отец буквально так и выразился: «ляжем костьми»).

Отец сделал небольшую паузу, чтобы судить о впечатлении, произведенном его речью.

Увы! Лица г.г. офицеров ничего не выражали, кроме одной единственной мысли: «Как бы нам выпутаться из этой грязной истории?». Они вряд ли даже вслушивались в то, что говорил им отец. Последний, между тем, продолжал:

— Вот, господа, положение вещей. Теперь я спрашиваю вас: не найдется ли среди вас желающих примкнуть к движению, возглавляемому мной? Я не обещаю никаких наград, кроме признательности потомства, риска же скрывать не буду – он огромен. Правительство рано или поздно раздавит нас, если Крыма никто не поддержит. Но счастье и благоденствие Отечества важнее последнего соображения. Не так ли, господа? Ни о каком давлении или насилии с моей стороны не может быть и речи. Каждый из вас совершенно свободен в своем решении. Итак, я жду, господа, вашего ответа.

Отец кончил. Наступило гробовое молчание. Прошла минута, две, три... На лицах офицеров читалась все та же томительная неотступная мысль: «Господи, пронеси!».

Не дождавшись ответа, отец встал, наконец, из-за стола и холодно проговорил:

– Я больше вас не задерживаю, господа. Можете идти. И, вдогонку, прибавил:

– Сейчас вам подадут обед.

Последнее известие произвело на наших пленников чрезвычайно отрадное впечатление и значительно подняло их настроение. Они оставили адмиральское помещение, оживленно переговариваясь; кое-где послышался смех.

Такова натура человеческая.

Когда мы с отцом остались одни, я спросил его про слышанный мною выстрел. Отец сидел в грустной задумчивости, опустив голову на руки, и я должен был повторить свой вопрос.

– Выстрел?.. Так, пустяки. Нечаянно разрядился браунинг... Но каковы офицеры!..

Отец, в волнении, хрустнул пальцами.

– Не нашлось ни одного мужественного человека, чтобы присоединиться ко мне, если он нам сочувствует, или же высказать мне в лицо свое возмущение, если мои деяния он находит преступными. Ты подумай, ни одного!

Отец безнадежно махнул рукой и, резко оборвав, докончил:

– Давай обедать.

Дежурный вестовой подал довольно дрянной обед, состоявший из жиденького бульона и пары жилистых рубленых котлет. Обед проходил в тяжелом молчании.

Мы оба чувствовали начало конца, не зная еще ничего об измене крепостной артиллерии (в чем мы убедились слишком поздно, именно – когда крепость стала садить по «Очакову» 10-дюймовыми снарядами); душевный гнет делался невыносимым и безошибочно предупреждал о надвигавшейся, с каждой секундой, катастрофе.

И катастрофа разразилась.

XI

Шел третий час. Обед подходил к концу. Я вяло ковырял вилкой котлету, поглядывая на осунувшееся лицо отца и соображая, сколько дней или, вернее, часов выдержит его организм. «Что мне делать с ним, когда он свалится?», проносилось в голове. «Куда укрыть, как защитить? Бежать? Но на чем?».

Издалека донесся какой-то звук, на который я не обратил внимания. Но отец, изменившись в лице, вскочил и бросился на палубу. Я с недоумением смотрел ему вслед, пока звук не повторился, и я не распознал орудийного выстрела.

«Началось», подумал я, вставая. «Конец. Ну, и слава Богу».

Но это была только прелюдия.

Я вышел на палубу и, первым делом, взглянул на рейд. Там все оставалось по-старому. На фок-мачтах «Очакова», «Потемкина», «Георгия Победоносца», «Прута», «Кубанца», «Свирепого» и пяти номерных миноносцев развевались красные флаги; на фок и бизань мачтах остальных судов – Андреевские. «Ростислав» вывесил целых три Андреевских флага, не считая кормового. По рейду скользило бесчисленное множество миноносцев, шлюпок, яликов, баркасов и катеров, под парусами, под парами и на веслах. Улицы Севастополя, особенно Приморский бульвар, продолжали кишеть толпой и пестреть красными флагами и плакатами. Одним словом, с внешней стороны ничего не изменилось. Но, вглядевшись внимательно, я заметил нечто новое в самом характере движения на рейде.

Спокойные прежде эволюции мелких судов в разных направлениях превратились в поспешное бегство от одного, по-видимому, опасного пункта на Южной бухте.

На палубе «Очакова» волнение, увеличивавшееся с каждой секундой, подтвердило мне, что случилось неладное.

Матросы беспорядочно суетились, перегибались через борт, слали проклятия, грозили кулаками в пространство. Отца не было видно; я пошел его искать и наткнулся на Антоненко.

– Скажите, товарищ, что случилось? – спросил я высокого красавца, к которому почему-то с первой же встречи почувствовал особое доверие.

– Второй наш баркас потопили, барчук, – мрачно ответил Антоненко. – Который с провизией для команды ишел.

– Кто потопил?

– С «Сакена» стреляли, сукины дети. Ка-ак звизданули!.. Баркас напополам, матросов – которых поубивало, которые до берега доплыли. Беда! Его благородие таперя распоряжаются. Осерчали – страсть!

Ко мне, действительно, стали доноситься гневные раскаты отцовского голоса. Я бросился по направлению, откуда он исходил, и нашел отца в дежурной каюте, у дверей которой стоял часовой. Там была размещена большая часть арестованных офицеров. В ту минуту они сидели за обедом и, после супа, ждали второго блюда. Отец в неописуемом гневе стоял в дверях каюты и надрывался от крика.

– Вам принесут сейчас чернил и бумаги! – кричал отец. – Слышите? Советую писать немедленно! Пишите, что ваша жизнь, жизнь 70 человек, в моих руках! Пишите, что за каждого убитого на берегу или в море моего матроса будет отвечать головой один из вас. Поняли?

В этот момент в каюту вошел вестовой с огромным блюдом котлет.

– Назад! – крикнул ему отец. И, обращаясь к офицерам, пояснил: – Господин Чухнин потопил наш баркас с провизией. Поголодайте и вы! Эти котлеты съедят мои матросы.

Лица у бедных офицеров вытянулись; видно, они сильно проголодались.

Вестовой унес блюдо обратно; вместо котлет офицерам принесли письменные принадлежности, и пленники, не медля, принялись за составление писем-рапортов к начальству.

Перед уходом, отец обернулся и повторил еще раз:

– Помните: за одного матроса – одни офицер, за десять матросов – десять офицеров*). Пишите!

Громко захлопнув за собою дверь, отец побежал на спардек. Я двинулся, было, за ним.

– Ступай в залу! – грозно прикрикнул на меня отец. – сиди там. Наверху тебе делать нечего.

Я хотел заметить отцу, что на корабле шансы быть убитым везде одинаковы, но ничего не сказал и вернулся в залу, время от времени выходя на палубу и наблюдая за отцом.

Отец кидался во все стороны, стремясь спасти вверившиеся ему жизни, и с отчянием сознавая всю безнадежность своих попыток. Единственным средством спасения было бегство, бегство во что бы то ни стало. Пары «Очаков» развел с утра, но они так и остались неиспользованными. Почему? Вполне понятно. Когда крепость еще не изменяла, и бегство было возможным, оставить на произвол судьбы флотские казармы отец считал такой подлостью, которая его и команду «Очакова» покрыла бы несмываемым позором. После же измены артиллеристов, когда ничего другого не оставалось, как спасать то, что еще можно было спасти, бегство на «Очакове» оказалось уже совершенно немыслимым.

Вестовой внес на подносе два стакана чая. Следом за ним шел отец. Губы его еще дергались судорогами гнева, боли и отчаяния. Мы присели к столу, взяли стаканы и задумались, каждый, вероятно, об одном и том же. Я долго не решался заговорить с отцом в том состоянии, в каком он находился, но, наконец, не выдержал и спросил:

– Зачем ты угрожал тем, чего никогда не исполнишь?

– Чтобы иметь лишний шанс спасти матросов, – сухо ответил отец.

– Их много у тебя... этих шансов? – продолжал я с запинкой, сознавая, что надо пожалеть его.

---

*) Не знаю, стоит ли пояснять, что отец никогда бы не привел в исполнение свою угрозу.

Но отцу не суждено было ответить на мой вопрос. В залу вбежал белый, как полотно, сигнальщик. Он остановился посреди залы и, не снимая фуражки, прохрипел, задыхаясь, смотря на отца выкаченными глазами:

– Так что... ваше... орудия с «Ростислава» наведены...

– Прекрасно, – сказал отец совершенно спокойно, но сделавшись таким же белым, как и сигнальщик. – Навести и наши!

Потом, силясь улыбнуться, он дрожащей рукой провел по моей голове, хотел что-то сказать, но ноги сами вынесли его на палубу. Опрокинув стакан, я помчался за отцом.

На палубе уже начиналась паника. Люди, теряя голову, нестройно галдели и бессмысленно кружились по кораблю, словно выискивая место, куда бы спрятаться.

Несколько человек бросились к шлюпбалкам и лихорадочно разматывали канат, другие взлезли на ванты и, обернувшись к «Ростиславу», махали фуражками, надсаживаясь от крика: «Не стреляй, тудырастуды, не стреляй!» Какой-то молодой матросик, видно, только что от сохи, сидел прямо на палубе и, заткнув пальцами уши, вопил истошным голосом: «Братики, боюсь! Ой-ой, братики!».

Более мужественные и благоразумные (таких было ничтожное меньшинство) пытались водворить порядок, размахивая руками и что-то крича, но за общим шумом их никто не слышал; я видел только, как раскрывались и закрывались их рты.

При появлении отца шум постепенно затих. Взоры всех мятежников устремились на отца с жадной надеждой и горячей мольбой: «Спаси нас какою угодно ценой».

Отец понял их немой призыв. Черты его исказились от нечеловеческой муки. Он оглянулся и увидел спешившего к нему «командира» «Очакова», Частника, сохранившего, в числе немногих, полное самообладание.

– Сергей Петрович! – крикнул ему отец, с трудом справляясь с прыгающими губами. – Распорядитесь поднять сигнал: «Имею много пленных офицеров». Поторопитесь! – добавил он свистящим шепотом.

Частник со всех ног бросился исполнять приказание отца. Через несколько минут сигнал развевался на мачте «Очакова». Флаги трепались и полоскали под легким норд-остом, точно взывая о помощи. Одновременно у бортовых орудий «Очакова» засуетилась прислуга, приводя их в боевую готовность; скоро и с нашей стороны шесть черных стволов глядело на «Ростислав».

Отец расхаживал взад и вперед по палубе, успокаивая и ободряя матросов, ежеминутно повторяя: «С нами Бог, братцы, с нами русский народ!».

Но страх сковывал и мысли, и движения матросов, лишая их всякой способности к самозащите. Они застыли, мало-помалу, в неподвижных позах, с бледными, исковерканными животным ужасом, лицами.

Я поднялся на капитанский мостик и трясущимися руками навел подзорную трубу на «Ростислав».

Все орудия левого борта были наведены на «Очаков»; у каждого стояла прислуга. Но вот и кормовая башня с двумя 12-дюймовыми орудиями, стала медленно поворачиваться вокруг оси. Чудовищные стволы 12-дюймовок как бы нехотя нащупывали обреченную им жертву.

Я не выдержал, бросил трубу и кубарем скатился вниз.

Ноги мои не успели коснуться палубы, как на «Ростиславе» пробили боевую тревогу.

На «Очакове» наступила страшная тишина. Доживи я хоть до ста лет, не забыть мне этих последних мгновений перед началом «боя»!

Среди мертвой тишины послышались отчаянные крики и шум борьбы. Арестованные офицеры, догадавшись, в чем дело, бешено ломились и стучали в двери, охраняемые часовыми.

– Отворите!.. – раздавались их хриплые, исступленные, вопли. – Вы не имеете права!.. – Спустите красный флаг! – Часовой! Мы требуем вашего командира! – Позовите лейтенанта Шмидта! – Спасите! – На помощь!

Отец, одним прыжком, очутился у двери арестованных и распахнул ее настежь.

– Сейчас начнется бой! – загремел он. – Благодарите вашего Главного Командира! Он знает, что вы здесь, и плюет на вас! Часовые! Никого не выпускать!

– Есть, вашескородие! – старательно рявкнул один из часовых, бравый, молодой матрос, державшийся так, будто ничего не случилось. Он щелкнул затвором винтовки, досылая патрон, стукнул кулаком в захлопнутую отцом дверь, за которой продолжали раздаваться истерические вопли, и прикрикнул:

– Арестованные! Сиди смирно!

– О-о! – А-а! О-о! – Флаг! – Лейтенант! – Петр Петрович! – Спустите красный флаг! – Ради Бога! – О-о! – неслось из-за двери.

Но отец уже мчался обратно.

Спотыкаясь, с каплями холодного пота на лбу, я бежал за ним, для чего-то, изо всех сил стараясь перегнать его. Но отец затерялся в толпе, и я, по инерции, вбежал в залу, постоял, бросился в спальню отца, схватил с туалетного столика его головную щетку, положил в карман, перекрестился, вернулся на палубу...

...Целый Мон-Блан обрушился на «Очаков». Точно хватили по затылку дубиной... В глазах у меня потемнело, но еще хватило силы инстинктивно прислониться к стальному щиту 6-дюймового орудия...

...Второй страшный удар обрушился с севера. Это крепостная артиллерия слала нам свой привет...

...Залп следовал за залпом с промежутками в 5-10 секунд.

«Ростислав» бил методически и без промаха (мудрено промахнуться на дистанции в 200 саженей!) всем левым бортом, орудиями различных калибров; крепость садила в нас11-ти и 10-дюймовками. Артиллерийские офицеры оказались «знатоками» своего дела: во время «боя» «Очаков» получил 52 пробоины только от одних крупных калибров. С Северной стороны и с Исторического бульвара полевая артиллерия генерала Меллер-Закомельского обстреливала казармы и нас перекидным огнем; с Графской пристани палубу «Очакова» поливали из пулеметов...

Потерявшая рассудок толпа промелькнула перед моими глазами, как горячечный сон. Орудия «Очакова», наведенные на «Ростислав», были брошены прислугой при первом же залпе с «Ростислава»: даже зарядных ящиков из погребов не успели вынести. Я до сих порой удивляюсь, как полутысячная толпа матросов, превратившаяся в табун взбесившихся зверей, не сбила меня с ног, не растоптала, не превратила в кусок кровавого мяса…

Повстанцы бросались в воду, лезли в трюмы, на ванты... В воде их продолжали беспощадно расстреливать из орудий и пулеметов; кому чудом удавалось доплыть до берега, того приканчивали солдаты карательного отряда, расположенные длинной цепью от Южной до Минной бухты. В трюмах очаковцы гибли поголовно; их крошило в куски осколками рвавшихся бесчисленных снарядов.

Самое безопасное (сравнительно, конечно) место от снарядов было наверху: батареи и «Ростислав» били по корпусу от ватерлинии (чтобы не потопить крейсера) до палубы (во избежание перелетов в город). Я спасся благодаря тому, что во все время «боя» неподвижно стоял на одном и том же месте, за щитом орудия...

После первого залпа я увидел среди бегущей и ревущей массы моего отца с распростертыми руками. Он хватал матросов, преграждал им путь, останавливал, стараясь прекратить панику и водворить порядок. Но его слова: «С нами Бог, с нами русский народ!» не производили больше никакого впечатления. Исчезла всякая дисциплина, и люди только что слепо ему повиновавшиеся и верившие, как в провидение, отталкивали его и бежали, куда глаза глядят.

Сейчас я употребил, приблизительно, 10 минут, чтобы описать эту картину, 15-го же ноября 1905 года она пронеслась предо мной в каких-нибудь 10 секунд. Еще ни одной сознательной мысли не мелькнуло в моей голове, я не успел даже, как следует, вникнуть в смысл творившегося вокруг меня шабаша смерти, как на

палубе «Очакова» не было ни одного человека; точно дьявольский ураган сдунул с палубы всю эту массу людей одним дуновением.

Я видел перед собой лишь усеянную какими-то красными лохмотьями пустынную палубу и летящие во все стороны, после каждого залпа, стальные и деревянные части корабля.

Не знаю, можно ли назвать страхом или ужасом то чувство, которое я тогда испытывал. Все слова выйдут слишком слабыми и недостаточными для определения моего душевного состояния. Слово «бред» мне кажется наиболее подходящим...

...Залпы «Ростислава» и батареи, соперничая друг с другом, без конца обрушивались на «Очаков»... Мне до сих пор непонятно, как он не разлетелся в щепы.

...Несчастный крейсер, пронизываемый со всех четырех сторон снарядами, большинство которых било по нем в упор, прямой наводкой, содрогался всем своим огромным корпусом. Раздирающие стоны невидимых жертв неслись отовсюду, корабль казался живым существом, исходящим кровью и жалующимся на жестокость своих палачей...

…Но у «Очакова» нашелся, наконец, защитник. Правда, единственный.

«Свирепый», испуская клубы густого черного дыма, на всех парах бесстрашно понесся на «Ростислав», с заряженным минным аппаратом.

Им командовал И. П. Вороницын, 19-летний юноша, сын полковника, член боевой организации Р. С.-Д. Р. П., один из честнейших и храбрейших русских людей. Когда «Свирепый» находился в каких-нибудь 50 саженях от своего врага, снаряд с канонерской лодки «Терец», направленный опытным глазом и верной рукой, разворотил всю носовую часть «Свирепого» и лишил его не только боеспособности, но и способности к управлению. Через несколько минут его забрал голыми руками подоспевший правительственный миноносец.

Неудавшаяся атака «Свирепого» промелькнула передо мной, как на ладони, но, зафиксировавшись в памяти для бу-

дущего, не проникла в тот миг до моего сознания. Кроме того, я совершенно потерял ощущение времени. Из сопоставления различных фазисов «боя» 15 ноября 1905 г. и чтения официальных документов как правительственных, так и революционных, я, с почти математической точностью установил, что от начала «боя» (первый залп с «Ростислава») до момента, когда я оставил горящий «Очаков», бросившись в воду, прошел 1 час 15 минут. Ровно столько времени я провел на борту «Очакова» под убийственным, непрерывным почти, градом снарядов.

Мне же тогда казалось – и кажется до сих пор, что мое пребывание на «Очакове» во время «боя» длилось около 2-3, самое большее 5 минут. Остальные 1 час 10 минут затерялись бесследно где-то в глубинах подсознательного бытия...

Обстрел казарм был начат одновременно с бомбардировкой «Очакова». После артиллерийской подготовки Брестский полк, «исправляя репутацию», штурмовал моряков в их последнем убежище.

Матросы защищались отчаянно; в их распоряжении были винтовки и несколько пулеметов. Только в 6 часов утра 16 ноября сдались оставшиеся в живых...

...«Очаков» не сделал ни одного выстрела: я находился на нем до последней минуты и могу с полной уверенностью утверждать факт молчания очаковских орудий за время «боя», сознавая всю ответственность подобного утверждения.

... Залпы прекратились, но разрозненная стрельба еще продолжалась. Мало-помалу я приходил в себя, блуждая глазами по палубе. Там царствовали хаос и разрушение. Последующими разрывами и пулеметным ливнем тела убитых были сброшены и смыты с палубы, оставив после себя одни кровавые пятна; от надстроек и приспособлений в верхних частях корабля остались бесформенные груды обломков. Я стал ходить между ними, разыскивая отца в безлюдных развалинах и скоро встретился с ним. Он бежал с обезумевшими, остекляневшими глазами, иссиня-бледный, заглядывая во все углы и хрипло крича мое имя.

Я не в силах описывать выражение его лица, когда он увидел меня целым и невредимым.

– Слава Богу, слава Богу!.. – проговорил он, задыхаясь от ужаса и радости. – Господи, благодарю Тебя! Давай руку. Умирать, так умирать вместе.

Стиснув друг друга в объятиях, мы простояли несколько мгновений среди обломков корабля и осколков снарядов.

– Стрелять перестали, – пробормотал я, не слыша более оглушительной канонады, а чувствуя только звон в ушах.

– Флаг спустил, красный, собственными руками, – признался отец. – С берега меня, видно, заметили и зачастили из пулеметов. Успел-таки сорвать.

Новый залп с левого борта «Ростислава» заглушил его слова, и в то же мгновение палуба под нашими ногами заколебалась, страшный взрыв внутри корабля отбросил нас в разные стороны на несколько шагов и, вслед за тем, из среднего трюма повалил густой, едкий дым, пронизываемый, то здесь, то там, огненными языками. Стрельба возобновилась с удвоенной силой.

Тяжелые орудия Константиновской батареи, полевые пушки Меллер-Закомельского, морские дальнобойки «Ростислава» с сумасшедшим остервенением изрыгали на несчастный крейсер все новые и новые тучи снарядов… Казалось, мстительному Чухнину хотелось уничтожить самую Память о мятежном «Очакове»…

...Отец первый вскочил на ноги, подбежал ко мне, протащил к правому борту и крикнул в самое ухо:

– Прыгай!

Рядом с «Очаковым» стояла баржа. Каким образом она к нам затесалась – не помню. Отец перемахнул через борт и прыгнул с 3-саженной высоты. Он был хорошим гимнастом и только потому не расшибся вдребезги. Я собрался последовать за отцом, но, увы, не хватало решимости. Снаряды рвались за моей спиной, свистели над головой, угрожая каждую секунду оставить от меня одно

воспоминание, но постыдная робость овладела мной непреоборимо, и прыгнуть я так до конца и не решился. Отец звал меня, надрываясь из последних сил, умолял, приказывал, бранил... Ничего не действовало.

Держась обеими руками за борт, я несколько раз заносил ногу, останавливаясь в последний момент. По счастью, с борта «Очакова» на баржу спускался канат. Отец заметил его и крикнул мне, что подержит канат, пока я буду по нем спускаться. На это смелости у меня хватило, и я быстро скользнул вниз по канату на баржу.

– Раздевайся! – приказал отец, показывая пример. Я лихорадочно стал сбрасывать с себя одежду, не чувствуя ни холода, ни сомнений.

– Плыви к миноносцу!

Я бросился первым. Ледяная вода обожгла, судорга свела ноги, но в следующий момент я оправился и, рассекая воду изо всех сил, быстро поплыл к миноносцу № 270.

Группа номерных миноносцев под красным флагом находилась приблизительно в 100 саженях от «Очакова». Красные флаги, положим, команда давно спустила и в описываемый момент без толку металась по палубе, думая только о спасении. Лишь в воде я заметил, что пространство от «Очакова» до группы миносцев покрыто сотней плывущих голов.

Но с каждым взмахом моей руки голов становилось все меньше. То одна, то другая голова исчезали под водой, и лишь красное расплывающееся пятно отмечало на краткий миг то место, где только что был человек.

Усмирители безжалостно и беспощадно расстреливали спасавшихся повстанцев. Ген. Меллер-Закомельский поклялся, что не выпустит живым ни одного матроса. Клятву свою он сдержал. Цепь «закомельцев», расставленная им по берегу, принимала на штыки каждого подплывавшего матроса, и не вина доблестного генерала, если с два десятка матросов спасли свою жизнь наперекор стихиям; публика, наблюдавшая за ходом трагедии с

Приморского бульвара, поспешила на помощь погибавшим повстанцам и там, где представлялось возможным, укрывала матросов от разъяренных солдат и, снабдив штатской одеждой, переправляла в город.

...Вода кипела, как в котле, от густого дождя падающих снарядов. Столбы воды, высотою в многоэтажный дом, вздымаемые рвавшимися на глубине тяжелыми снарядами, ежесекундно вырастали со всех сторон, часто на таком близком расстоянии, что брызги от рухнувшего водяного колосса обкатывали меня, как из ведра.

Я с детства хорошо плавал, и это спасло мне жизнь. Много повстанцев, не будучи ранено, пошло ко дну, выбившись из сил.

...Все мысли, кроме мысли о собственной участи, о необходимости, во что бы то ни стало, доплыть до единственного якоря спасения – миноносца № 270 – вылетели из головы. В первую половину пути я не вспомнил даже об отце. Только когда до миноносца оставалось не более 50-ти саженей, образ отца проплыл с поразительной реальностью перед моими глазами. Проплыл и растаял в кровавом тумане, застилавшем глаза. Острая боль от утомления или неожиданной мысли – пронзила мне сердце. Я повернулся на спину и увидел отца, плывшего за мной саженях в десяти и выбивавшегося из сил. Я принял прежнее положение и снова поплыл вперед. Когда я, наконец, доплыл до миноносца, в глазах у меня стало темнеть; я с трудом различил несколько голых фигур, бродивших по крутой палубе миноносца. Схватившись за перекладину железного трапа, я попробовал притянуться и подняться наверх, но сейчас же убедился, что сделать этого не в состоянии; силы окончательно меня покинули. Я закричал и не узнал своего голоса – такой он был слабый и надтреснутый:

– Товарищи... товарищи...

Чья-то мускулистая рука протянулась ко мне на помощь и, ухватив выше локтя, вытащила на палубу. Моим спасителем оказался молодой матрос, с залитым кровью лицом; черт этого лица я не мог, поэтому, хорошо рассмотреть, но он показался мне Ан-

тоненком. Стуча зубами от нестерпимого холода, я поспешил спуститься в кубрик, где успело набиться порядочно народу в таком же «костюме», какой был и на мне. Теплота жилого помещения охватила тело невыразимым блаженством. Заметив большой кусок красной материи, я закутался им до подбородка. Этот кусок оказался спущенным красным флагом.

Матросы, по-видимому, не принадлежали к команде миноносца и, подобно мне, только что вылезли из воды. Команда была наверху и в машине, в которой глухо клокотали пары; миноносец готовился к отплытию. Повстанцы хранили угрюмое молчание. Говорить было не о чем; все слова казались излишними и даже неприличными в нашем положении.

Я не успел еще прийти в себя, как на ступенях трапа, ведущего в кубрик, показались сначала голые ноги отца, а затем и он сам.

– Я знал, что ты здесь, – сказал отец своим обычным, почти веселым голосом. – Молодец, хорошо плыл. Ты плаваешь, оказывается, гораздо лучше меня. Меня, брат, матрозня, когда я совсем стал тонуть, зацепила баграми и выволокла на палубу.

Матросы, узнав отца, сейчас же раздобыли шинель для него.*) Надев шинель на голое тело, отец, первым делом, осведомился, в каком положении находится машина. Оказалось, что в полной исправности. Надо было спешить, пользуясь наступавшей темнотой; бежать – это все, что оставалось в нашем распоряжении.

Выйдя незамеченными в открытое море, мы могли достигнуть берегов Румынии или Болгарии и, по примеру потемкинцев, высадиться на берег одного из упомянутых государств. Выдаче российскому правительству мы не подлежали, как политические.

В двух словах отец посвятил команду в свой план и спросил, будут ли они беспрекословно ему повиноваться. Но матросов не-

*) 16 ноября 1905 г. Чухнин рапортовал Императору Николаю, что «Шмидт пытался бежать, переодевшись матросом». Отец же, в действительности, надел первое, что нашлось под рукой.

чего было и спрашивать. Увидев, что отец опять с ними, одними из немногих уцелевших очаковцев, и, по-прежнему, думает и заботится о них, мятежники поклялись повиноваться отцу во всем, как своему «Главному Командиру», которым отец продолжал оставаться в их глазах.

Не могу определить точное число людей, находившихся на миноносце в момент моего появления на нем. Всех спасшихся очаковцев, как после выяснилось, оказалось 41 человек, считая в том числе отца, меня и двух «любителей» из публики – студентов Пятина и Моишеева.

Принимая во внимание, что «командир» «Очакова», Частник, оставался на «Очакове» до конца и был снят с корабля ростиславцами вместе с 10-12 матросами.

Можно, с большой долей вероятности, определить общее число мятежников на миноносце № 270 в 30-40 человек, куда входят и команда миноносца, и приплывшие с «Очакова».

Морской «бой» прекратился; слышалась только неумолкаемая ружейная трескотня вокруг флотских казарм, продолжавших оказывать «упорное сопротивление», говоря словами казенных рапортов, «раскаявшимся» брестцам.

Темнело очень быстро; нельзя было терять ни минуты.

– Команда, по местам! – крикнул отец, встав за штурвальное колесо.

Но команда и без напоминания знала свои обязанности. Машинисты и кочегары, как бешеные, суетились у топки, доводя давление паров до максимального напряжения. Палубной команде почти нечего было делать и она скоро присоединилась к очаковцам.

«Неужели уйдем?», думал я, глядя на энергичные и уверенные распоряжения отца. «Нет, вряд ли. Мы обречены».

– Полный ход вперед! – крикнул отец в слуховую трубку, ведшую в машинное отделение.

Миноносец вздрогнул и затрепетал от стремительного напора паров в цилиндры. Поршни застучали, заторопились, забесновались...

Отец положил лево на борт, и миноносец, описав крутую дугу, взял направление в открытое море и полетел, как преследуемый олень.

С каждым ударом винта, уносившим мятежников от свирепых врагов, лица матросов светлели и оживали. Кровавый кошмар уходил в прошлое, впереди виднелось спасение и манила неведомая и, потому, прекрасная жизнь...

Отец прирос к штурвальному колесу. Огней, конечно, не зажигали, и от отца требовались особенные внимание и осторожность, чтобы благополучно вывести миноносец из опасного места и выйти в открытое море, уйдя из-под обстрела флота и береговых батарей.

Я стоял за спиной отца и видел только шапку его густых волос, матросскую шинель и голые ноги. Когда отец налегал всем корпусом на рукоять колеса, его фигура, на фоне темно-лиловых сумерек, казалась силуэтом гиганта, ворочающего огромными глыбами.

Да! Отец, изнемогая, делал последние, страшные усилия, чтобы спасти жизнь заключенных в узкой стальной коробке трех десятков человек, которые ему заменяли весь мир!

Миноносец был на траверзе Херсонесского маяка, когда в воздухе проскрежетал первый снаряд, пущенный «Ростиславом». Через иллюминатор боевой рубки я увидел взмывший справа от нас водяной столб.

Достигнув громадной высоты, столб продержался несколько секунд неподвижно – и рухнул.

– Самый полный! – задыхаясь, крикнул отец в машину.

...Поршни бились и хрипели, подобно живому существу. Давление паров, намного превысившее допустимое, передавалось стенкам и наглухо закрепленным предметам боевой рубки, сотрясая их в судорожном пароксизме.

Миноносец летел, как птица, со скоростью 30 узлов. Вот уже Херсонес остался далеко позади... Впереди – безграничный морской простор, свобода, жизнь...

...Новый скрежет и новый столб слева. «Ростислав» нащупывал нас, чтобы нанести смертельный удар.

...Миноносец № 270 продолжал лететь в неизвестность. Смерть гналась за ним; неминуемая, подстерегала его впереди, беспощадная, была уготована сзади. Смерть царила всюду – и в море, и в наших душах.

...Странно: когда третий снаряд угодил в машинное отделение, разорвав машинистов и исковеркав машину, мы этого не заметили. И только, когда миноносец замедлил ход, окутавшись непроницаемым облаком пара, а затем и окончательно остановился, мы поняли, что игра проиграна и последняя карта бита.

XII

Беспомощный миноносец тихо покачивался на ленивых волнах. В воздухе не чувствовалось ни малейшего ветерка. Почти совершенно стемнело; яркие звезды еще не зажглись, и только зарево горящего «Очакова» отражалось в набегавших волнах и бросало на лица мятежников жуткий, таинственный свет.

Матросы застыли в неподвижных позах, выражавших молчаливую покорность судьбе; отец сидел на последней ступеньке трапа, шедшего из кубрика на палубу, и вцепился пальцами в волосы, погруженный в пучину черного, безысходного горя.

Так проходили минуты.

Вдруг отец поднял голову и прислушался. Матросы встрепенулись и выжидающе посмотрели на отца.

– Тише! – шепотом приказал отец, – не шевелитесь и не дышите. Может быть, они пройдут мимо.

И все, в наивной надежде, затаили дыхание. Пыхтенье парового катера, сдержанный говор голосов и лязг оружия слышались все ближе и ближе. Скоро стало ясно доноситься каждое слово.

– Он самый, ваше благородие...

– Стоп! Задний ход! – Фаддеев, винтовки у всех заряжены? – Стоп!

– Так точно, ваше благородие! – Выходи, ребята! Осторожнее…

– Т-с! – продолжал шептать отец. – Тише!

Железная палуба миноносца загромыхала от топота множества ног и стука ружейных прикладов.

– Не иначе, как в кубрике спрятамшись, ваше благородие, – раздался над нами голос Фаддеева.

Дверь кубрика, освещаемую далеким пожаром, загородило несколько пар ног, обутых в высокие сапоги, и вслед за тем в отверстие просунулась щетина штыков.

– Сдаетесь? – услышали мы голос. – Выходите, не бойтесь. Я пришел вызволять вас из беды.

Это говорил начальник отряда, лейтенант Николя. Отец, ни слова не говоря, первым стал подыматься по трапу. За ним потянулся я, за мной остальные. На палубе нас окружило человек 20 вооруженных матросов. Отец, ступив несколько шагов, пошатнулся и, наверное, бы упал, если бы его не поддержали конвойные. Ступать левой ногой он не мог; каждый шаг сопровождался невыносимой болью.

Позже выяснилось, что отец был слегка контужен в воде тяжелым снарядом; в первые минуты, минуты страшного возбуждения и душевной тревоги, контузия не обнаружилась, и отец свободно передвигался. Теперь наступила реакция, и последствия контузии сразу дали себя знать. Отца подхватили под руки и снесли на катер, где уже были раненые, подобранные с палубы. Когда очередь дошла до меня, лейтенант Николя брезгливо взял двумя пальцами кончик моего мефистофельского плаща и удивленно спросил:

– Это что за маскарад?

– Красный флаг; больше нечем прикрыться, — пояснил я, щелкая зубами от холода.

– Фаддеев, дать ему шинель, – милостиво распорядился Николя.

Шинель откуда-то появилась, и я с удовольствием ее надел; красный флаг, несмотря на свой огненный цвет, согревал довольно слабо. Преобразившись в матроса, я подошел к трапу, чтобы

спуститься на катер, и оперся на руку правительственного матроса, предупредительно мне предложенную.

– Зачем вы на мостике-то стояли, Женя? – дружелюбно спросил меня ростиславец. – Смотрел, смотрел я на вас и думал: что за человек? Ведь убить могли!

Слова ростиславца были так неожиданны, что я только посмотрел на него, удивляясь, откуда ему известно мое имя, и прыгнул вслед за отцом, едва не наступив на раненого последним снарядом очаковца, стонавшего непрерывно и монотонно. Отец вовремя предупредил меня.

Мятежников разместили посредине катера, усадив прямо на дно и окружив плотной стеной конвойных. Мы с отцом сидели отдельно от матросов рядом, на задней банке. Часть ростиславцев лейтенант Николя оставил на миноносце для охраны, катер отвалил и понес нас обратно в Севастополь, на новые, еще горшие, страдания.

Странное спокойствие овладело мной. Сознание, что все кончено, что мы отныне лишены возможности самостоятельно распоряжаться своей судьбой, ломать голову, бороться, измышлять тысячи способов, один безнадежнее другого, спасать и спасаться, думать за себя и за других, что теперь мы – игрушки в чужих руках, и другие будут решать и действовать за нас, доставляло мне своеобразное облегчение. Что может в ближайшие часы случиться с отцом, на каком волоске висят наши жизни – этой мысли, как-то, не приходило в голову. Нервы слишком истрепались в долгой и неравной борьбе и требовали сейчас одного отдыха.

Катер проходил мимо «Очакова». На крейсере бушевало пламя. Его борта накалились докрасна и, в сочетании с ночным мраком, представляли фантастическое, незабываемое зрелище. Точно из бездны морской вынырнуло сказочное, огнедышащее чудовище, чтобы броситься на нас и пожрать.

Я почувствовал острую жалость к многострадальному «Очакову», словно к умирающему дорогому человеку. Вместе с «Очаковым» сгорели наши надежды, наше счастье и наша жизнь.

Впереди – сплошной мрак, жестокая расправа, в лучшем случае – Шемякин суд.

Прощай навсегда, милый «Очаков»!

«Ростислав», в ожидании нашего «прибытия», был ярко иллюминован. Его борта унизывало множество любопытных, офицеров и матросов.

Все с жадным нетерпением старались распознать в однообразной массе голых и полуголых людей грозную фигуру бывшего «Главного Командира» революционного флота. Когда катер с захваченными мятежниками подошел к трапу «Ростислава», отца приподняли и, не дав ему опомниться, поволокли наверх. Отец, видя, что я, путаясь в длинной шинели, не могу одолеть первых ступенек, крикнул мне вниз:

– Женя, не отставай!

– Молчать! Ни слова! Молчать! – раздался сверху свирепый окрик. – Кулаком глотку заткну!

Я взглянул наверх. Высокая фигура, освещенная сильным рефлектором, висевшим над трапом, спустилась по трапу навстречу отцу и яростно грозила ему кулаком. То был старший офицер «Ростислава», лейтенант Карказ.

Отец замолчал, а я содрогнулся. Такое начало не предвещало ничего доброго.

Едва конвойные подняли отца на палубу, как множество рук вцепилось в отца и потащило в кают-компанию. Так паук уносит добычу в свою укромную щель.

Меня, как я ни рвался, к отцу не пустили и присоединили к толпе очаковцев, оставленных до поры до времени на палубе и окруженных сплошной стеной часовых. Любопытные головы «ростиславцев» тянулись к нам из-за плеч конвойных и разглядывали нас каждый с различным выражением, в зависимости от степени своей симпатии или вражды («Ростислав» 6 раз подымал и спускал красный флаг).

Но несчастные очаковцы не чувствовали на себе этих взглядов. Полумертвые, равнодушные ко всему на свете, они

тряслись и скрипели зубами от несперпимого холода, старались согреться топтанием на месте и растиранием окоченелых частей тела.

На мне была плотная матросская шинель, я чувствовал себя довольно сносно и, черствый в эгоизме только что спасшегося от смертельной опасности, озабоченного лишь собственной участью, не обращал особенного внимания на муки своих товарищей по несчастью.

Любопытствующие внезапно раздвинулись, давая дорогу: к нам подходила кучка офицеров. Подойдя вплотную, они устремили на нас взоры, полные убийственного презрения и злобы. Мы были для них не людьми, а опасными хищными зверьми, после долгих хлопот пойманными и обезвреженными. Они тихо переговаривались между собой, не задавая нам никаких вопросов.

– Ваше высокоблагородие, – плача и трясясь от мучительного холода, обратился к ближайшему офицеру один из мятежников, совершенно голый, одна половина лица которого представляла бесформенную, кровавую массу с вырванной нижней губой и вытекшим глазом, – ваше высокоблагородие, пожалейте... Прикажите дать укрыться. Помираю!

– Что?! – с гневным удивлением отозвался офицер, коренастый брюнет с усами и бородкой á la Napo1éon III. – Ты совсем обалдел, как вижу. Тебя, мерзавца, жалеть? Сколько сирот сегодня осталось из-за таких сукиных детей, как ты! Сволочь! Подыхай как собака!

– У-у! А-а! Матерь Божия-я! – зарыдал кривой очаковец с таким страшным отчаянием, что сердце у меня перевернулось.

– Кто это голосит, как баба? – раздался чей-то раскатистый бас.

Офицеры почтительно расступились. Я увидел толстого, пожилого человека с окладистой, заседевшей бородой, красным носом и добродушными свиными глазками. Это был контр-адмирал Феодосьев, младший флагман Черноморского Флота. Он смотрел на нас с любопытством, но без всякой злобы, скорее с состраданием, не без примеси, однако, некоторой насмешки.

– Это раненый так ревет? – спросил он, ни к кому не обращаясь, заметив изуродованное лицо несчастного матроса. – Эк, как тебя, братец, разделали! Ну, что-ж, вперед наука – не бунтуй!

Но у адмирала было доброе сердце, и зрелище человеческих страданий не доставляло ему, очевидно, никакого удовольствия.

– Отправить этого молодца в лазарет, – приказал он кому-то. – Тут ему не место. Дать белье, штаны и все прочее... Пусть фельдшер сейчас же сделает перевязку.

Двое конвойных отделились и повели очаковца вниз.

– Да тут почти все в костюме Адама! – продолжал адмирал. – Здесь, надо полагать, одни снятые с миноносца? – спросил он брюнета с бородкой.

– Так точно, ваше превосходительство.

– Свиньи вы, свиньи! – вырвалось у адмирала с искренним негодованием. – Напакостили – так расплачивайтесь. А то – нате! Другие, что ли, будут за вас отвечать? «Товарищи, товарищи!» – передразнил адмирал. – Товарищи, так и поступайте по-товарищески, а не по-свински!

– Ваше превосходительство, – за всех ответил я адмиралу, набравшись храбрости, – но что же нам оставалось делать? Ведь остальным... матросам не стало и не станет легче от того, что вы и нас захватили?

– Это что за птица? – с удивлением воззрился на меня Феодосьев. – Как будто не матрос. Совсем мальчишка...

– Я сын Шмидта, реалист шестого класса, и умоляю ваше превосходительство предоставить мне возможность быть вместе с отцом, – воспользовался я случаем изложить свою просьбу, с которой раньше не знал, к кому обратиться.

Адмирал внимательно посмотрел на меня и вдруг улыбнулся такой доброй улыбкой, что все лицо его озарилось каким-то внутренним светом.

– Господи, Твоя воля! Теперь и гимназисты полезли революции устраивать! Куда папаша, туда и сынок!.. Эх, молодой человек!.. Иван Николаич, отведите сего юного Робеспьера к па-

паше. Революции – революциями, а чувства-то родительские всегда одинаковы.

Тот, кого адмирал назвал Иваном Николаичем, молодой мичман, почти мальчик, слегка дотронулся до моего рукава и кивком головы пригласил идти за собой.Мы спустились по устланной ковром лестнице в огромную кают-компанию.

В первую минуту я был ослеплен ярким светом обильного электричества и оглушен шумом и гамом пьяных голосов. Картина, которую я затем увидел, никогда не изгладится из моей памяти и будет преследовать меня до могилы.

На первом плане, около задней стены, большой обеденный стол был густо уставлен всевозможными напитками и закусками. За столом восседало человек тридцать офицеров, от мичманов до капитанов 1-го ранга.

В числе пировавших я заметил несколько человек, сидевших у нас на «Очакове» под арестом*). Большинство офицеров сильно подвыпило и горланило, что есть мочи, стараясь перекричать друг друга. Их потные красные лица выражали пьяное торжество и радость избавления от грозившей опасности.

Слева, отгороженный от пирующих наскоро сооруженным парусиновым тентом, с подогнутой больной ногой, в шинели на голое тело, сидел на боковом диване мой отец под охраной четырех часовых. Лицо его, испещренное сетью мелких морщин, особенно резко выступавших при свете электрических ламп, было землистого цвета и настолько осунувшееся и постаревшее за каких-нибудь 2 часа, что в этом живом мертвеце с трудом можно было узнать моего прежнего, жизнерадостного и молодого отца. Над его переносьем резко выступала продольная складка, которой я раньше никогда не замечал.

Перо мое слишком слабо и ничтожно, чтобы изобразить чувства, вспыхнувшие в груди моей при виде этой картины.

Все слова выйдут жалкими, надуманными и искусственными.

---

*) Из арестованных 70 офицеров никто не пострадал. Ни один снаряд не попал в каюту, где они сидели.

Скажу только, что никогда я так мучительно не любил своего несчастного отца, как в тот страшный час.

Когда я подошел к отцу, легкий луч счастья пробежал по его измученному лицу. Я уселся рядом с ним, мы взялись за руки и долго не отрывались друг от друга глазами, черпая силы для будущих бесконечных страданий и горячей взаимной любви.

– Пир победителей, – с горькой усмешкой прошептал мне отец, кивнув в сторону продолжавшейся пьяной оргии. – Хорошо, что тебя здесь не было полчаса тому назад. Как они издевались надо мной, сынишка!

И отец шепотом стал рассказывать, как приняли его г.г. офицеры броненосца «Ростислав», бывшие знакомые и сослуживцы. Я с ужасом слушал его и единственный раз в жизни хотел ему не верить. Но я не мог не верить этому человеку; я скорей не поверил бы всему миру, чем ему – я слишком хорошо его знал.

Инициатором и дирижером всех издевательств был старший офицер корабля, лейтенант Карказ. Когда конвойные, предшествуемые Карказом, внесли отца на руках в кают-компанию, Карказ громогласно предложил:

– Господа офицеры! Приветствуйте командующего Флотом!

Офицеры сначала окаменели от неожиданности, потом разразились хохотом и оглушительным «ура». Отца посадили на диван; толпа пьяных и полупьяных врагов, с бокалами шампанского в руках, окружила его тесным кольцом – и началось подлое глумление над беззащитным и раненым, их политическим, всего несколько часов назад столь грозным, врагом.

– За здоровье славного Командира Черноморского Флота! – кричал один.

– За одержанную им блестящую победу! – подхватывал другой.

– За успехи его высокопревосходительства, прошедшие, настоящие и будущие!

– Ур-р-а-а!..

– За награды, которыми он будет Высочайше пожалован!

– За веревку, на которой его повесят!

– Бра-а-во! Ур-а-а!

– Триумф, триумф, господа! Да будет ему триумф!

Соразмерно с количеством поглощаемого алкоголя страсти разгорались все сильнее. Тосты, претендовавшие на остроумие, постепенно переходили в грубую площадную брань. Потеряв всякое самообладание, победители, с пеной у рта, наскакивали на отца, подносили к его лицу сжатые кулаки, изрыгали невероятные ругательства и проклятия.

– Изменник, предатель! – вопили негодяи, утратившие человеческий облик. – Повесить тебя мало!..

– Нас хотел вешать по одному за каждого убитого бунтовщика, теперь мы тебя повесим!

– Что на него смотреть, господа! Вздернем на нока-рее – и дело с концом!

– Тащите его!..

...Отец видел перед собой разъяренных диких зверей, выпущенных из клетки и набросившихся на жертву, долго дразнившую их аппетит. Трое или четверо мичманов, безучастно следивших за травлей, происходившей у них на глазах, в конце концов не выдержали и возмутились. Совесть, по-видимому, не совсем в них заглохла.

Они бросились на своих осатаневших старших товарищей и стали отталкивать от отца. Скоро к ним присоединились другие офицеры, наиболее трезвые и культурные.

– Опомнитесь, господа, как вам не стыдно! – уговаривали они разнуздавшихся пьяных дикарей.

– Вы позорите свои эполеты! Перестаньте! Самосуд ляжет несмываемым пятном на всех офицеров Черноморского Флота! Казнить и миловать – дело суда, а не ваше.

Но одинокие голоса немногих честных людей тонули в оглушительном зверином реве остальной публики. Отдельных слов уже нельзя было разобрать; отец видел только багровые от алкоголя и злобы лица, выпученные глаза, широко разверстые пасти, тянущиеся к нему со всех сторон сжатые кулаки.

– Еще минута – и меня бы разорвали, – признался отец, с содроганием вспоминая пройденную Голгофу.

Часовые, приставленные к отцу, по всем признакам, не намеревались помешать готовившемуся суду Линча, и неизвестно, чем бы кончился этот шабаш, если бы ему не положил конец наш добрый гений, адмирал Феодосьев.

Войдя в кают-компанию, чтобы поговорить с отцом, он в недоумении остановился на пороге, не понимая, что происходит. Разобрав же в чем дело, адмирал пришел в негодование и так гаркнул своим зычным гласом: «Назад!», что бесновавшаяся толпа прыснула в разные стороны, как стая трусливых шакалов. Адмирал немедленно распорядился отгородить отца парусиновым навесом и дал часовым строжайшее приказание никого к отцу не подпускать. Затем Феодосьев спросил отца, не «раскаивается ли» он.

– Одна смертная казнь может остановить меня, – ответил отец.

Адмирал хотел предложить отцу еще какой-то вопрос, но потребовалось его присутствие на палубе, куда он и поспешил, и где произошел описанный уже его разговор со мной*).

В момент моего прихода в кают-компанию пирование и тосты за Царя, Чухнина, командира «Ростислава», офицеров, Чер-

*) Осенью 1909 г. офицеры броненосца «Ростислав» привлекли члена III Государственной Думы П.Н.Милюкова к судебной ответственности за «клевету», выразившуюся в помещении, со слов отца, в одной из больших петербургских газет (не помню, какой именно) статьи г. Милюкова об издевательствах над отцом г.г. офицеров «Ростислава». Процесс закончился полным оправданием Милюкова. Возможно, что многие из упомянутых г.г. флотских офицеров, принимавших в отце столь «живое» участие и здравствующих по сю пору, как и аз, грешный, где-нибудь в эмиграции, прочтут эти строки и паки воспылают благородным негодованием. Не вступая с таковыми в прения по существу, я отсылаю к определению петербургского окружного суда, приговор коего, оправдывая Милюкова, тем самым подтверждает и подчеркивает всю гнусность поведения представителей былой привилегированной касты.

номорский Флот и т. д. – продолжались своим чередом, но возобновлять травли, после вмешательства младшего флагмана, не смели. Ко мне подошли двое мичманов и любезно предложили: один – рюмку коньяку, другой – папиросу. От коньяка я отказался, папиросу взял и разделил с отцом. В кают-компании я просидел с отцом не больше четверти часа. По приказанию адмирала Феодосьева нас перевели в просторную каюту, без коек, но с матрасами на полу и большим столом. По углам каюты расставили четырех часовых, не считая двух у дверей. Феодосьев приказал дать нам ужин с офицерского стола. До ужина какой-то молодой лейтенант, не то адъютант Чухнина, не то делопроизводитель или секретарь сооруженной на скорую руку следственной комиссии, снял с отца первый допрос. Допрос состоял из трех вопросов, предложенных лейтенантом отцу.

На первый – не состоит ли отец членом какой-либо из революционных партий – отец отвечал отрицательно. На второй – что побудило отца «изменить присяге» и «предаться» мятежникам, – последовал ответ, что присяге отец не изменял, действовать же так, как он действовал, побудили его любовь к отечеству и народу. На третий вопрос – кто были его главные сообщники, – отец, пожав плечами, возразил, что никаких «сообщников» у него не было и быть не могло по той простой причине, что он принял командование восставшим флотом под одним условием — предоставления ему неограниченной власти, без права вмешательства в его распоряжения какого бы то ни было лица и какой бы то ни было организации.

– Впрочем, – добавил отец, сверкнув глазами, – хотя сообщников у меня не было, но сообщница – была.

Лейтенант насторожился.

– А! Кто же?

– Вся Россия, господин лейтенант, – с готовностью сообщил отец, иронически глядя на опешившего «следователя». И, видя, что тот собирается протестовать, закончил резким, не терпящим возражения, тоном:

– Передайте пославшим вас, господин лейтенант, мой добрый совет – не искать ни «нитей» заговора, ни моих «сообщников». Все «нити» ведут ко мне, все «сообщники» воплощаются в моем лице. Это – во-первых, г. лейтенант. Во-вторых, я отлично вижу, что вам очень бы хотелось добиться от меня таких слов и заявлений, которые можно было бы истолковать, как «раскаяние», для оповещения о сем раскаянии газет нововременского типа. Так вот, можете сообщить пославшим вас, что если бы мне развязали руки, я начал бы все сначала. Мне больше нечего вам сказать, г. лейтенант.

Проговорив это, отец отвернулся и больше не обращал на лейтенанта никакого внимания. Лейтенант – щеголеватый и надушенный 25-летний молодой человек, побледнел так, что даже губы у него побелели, но не сказал ничего, молча поклонился и занес показание отца в записную книжку. Затем он обратился ко мне и голосом, дрожавшим от сдерживаемого бешенства, но безукоризненно вежливо, спросил, разделяю ли я убеждения своего «батюшки»?

– Совершенно, – кратко отвечал я.

Лейтенант и мне поклонился точно так же, записал мой ответ и удалился, отвесив в третий раз уже общий поклон.

Так как на нас ничего не было, кроме матросских шинелей, надетых на голос тело, то адмирал Феодосьев, питавший к нам искреннее сострадание, приказал немедленно выдать отцу и мне белье и казенную верхнюю одежду. Мне скоро принесли и то, и другое, и я превратился в заправского матроса. С отцом поступили иначе. Старший офицер, лейтенант Карказ, решился, на свой страх и риск, не исполнить приказания младшего флагмана, второго лица во флоте после Главного Командира, вице-адмирала Чухнина, в части, касавшейся моего отца, и, воспользовавшись отбытием адмирала Феодосьева на берег, самовольно задержал одежду, предназначенную отцу, ограничившись выдачей ему его тужурки, найденной ростиславцами на барже. Но даже и этим, последним, поступком Карказа руководило исключительно чувство мести: погоны отставного капитана 2 ранга были с тужурки спороты, дабы показать отцу, что его не считают более достойным носить знаки офицерского звания.

– Разжаловали до суда, – сказал мне отец, когда Карказ собственноручно принес отцу обезображенную тужурку.

Не могу не отметить, что факт «разжалования» отца до суда г.г. офицерами «Ростислава», о законности коего распространяться не приходится, не только не встретил осуждения со стороны высшего начальства, но заслужил его полное одобрение.

Оставлением отца без белья, обуви и одежды дело не ограничилось. Исполняя приказание адмирала Феодосьева, нам подали ужин, состоявший из трех блюд. Не успели мы, однако, проглотить и по ложке супа, как в каюту влетел Карказ и, отчаянно ругаясь, велел все, кроме хлеба, убрать со стола. Так до конца своего пребывания на «Ростиславе» (около 30 часов) мы и просидели на одном хлебе и воде. Репрессии и издевательства, возобновившиеся с уходом адмирала Феодосьева, по инициативе Карказа, варьировались сим изобретательным господином на разные лады. В нашем присутствии лейтенант Карказ обратился к часовым и громко, на весь коридор, куда выходила наша каюта, приказал:

– Часовые! Если кто-нибудь из этих двух сволочей (жест в нашу сторону), старая или молодая, все равно, обратятся к вам с чем-нибудь, кроме как «до ветру» или до караульного начальника – стреляй! Ничего не бойтесь. Я отвечаю.

Часовые, видно, опытные, знавшие службу, матросы, беспомощно переглянулись. Они знали, что, по уставу, часовые должны повиноваться только трем лицам – Государю, начальнику караула и караульному унтер-офицеру. Карказ не был ни тем, ни другим, ни третьим.

Но в то тревожное время уставы часто не исполнялись, и приходилось следовать не букве, а «духу» законов. Часовые, хоть и с натугой, сообразили последнее обстоятельство и согласно гаркнули «Есть!».

Мало-помалу перед дверями нашей каюты стали появляться новые действующие лица – сверхсрочнослужащие боцмана и кондуктора, те самые, которые приветствовали отца ру-

ганью и проклятиями во время обхода «Свирепым» Черноморской эскадры. Весьма комфортабельно рассевшись перед настежь раскрытой дверью нашей каюты, человек 5-6 службистов, исполняя волю пославшего их старшего офицера, повторили, в гораздо меньшем, правда, масштабе, сцены в офицерской кают-компании «Ростислава».

– Искупались их благородие, – услышали мы ехидное замечание одного из службистов. – Приняли, значит, «душу».

– Поздно купаться надумали. Сезонт для господ офицеров, чай, давно прошел, – поддержал второй службист.

– Зазябли, надо полагать.

– Ничего! Как «взгреем», так и согреем!

Матросы разразились дружным хохотом. Даже часовые одобрительно улыбнулись.

– Ай да Ефим Васильич! Уж они скажут! – восторженно заметил один из молодых унтер-офицеров, с подобострастием глядя на отличившегося в словесном турнире пожилого артиллерийского кондуктора.

На отца этот новый сюрприз, преподнесенный его истязателем, уже не произвел особого впечатления. Потрясения последних дней вообще и последних часов в частности настолько подорвали его организм, что сделали почти нечувствительным к окружающему. Он сидел на матрасе с закрытыми глазами и такой мертвенной бледностью на лице, что его можно было счесть за умирающего. Раскатистый хохот кондукторов заставил отца вздрогнуть и пошевелиться; контуженная нога неловко подвернулась, и он глухо застонал.

К каким ужасам ни приучил меня тот день, но стон отца был последней каплей, переполнившей чашу моих терзаний. Я больше не мог видеть его страданий. Я перестал владеть собой и не помнил, что говорил и к кому обращался. Знаю только со слов отца, что кинулся на кондукторов с криком: «Не смейте мучить папочку!», а затем, когда меня оттащили обратно в каюту, упал и стал биться головой о пол. Отец, превозмогая страшную боль

в ноге, подполз ко мне, положил мою голову к себе на колени, стал меня гладить и успокаивать…

Мой припадок произвел на кондукторов сильное впечатление. Душа простого русского человека всегда доступна жалости и чувству справедливости. Службистам стало, по-видимому, невыносимо неловко, и они незаметно стушевались. Шум, поднятый мною, услышало, однако, начальство. В каюту заглянул офицер и, увидя отца, стонавшего от боли, а меня на полу, почти без сознания, побежал за судовым врачом.

Вместо врача явился фельдшер. Он дал мне понюхать нашатырного спирта, от чего я сразу пришел в себя, и сделал отцу первую перевязку (через 2 часа после нашего прибытия на «Ростислав»).

Не успел отец почувствовать некоторого облегчения от перевязки и исчезновения с поля зрения своих мучителей, как пришло распоряжение лейтенанта Карказа перевести нас в другое помещение. Отца взяли под руки, вывели в коридор и, после двух-трех поворотов, принесли в крошечную каюту, площадью не более 9 квадр. аршин. С единственной койки сняли раму и матрас, и нам с отцом пришлось расположиться на голом полу. Иллюминатор был наглухо задраен, и каюта круглые сутки освещалась электричеством. Нам дали большой, 10-фунтовый, каравай черного хлеба, немного соли в бумажке и кувшин воды, предупредив, что все (считая и воду) составляет наш «рацион» на целый день.

Шел, вероятно, 11-й или 12-й час ночи. Мы разостлали на полу одну из шинелей, легли на нее и накрылись другой, тесно прижавшись друг к другу. Общую подушку соорудили из моих брюк, голландки и фуражки.

Заснули мы скоро, но сон был удушливый и невыразимо тяжелый. Тело ныло и болело от непривычки спать на голых досках, холод пронизывал до костей (на броненосце существовало общее паровое отопление; почему только в нашей каюте стоял собачий холод – составляло секрет изобретателя, лейтенанта Карказа), внезапные толчки сознания своего отчаянного положения не давали ни

на минуту забыться спокойным сном. Запомнилась одна мелочь. Всю ночь с 15 по 16 ноября меня преследовал и во сне, и на яву мотив «Ямщика», доводя до полного изнеможения. Рыдающие звуки народной песни, столь полно выражающей всю глубину безысходного горя, надрывали мне душу, еще сильнее увеличивая тоску...

В то время, когда мы спали и боролись с душившими нас кошмарами, на флагманском броненосце «Ростислав» происходило совещание офицеров Черноморского Флота, съехавшихся со всех судов, стоявших на рейде. На совещании решалась наша судьба, но я узнал о нем только 2 года спустя от старого нашего друга, инженер-механика В. Г. Володзько, бывшего члена «тайного общества», который присутствовал на сем совещании. Г.г. офицеры обсуждали вопрос – что делать с арестованными мятежниками и, в частности, с их «вожаком», лейтенантом Шмидтом. Мнения разделились, но $^{3}/_{4}$ голосов было за предание нас так называемому корабельному суду, приговор которого обжалованию не подлежал, в исполнение приводился немедленно и, ввиду очевидности преступления, мог быть только одним – смертной казнью через повешение. Зрелище мятежных очаковцев, вздернутых, в назидание потомству, на нока-реях судов Черноморского флота, должно было, по расчетам большинства г.г. офицеров, произвести столь внушительное впечатление на жидо-масонов, что последние на веки-вечные закаются делать революции в столь не любезном для них отечестве.

Корабельный суд – учреждение старинное; в настоящее время его не практикует ни одно цивилизованное государство. Учреждением корабельного суда преследовалась цель молниеносного наказания виновников морского бунта, дабы уничтожить очаг заразы в самом зародыше. В доброе старое время, когда парусные суда находились в плавании долгие месяцы, а то и годы, причем сплошь и рядом продолжительность плавания находилась в прямой зависимости от количества бурь и попутных ветров, виновникам нарушения морских законов часто приходилось ждать отправления правосудия очень долгое время, пока корабль не приставал

к берегу и не отдавал преступника в руки законных властей. Подобное промедление в наказании нередко чрезвычайно губительно отзывалось на железной морской дисциплине, подрывая ее устои. Так, например, после подавления матросского бунта требовались решительные меры для предотвращения его в будущем, из коих наиболее действительными являлись, спокон веку, меры устрашения. Ждать возможности применить эти меры, быть может, несколько месяцев, до прихода судна на место назначения, оказывалось поэтому совершенно недопустимым в интересах командования. Отсюда понятны причины возникновения института корабельного суда, действовавшего во все время нахождения судна в открытом море. В случае надобности, командир корабля назначал суд в составе 3 членов из офицеров корабля – председателя и 2-х судей, который мог разобрать дело, вынести приговор и привести его в исполнение в каких-нибудь черверть часа.

С появлением парового флота, корабельный суд постепенно отошел в область преданий. В настоящее время, даже при кругосветном плавании, судно имеет возможность делать частые, сравнительно, остановки в попутных портах и отдавать провинившихся в руки международного правосудия, близкая перспектива которого должна достаточно устрашающе влиять на преступную психологию, или же ссаживать провинившегося на встречные суда той же национальности, возвращающиеся на родину. С другой стороны, и нравы, с течением времени, подвергались значительному изменению.

Теперь для возникновения мятежа среди матросов в открытом море требуется или наличие революционного брожения в стране, или необычайно жестокое обращение с экипажем командного состава корабля, или же, наконец, совместное существование этих двух условий. Ярким примером для первого из указанных побудителей может служить знаменитый бунт на броненосце «Князь Потемкин-Таврический» 14 июня 1905 года, сопровождавшийся зверским истреблением всех офицеров броненосца поголовно.

Из всего сказанного ясно видно, что для наказания мятежных очаковцев по закону не требовалось никакого корабельного суда: корабли с арестованными мятежниками находились не в плавании, а стояли на открытом рейде, карательный отряд генерала Меллер-Закомельского только что вступил в Севастополь, город был объявлен на осадном положении и, таким образом, для немедленного предания нас законному, хотя бы военно-полевому, суду не встречалось решительно никаких препятствий. Просто г.г. офицерам Флота нужен был не суд, а расправа, не законная кара, а месть.

Жизнь наша висела на волоске; корабельный суд, вне всякого сомнения, приговорил бы к смертной казни всех очаковцев без исключения, вследствие их поимки на месте преступления. Когда настроение большинства участников совещания определилось, благоразумное меньшинство офицерства стало доказывать недопустимость предания нас корабельному суду, указывая на отсутствие законных мотивов, обусловливающих учреждение названного суда. Подобное нарушение морских законов должно было, по мнению меньшинства, самым пагубным образом отразиться на престиже офицеров Российского Флота, сильно пошатнувшемся в глазах общества после позорной Японской войны.

Обращение к чести и достоинству мундира не произвело на большинство г.г. офицеров никакого впечатления, а заслужило лишь несколько насмешливых улыбок и ироническое замечание одного из представителей господствовавшего течения, что «в Морском Уставе общественное мнение не упоминается». Тогда «оппозиция» оказалась вынужденной прибегнуть к другому, гораздо более действительному, способу убеждения. Именно, жаждущим расправы напомнили, что настроение судовых команд оставляет желать многого, что мятеж флотских казарм еще не подавлен и что вид повешенных без суда (т. к. корабельный суд, при возможности предания военно-морскому суду, не мог считаться законным судом) матросов – шаг весьма рискованный и опасный не только для восстановившегося относительного спокойствия на судах Черноморского Флота, но и для жизни самих г.г. офицеров.

Второй аргумент, как и следовало ожидать, произвел надлежащий эффект. После некоторого обсуждения, г.г. офицеры решили единогласно (sic!) «оставаться на почве строгой законности и не препятствовать естественному ходу военно-морского правосудия». С тем «совещание» и разъехалось.

День 16 ноября мало чем отличался от первой кошмарной ночи после ареста. Мы почти не говорили и продолжали лежать на полу, стараясь превратить наступивший день в продолжение минувшей ночи. Часов в 12 мы съели по кусочку хлеба и опять улеглись.

Непрерывный электрический свет не давал нам заснуть, и отец, промучившись несколько часов, решил его потушить. Наступившая темнота благотворно подействовала на наши изодранные нервы и мы скоро заснули. Но не прошло, я думаю, и получаса, как в каюту ворвался разъяренный Карказ, которому кем-то было доложено о таковом нарушении отданных им строжайших инструкций.

– Кто смел потушить?! – заорал Карказ на весь коридор, с шумом распахивая дверь. – Здесь я распоряжаюсь! Не сметь! Молчать!!! – заревел он, видя намерение отца возразить, так оглушительно, что у меня в ушах зазвенело. – Я т-тебе покажу! Мол-чаать!!! – с пеною у рта бешено затопал Карказ ногами, при вторичной попытке отца вставить слово. – Молчать!! Твое дело молчать! – И повиноваться! Молчать! И повиноваться! Бес! – пре! – ко! – слов! – но! – погрозил он кулаком, поднесенным к носу отца.

– Часовой! Иди сюда, мерзавец! Стой здесь, слышишь? Смотреть в оба глаза! Тушить света не позволять! Бей прикладом по башке! Понял? Если еще раз прозеваешь – под суд тебя, меррзавца, отдам! Понял? Отвечай, понял?! – снова дико заревел наш палач, наступая на часового.

– Так точно, вашескородие, понял, – пролепетал побледневший часовой, молодой матрос, служивший во Флоте, вероятно, не более года.

– То-то! Так помни: со старой сволочи глаз не спускать!

И погрозив кулаком отцу еще раз, Карказ вышел, так хватив на прощанье дверью, что от створки отлетел какой-то кусочек.

Часовой, сжимая в руках винтовку и испуганно моргая глазами, следил за каждым нашим движением. Терроризированный начальством, он, казалось, и на самом деле был готов пустить в ход приклад в случае каких-либо подозрительных, на его взгляд, поползновений с нашей стороны.

Но мы сидели неподвижно, ошеломленные последним «номером» старшего офицера, «служившего» Царю и Отечеству не за страх, а за совесть. Я долго не решался взглянуть на отца. Когда взглянул, то увидел катившиеся по лицу его горькие, бессильные слезы унижения.

Тогда, смотря на отца, я дал себе молчаливую, исступленную клятву, клятву безжалостной и беспощадой мести. Я поклялся, что, если останусь в живых, то за каждую слезу, пролитую дорогим существом, заплачу кровавыми муками его подлому врагу.

... Я сдержал свою клятву.

XIII

В час ночи с 16-го на 17-е ноября нас разбудил шумный приход в каюту нескольких человек. Мы открыли глаза и увидели вооруженных винтовками матросов во главе с офицером, лейтенантом фон-Волькенау. Один из матросов держал в охапке белье, брюки и штиблеты для отца.

– Одевайтесь, – кратко приказал отцу лейтенант, указывая на вещи. – Вас переводят в другое место. Поторопитесь, прошу.

С моей помощью отец кое-как оделся, двое часовых взяли его под руки (отец все еще не мог ходить), а лейтенант Волькенау предупредил:

– В пути вам предписывается сохранять абсолютное молчание. В случае неповиновения вам завяжут рты.

– Слышишь, Женя? – обратился ко мне отец, опасаясь, что, по своей рассеянности, я пропущу мимо ушей слова Волькенау. –

Не говори ни звука, пока я тебе не разрешу. Нам строго приказано молчать всю дорогу. Понял?

Я кивнул головой, и шествие тронулось. Впереди шел лейтенант, за ним двое часовых вели отца под руки и, наконец, еще двое вели меня.

На палубе нас стерегла глухая, черная ночь без единой звезды. Броненосец довольно скупо освещался небольшими электрическими фонарями, и только над трапом висел сильный рефлектор. Наверху не было ни души, кроме часовых у трапа и на корме. По-видимому, наш отъезд обставлялся глубокой тайной.

У трапа покачивался паровой катер со взводом матросов, куда нас и усадили. Отца пришлось тащить на руках; больная нога делала его при спусках и подъемах совершенно беспомощным.

Посадка происходила в полной тишине. Необходимые приказания отдавались лейтенантом Волькенау шепотом, чуть ли не на ухо. Когда все расселись по местам, начальник отряда подал знак, катер зашипел, выпуская пары, машина застучала, и мы понеслись в открытое море со всей возможной скоростью.

Едва мы отошли на сотню саженей, как с «Ростислава» брызнул ослепительный сноп света прожектора и, побродив несколько мгновений по воде, нащупал нас, осветил наши лица и уже всю дорогу не покидал, если не считать экскурсий то в ту, то в другую сторону с целью обнаружения некоего нежелательного присутствия.

Как мы потом узнали, несмотря на полную «победу» – разгром «Очакова» и сдачу морских казарм – начальство не переставало внутренне трепетать в ожидании возобновления мятежа и попыток освобождения лейтенанта Шмидта. Последнее, по мнению властей, легко могло произойти при перевозке отца с «Ростислава» на главную гауптвахту.

Все эти страхи адмирала Чухнина отцу тогда не были известны, и он, видя, что катер идет в открытое море, а луч прожектора с «Ростислава» непрерывно направлен на нас, строил самые мрачные предположения. «Я был уверен, что нас везут на расстрел»,

признался мне отец три дня спустя в Очаковском каземате. Действительно, все наводило на эту мысль: и глухая ночь, и молчаливые фигуры вооруженных матросов, и стоявший рядом кондуктор с повязкой для завязывания ртов наготове, и открытое море, и настойчивый прожектор, неутомимо нас стерегущий – одним словом, вся необычайность и таинственность обстановки.

Сидя рядом со мной, отец нежно гладил и пожимал мои руки. Говорить было нельзя, и отец, чтобы меня успокоить, стал чертить пальцем на моей ладони какие-то буквы. Я разобрал два слова: «все хорошо». Пишучи эти слова, отец, в то же время, был убежден в нашем расстреле, самое большее, через час. И в последние минуты, выводя буквы на моей ладони, он думал только обо мне.

Как ни бесчеловечно было обращение с отцом его врагов (исключение представляли лишь светлой памяти адмирал Феодосьев да трое-четверо безусых мичманов), я не могу здесь не отметить, что, все же, с нами не оставались бесчеловечными до конца: со мной не захотели, не посмели или пожалели (мне это безразлично) разлучать моего отца. И за это я многое готов простить его врагам.

Катер кружил в открытом море около часа (впоследствии оказалось, что лейтенант Волькенау сбился с пути), затем слева показались очертания Херсонеса, и катер стал приближаться к берегу. Мы подошли к пристани, высадились и нас с отцом куда-то повели. Было так темно, что я ничего не мог разобрать, кроме очертаний большого здания впереди. Мы шли, окруженные со всех сторон взводом матросов. Отца, по-прежнему, вели под руки; он поминутно беспокойно оглядывался на меня и просил «не отставать». Я ни о чем не думал и ничего не опасался – мне слишком хотелось спать, да, кроме того, я был еще слишком беззаботным и юным, почти ребенком. Несчастный же отец продолжал оставаться в уверенности, что нас обоих ведут на расстрел. О себе он не думал ни минуты; но что должно было твориться в его душе при мысля о гибели, вместе с ним и по его вине, единственного, горячо любимого сына, 16-летнего мальчика!

Наконец, я различил силует больших казарм, будку с часовым и пару слабо освещенных окон помещения дежурного офицера. Конвой остановился перед воротами гауптвахты, а лейтенант Волькенау пошел к коменданту, чтобы сдать нас, как говорится, «с рук на руки», под расписку. Минут через 5 нас ввели в приемную, обыскали; комендант, усатый, пехотный капитан, расписался на какой-то бумаге, сунутой ему лейтенантом Волькенау – и нас водворили, наконец, на новом месте – большой камере с двумя кроватями, на одну из которых посадили отца, столом и несколькими стульями. Над столом горела электрическая лампочка в зеленом абажуре, и ее тихий, умиротворяющий свет благотворно действовал на душу и неудержимо манил ко сну. Когда мы остались одни, отец судорожно обнял меня и долго целовал; он не мог прийти в себя от счастья, ему все еще не верилось, что смерть прошла над моей головой, не задев своим ледяным покрывалом.

Обменявшись впечатлениями, мы стали готовиться ко сну. На кроватях не было ни простынь, ни подушек, но зато были шерстяные тюфяки и суконные одеяла. Подушки, как и в прошлую ночь, мы устроили из верхней одежды, укрылись с головой одеялом и крепко заснули спокойным сном, в первый раз после ареста.

Проснулись мы на другой день довольно поздно. Отец чувствовал себя гораздо лучше. Его нога за ночь почти зажила – контузия оказалась из самых легких – и отец, хотя и с трудом, но мог уже передвигаться самостоятельно. Оба мы скоро почувствовали голод, и отец, постучав в дверное окошечко («глазок») вызвал, через часового, начальника караула, краснощекого, жизнерадостного подпоручика, и попросил дать нам чего-нибудь поесть. Подпоручик обещал сделать соответствующее распоряжение, и вслед за тем дежурный дневальный принес нам большую горбушку свежего черного хлеба. Я был вполне удовлетворен и с жадностью набросился на ароматный солдатский хлеб, очень любимый мною, но отец, беспокоясь о моем здоровье (мы третьи сутки оставались без горячей пищи, если не считать нескольких ложек холодного супа за $^{1}/_{2}$ часа до «боя»), вторично вызвал

караульного офицера и спросил, почему нам не дали чаю. Подпоручик, краснея, смущенно объяснил, что полученные комендантом инструкции определенно предписывают держать нас на пище, положенной при простом аресте для нижних чинов – давать раз в сутки обед, состоящий из щей с мясом, каши и 2 $^{1}/_{2}$ фунтов черного хлеба на человека.

Теперь, через 20 лет после экспериментов советских извергов и голодного галлиполийского «пайка», подобное меню показалось бы мне райским блаженством, но тогда, в 1905 году, оно не могло не возмутить нас обоих. Отец находился всего лишь под следствием и не был еще лишен судом ни прав состояния, ни даже только дворянского и офицерского звания, а потому распоряжение смертельного врага отца, адмирала Чухнина – держать нас на солдатском котле – являлось вопиющим произволом, ни чем не прикрытой подлой местью, вполне достойной этой низкой и черной души.

Мне-то, положим, было все равно, что ни есть, лишь бы не чувствовать голода, и я возмущался исключительно, так сказать, принципиальной стороною дела, но отец, напуганный моим внешним видом, довольно таки помятым после испытанных передряг, вышел из себя и набросился на ни в чем неповинного подпоручика:

– Послушайте, г-н поручик, ведь это преступление, неслыханная гнусность! Ну, хорошо, я – государственный преступник, «изменник», нарушитель наших законов; делайте со мною, что хотите – морите голодом, пытайте, вешайте – клянусь вам, слова не скажу! Я слишком хорошо знаю, г-н поручик, с кем имею дело. Но зачем вы мучаете моего бедного мальчика? Что он вам сделал? Ведь он ни в чем неповинен и влетел в историю совершенно случайно, по моей же вине! Меня казните, а его не смейте мучить, слышите, не смейте!

Голос отца пресекся, а из груди вырвался тяжелый стон. Бедный поручик, малый с добрым и чувствительным сердцем, страшно растерялся, сконфузился и стал чуть не со слезами на глазах уверять отца, что он тут ни при чем, что исполняет лишь приказание

высшего начальства, и что, со своей стороны, готов сделать для нас все, даже рискуя навлечь на себя...

Тут подпоручик прервал свою оправдательную речь, кивнул головой и, проговорив: «Одну минуту!», поспешно скрылся.

– Ну, зачем ты, милый папа, – сказал я, – Стоит ли? Велика беда! Проживем и без чаю, и еще как проживем!

– Не могу я видеть, как ты худеешь на моих глазах, – ответил отец, вытирая слезы. – Впрочем, быть может, тут одна моя мнительность, – продолжал он, запустив пальцы в мои волосы и откидывая мне голову назад. – Три дня не причесывался и не умывался – вот и кажешься таким страшным. Да к тому же эта дурацкая шинель... Сними ты ее, ради Христа!

Дверь отворилась, и дневальный, сопровождаемый подпоручиком, внес в каюту поднос с 2-мя стаканами жидкого чая, французской булкой и порядочным куском сливочного масла.

– Вот, г-н лейтенант, все, что могу, – предложил, конфузясь, славный юноша. – Не посетуйте. Через час меня сменяет с караула мой хороший знакомый, и я попрошу его позаботиться о вас и о вашем сыне.

– Вы – благородный человек, г-н поручик, – взволнованно проговорил отец. – Я был к вам несправедлив – простите меня. Если большинство сухопутных офицеров похожи на вас, то... то они не имеют ничего общего с г.г. офицерами Флота, – быстро и горячо закончил отец. – Поверьте, я говорю с полным знанием дела, – прибавил он, горько улыбнувшись.

Постояв друг перед другом – политический арестант и его страж – вдруг неожиданно обменялись крепким дружеским рукопожатием.

В свое время нам подали солдатский обед, который, несмотря на внутренний протест, мы съели с большим аппетитом. Часа через 2 начальство гауптвахты забегало и засуетилось – приехала следственная комиссия снимать с нас первый допрос («допрос» на «Ростиславе» был не допросом в настоящем смысле этого слова, а попыткой спровоцирования со стороны

адмирала Чухнина, личного врага отца и деда). Во главе следственной комиссии стоял генерал-лейтенант Колосов, но в тот день он еще не вступил в исполнение своих обязанностей и его заменял военный прокурор, полковник И. А. Ронжин, высокий, красивый мужчина, в безукоризненном сюртуке, с выстриженной под машинку круглой, как биллиардный шар, головой и пушистыми усами. О нем мне еще придется говорить. С отцом он держался изысканно вежливо. Сразу был виден человек хорошего воспитания, настоящий джентльмен, стальной закалки характера и большой внутренней дисциплины. Но не возникало ни малейших сомнений также и в том, что с тою же джентльменской выдержкой и корректностью этот бездушный и сухой карьерист спокойно отправит на виселицу не только отца, но еще десять, сотню, тысячу человек – одним словом, столько, сколько потребуют «высшие соображения».

Допрашивали нас отдельно. Начали с отца, а меня перевели в пустую камеру, выходившую в тот же коридор. Дверь моего временного помещения оставалась все время открытой, и я, когда дверь в камеру отца на минуту приоткрывалась, видел его сидящим у стола и диктующим секретарю комиссии свои показания в ответ на вопросные пункты прокурора.

Меня, по-видимому, никто не считал опасным государственным преступником; в мою камеру постоянно заходили какие-то офицеры, не имевшие ничего общего ни со следственной комиссией, ни с гарнизоном гауптвахты. Человек пять этих офицеров (как скоро выяснилось – Брестского полка) непринужденно расселись на стульях и клеенчатом диване вокруг стола, приказали дневальному подать чаю и, устроившись совсем по-семейному, завели оживленную беседу о кровавых событиях прошлой ночи – штурме и взятии мятежных морских казарм; все они принимали то или иное участие в подавлении мятежа.

Большинство офицеров было в полном походном снаряжении, а их возбужденные лица еще носили следы пережитых ночных волненнй и боевого задора. Меня они совершенно не замечали,

настолько не замечали, что когда, после долгих и мучительных колебаний, я попросил папиросу у одного пожилого капитана, самого добродушного на вид (мы с отцом сильно страдали из-за отсутствия табаку), он, с готовностью раскрыв портсигар, впервые обратил на меня благосклонное внимание и недоумевающе спросил, глядя на мою матросскую куртку:

– А ты, малый, как сюда попал? Ты кто?

– Я сын лейтенанта Шмидта и арестован вместе с отцом, – ответил я с гордостью.

– Что ты, голубчик, у Шмидта никогда не было детей, я его хорошо знаю, – небрежно отозвался незнакомый капитан. Я вытаращил глаза.

– Позвольте, господин капитан, – начал я, не приходя в себя от изумления, я...

Но капитан уже не слушал меня и, повернувшись к сослуживцам, продолжал свой рассказ.

Держа незакуренную папиросу, я простоял перед ним несколько минут с разинутым ртом. Наконец, рассмеявшись в душе, я прикурил у одного из офицеров и стал ходить из угла в угол, прислушиваясь к разговору.

– ...Рыщут прожектора, и светло, как днем, – рассказывал капитан. – Моя цепь залегла в трехстах шагах и лупит залпами. С их стороны работают пулеметы. Та-та-та... Но номера у них, по всему видно, ни к такой матери не годятся; дуют или через головы, или на сотню, а то и на две, шагов не достают. Животики надорвешь! Ребята смеются: «Морская пехота, одно слово!»

– Равного достоинства с морской кавалерией, – вставил один из слушателей.

– Ну, вижу такое дело – натурально – ребята, вперед!

Подымаются мои молодцы, бегут славно, не кланяются. Обстрелялись, черти! Перебежка – и залп. Перебежка – и залп. Таким манером добрались мы до этих казарм мало не к самым воротам. «Сдавайтесь!» – кричу. А матрозня пулеметы побросала – на дворе стояли – и сыпет к себе наверх так, что пятки сверка-

ют. Улепетывает вовсю! Я думал, было, следом за ними и быстрым манером, «молодецким ударом», как говорится, покончить со всей канителью: «ура», «в штыки!» и прочее – дело известное. Не тут-то было! Только мы к воротам – ка-ак они шарахнут из окон! И раз, и два, и три. Ребята затоптались, человек десять задело. Пришлось отходить и заводить всю музыку сначала. Так до утра и промучились. «Мы в них, они – в нас, а к себе не пускают, сукины дети! Но вот, чуть забрезжило, выходит из ворот какой-то шпак и машет белым флагом: Сдаемся, мол. Велю подойти. Подходит. Смотрю – жид по всем статьям! Закипело сердце. «Ах ты», думаю, «туды тебя растуды! Вот откуда зараза идет!» Развернулся – раз! Развернулся – два! Всю морду искровянил иуде проклятому. Кричу: «Сидоренко, прибавь!» Тот как саданет ему прикладом по затылку – жид кувырком и лежит. Гляжу – аминь. Оттащили в овраг и ждем новых послов. Матрозня видит из окон такое дело и уже своего высылает. Бледный, трясется. «Матросы», говорит, «с повинной головой до вашего высокоблагородия. Сдаемся», говорит. «С повинной головой?» спрашиваю. «Сначала капитана Штейна убили, а как увидели, что не выходит ваше дело, так с повинной головой? Мерзавцы вы», говорю, «хамово отродье!». Съездил, для порядка, по зубам, арестовал и кричу в окна: «Сдавай оружие, матросы!» Те выходят...

– Справа по одному, – снова вставил тот же офицер, по всем данным, бывший кавалерист.

...Выходят и несут по винтовке. Складывают, где приказал, в одну кучу, а засим отдаются, говоря высоким штилем, в руки правосудия.

Мы их, голубчиков, конечно, сейчас же – цап-царап и на цугундер. Роты все щели оцепили – кошке не проскочить, не то, что матросу. К 9 часам всех матросиков зацапали, переписали и повели... Вот и вся история.

– Сконапель истуар, – отозвался кавалерист.

– Что там ни говорите, капитан, а это ужасно, ужасно! – заволновался молодой бледный поручик с тоскливыми черными

глазами. – Позорная, трагическая нелепость! Неизвестно, за что в тебя стреляют свои, и ты стреляешь по своим!.. В своих братьев! Я был и под Ляояном и под Мукденом, но не испытывал и сотой доли того, что вчера испытал. Никогда не забуду этой ночи, никогда! Ужасно!

– Ужасно, ужасно! – передразнил его капитан. – Молоды вы, батенька, вот что! Что ужасно? Что вам на деле пришлось доказать верность присяге? Так это прекрасно, а не ужасно. А вот что в среде самих офицеров находятся изменники и клятвопреступники – это, действительно, ужасно!

«В наш огород», сообразил я.

– Но ведь свои, капитан, – слабо защищался поручик.

– Свои?! – резко вмешался кавалерист. – Свои? Черта с два! Для вас, поручик, они, может быть, и свои, что касается меня, то я скорей китайцев или людоедов согласен считать своими, чем этих негодяев, этих каторжников, этих каиновых душ, продавших свои винтовки жидовскому кагалу!..

– Браво, барон! – зааплодировал капитан. Большинство офицеров шумно выражало свое одобрение. В разгар спора и восклицаний в дверь заглянул секретарь комиссии, низенький и толстенький капитан, и недовольно произнес:

– Нельзя ли потише, господа? Вы мешаете комиссии работать.

Офицеры сконфузились и замолчали, а кавалерист предложил:

– Идемте в другую камеру, господа.

Офицеры последовали приглашению кавалериста, и я остался один. Время тянулось томительно и тревожно. Беспокойство за отца усиливалось с каждым часом. Подкараулив вышедшего за чем-то в коридор прокурора, я попросил его, хоть на секунду, показать мне отца.

Ронжин чрезвычайно предупредительно распахнул передо мною дверь нашей камеры, и я увидел бледное и усталое лицо отца, третий час дающего показания.

– Удовлетворены? – улыбнулся Ронжин.

Я поблагодарил, вернулся к себе и снова зашагал из конца в конец.

Допрос отца длился больше трех часов. Стемнело, и зажглось электричество, когда ко мне вошел Ронжин и заявил, что сейчас допросит меня. Мой допрос кончился в каких-нибудь 5-10 минут, причем Ронжин сам записал мои показания; секретарь успел уехать. Мы еще заранее условились с отцом, что я буду говорить одну голую, неприкрашенную правду – скрывать мне было нечего.

Я показал, что приехал на «Очаков» в 3-м часу ночи, по приказанию отца, активного участия в мятеже не принимал, если не считать таковым наблюдение с капитанского мостика за эволюциями эскадры.

– Было ли вам известно что-либо о готовящемся участии вашего батюшки в мятеже? – задал мне Ронжин ехидный вопрос:

– До последней минуты – не было, – искренно ответил я. – Отец сам не предполагал ехать на «Очаков», а собирался в Одессу. 14-го числа, в 2 часа дня, к нему прибежал матрос с «Очакова, и отец отправился с ним, едва успев со мной попрощаться.

– Так что с 14-го числа вы могли предполагать, что ваш отец станет во главе возмутившихся кораблей? – продолжал Ронжин.

– Не предполагал, а знал наверное, – ответил я вызывающе, наивно думая в то же время: «Неужели у тебя хватит смелости спросить меня, почему же я, в таком случае, не побежал донести на отца?».

Но Ронжин, конечно, этого не спросил. Наклонив голову, он быстро записал мое показание и попросил рассказать ему вкратце, что делал я во время «боя».

Я с недоумением посмотрел на него и рассказал все, как было – и свое стояние у щита 6-дюймового орудия, и наблюдение за атакой «Свирепого», и встречу с отцом на обломках «Очакова», и слова отца: «умрем вместе», и бегство на миноносце № 270.

– Благодарю вас, – сказал Ронжин, видимо, чем-то очень довольный. – Ваши показания вполне сходятся с показаниями Петра Петровича. Я убедился, что вы правдивый и честный молодой человек, горячо любящий, к тому же, своего отца. С моей сторо-

ны не встретится никаких препятствий для дачи благоприятного отзыва на предмет скорейшего вашего освобождения.

Ронжин закрыл журнал и, уже стоя, спросил:

– Еще один вопрос – не очень существенный, но важный лично для меня. Вы разделяете политические убеждения вашего батюшки?

– Даже если бы я их совершенно не разделял, я счел бы величайшей подлостью ответить отрицательно на ваш вопрос, – с горячим негодованием отозвался я.

– Представьте, я ждал от вас именно такого ответа, – заметил Ронжин с тонкой улыбкой. – До свидания!

Он слегка щелкнул каблуками и вышел. Я сейчас же побежал к отцу.

Допрос его сильно утомил. Я выразил свое удивление, почему он так подробно давал показания. Для кого и для чего?

– Для России, – тихо ответил отец. – Пусть она все узнает.

То обстоятельство, что следственная комиссия приступила к допросу на третий день после ареста, наводило на самые печальные размышления. Очевидно, с делом торопились; для подобного заключения не требовалось особой прозорливости. Но все же мы были далеки от мысли, что нас собираются предать военно-полевому суду. А, между тем, так оно и было; в описываемый момент, 17 ноября, нам грозил военно-полевой суд, о чем я узнал только по выходе своем на свободу. На другой день, однако, получилось приказание свыше – передать дело отца и матросов на рассмотрение обыкновенного, военно-морского, суда. Почему петербургские власти сочли нужным вмешаться в распоряжения местных властей, олицетворявшихся палачем отца, адмиралом Чухниным, является для меня тайной и до сих пор. «Высшие соображения» внутренней политики? Безусловно. Но какие именно? О желании сохранить декорум законности не стоит и говорить. Вопиющие правонарушения (о них будет речь ниже), совершенные на суде во время процесса очаковцев председателем суда, полковником Александровым, доказывают с очевидностью всю

несостоятельность подобного предположения. Но если правительство не было заинтересовано в соблюдении элементарных приличий при расправе со своим политическим врагом, то что же тогда оно имело в виду, отменив первоначальный замысел Чухнина – покончить с очаковцами посредством военно-полевого суда? С другой стороны, с делом спешили; очаковцев, вместе с отцом, выделили в отдельную от казарм группу, чтобы судить в первую голову, а морской министр, адмирал Бирилев, бомбардировал Чухнина из Петербурга телеграммами, в коих требовал, по личному приказанию Императора Николая, скорейшей расправы с «этим изменником». Казалось бы, что в таком случае удобнее военно-полевого суда? И дешево, и сердито. И перед обществом срамить себя отсутствием фигового листка не придется (уж очень громкий был процесс, даже не на всю Россию, а на всю Европу – в итальянской газете сам видел подробный отчет), и Монаршее желание получит полное удовлетворение. Но чтение в сердцах – не мое призвание.

После допроса, нарушая волю Главного Командира, нам подали чай с белым хлебом, и мы славно, почти по-домашнему, провели за столом несколько часов. Сидеть и разговаривать мы могли хоть до утра – электричество всю ночь было к нашим услугам.

Этот вечер весь прошел за воспоминаниями о недавнем прошлом – рейде на «Свирепом», «бое», бегстве на № 270, издевательствах г.г. офицеров – героев, своего рода, «времен очаковских и покоренья Крыма»... Мы избегали только говорить о будущем – суде и ожидаемом приговоре, и о прошлом – нашей жизни на Соборной. Разговор о том и о другом причинял нам одинаковую боль.

Наше пребывание на главной гауптвахте длилось неполных двое суток. На другой день, 18 ноября, вскоре после обеда, нас известили о переводе на новое место. Куда повезут – разумеется, не сказали. Переезд обставили с прежней таинственностью. Когда стало темнеть, нас вывели и посадили в большой четырехместный шарабан с поднятым верхом. Шарабан окружили, по крайней мере, взводом солдат.

Против нас уселся адъютант штаба крепости, капитан О'Ллонгрен, благоухающий дорогими духами, выхоленный и высокий блондин. Моросил тоскливый осенний дождь; кусочек неба, которого не закрывал верх, был противного, грязно-серого цвета, грязь сочно хлюпала под ногами лошадей, резкий ветер часто врывался в наше убежище, охватывая пронизывающим ознобом все тело; однообразный шум морского прибоя наводил на гнетущие мысли о беспросветном будущем...

О'Ллонгрен всю дорогу угощал нас великолепными папиросами с одуряющим ароматом и старался быть занимательным собеседником. Нейтральные темы как-то не вытанцовывались, и адъютант, незаметно для себя, съехал на событие 15 ноября. Он рассказал, между прочим, что творилось в городе во время «боя». Картина получилась не менее любопытная, чем та, которую наблюдал с балкона «боевик» с.-р. Мельников. Толпы «товарищей» и любопытной публики с красными флагами, запрудившие все центральные улицы Севастополя, особенно Приморский бульвар, рассыпались во все стороны, как зайцы, после первого же залпа «Ростислава» по «Очакову». Город замер и опустел; не только на улицах не встречалось ни души, но и дома стали необитаемыми; можно было войти в любой дом и безнаказанно ограбить его до нитки. Одним словом, точно чума прошлась по городу. Для объяснения сего феномена требовалось выйти на балаклавское шоссе. По нем двигались десятки тысяч людей, с чадами, домочадцами и тем скарбом (большею частью ненужным, как это всегда бывает во время паники), который успели захватить. Творилось нечто невообразимое. Подхлестываемые непрерывно грохочущими адскими залпами, люди бежали с вытаращенными от безумного страха глазами, перегоняли, валили, давили друг друга.

Только на другой день, по словам капитана О'Ллонгрена, жители стали возвращаться по домам. В городе, объявленном на осадном положении, восстановилось полное спокойствие; ни митингов, ни демонстраций, ни закрытых собраний не происходило; о местонахождении отца никто ничего не знал; вся военная

и гражданская власть перешла к командиру VII армейского корпуса, коим был назначен усмиритель севастопольского мятежа, будущая всероссийская знаменитость, генерал-лейтенант барон Меллер-Закомельский. Реакция торжествующе била в литавры и, забыв позорный Портсмут, клеймила повстанцев именем изменников и предателей отечества. «Товарищи» всех толков и наименований забились в глухое подполье и боялись высунуть нос; любители из публики, так называемые «непримиримые», обратились в благонамереннейших получателей 20-го числа.

Только полузадушенный «Крымский Вестник» хрипел что-то нечленораздельное об общественном мнении и Государственной Думе, пробавляясь, впрочем, больше фельетонами на темы – о неисправности городского водопровода и косности педагогов. Политическая метаморфоза, сопровождавшаяся отступлением по всей линии прогрессивной общественности и яростным натиском «столпов отечества», ген. Меллер-Закомельского и адмирала Чухнина, не имела, однако, в моих глазах прочного, долговременного характера. Проигрыш одного сражения не всегда знаменует крах всей кампании. С открытием Государственной Думы военные действия должны были возобновиться, и от того или иного их исхода зависела участь отца, если б... если б... с отцом не предпочли покончить раньше, на что имелось 99 шансов из 100.

Эти соображения мелькали в моей голове во время болтовни капитана О'Ллонгрена, и хотя холодный рассудок приходил к самым безотрадным выводам, чувству не было до них никакого дела, и необузданная фантазия услужливо рисовала картины грядущего освобождения и всенародного триумфа отца.

По какой дороге мы ехали, у какой пристани остановились – не знаю. Темная ночь, непонятное часовое кружение вокруг да около лишало нас способности ориентироваться. Помню только, что остановились мы на пустынном берегу, около одинокий пристани. У пристани стоял большой баркас, недалеко от берега виднелся силуэт корабля; в нем мы сейчас же узнали транспорт «Дунай»,

на котором служил старшим инженер-механиком наш друг В. Г. Володзько. О'Ллонгрен передал нас на баркас морскому офицеру, любезно распрощался с нами, пожелав счастливого пути (!), и баркас отвалил.

Хотя расстояние от берега до «Дуная» равнялось, приблизительно, всего саженям 100, так что здесь вряд ли могло иметь место нападение на баркас, но меры предосторожности начальство приняло чрезвычайные. Прожектор не освещал наш путь, и ртов завязывать нам не собирались, но конвой для охраны больного человека и слабого 16-летнего юноши, по-прежнему, был несоразмерно велик.

Мы сидели, каждый, между 4-мя часовыми; остальных конвойных, не считая гребцов, насчитывалось не менее 16-ти человек. Отчасти, Чухнин не совсем ошибался и преувеличивал опасность; имя одного человека бывает иногда страшнее пушек и ружей возмутившихся полков и дивизий.

Матросы дружно налегли на весла и минут через 5 баркас подошел к левому борту «Дуная». Отец почти самостоятельно поднялся по трапу на палубу, лишь слегка опираясь на плечо одного из конвойных; на контуженную ногу он уже ступал довольно свободно.

Отца встретил командир транспорта, капитан 2 ранга Сабсай. Осветив отца с головы до ног ручным фонарем, командир убедился, что отца в дороге не подменили, и что перед ним, действительно, бывший «Главный Командир» мятежного флота собственной персоной. Он сделал знак, и отца повели в помещение для офицеров. Я двинулся за отцом, не обращая на командира никакого внимания, но последний схватил меня за рукав и повернул к себе.

– Это еще что за фрукт? – спросил он, обращаясь к конвойному офицеру.

Тот объяснил, кто я, и Сабсай нерешительно выпустил мой рукав, подозрительно ощупывая меня глазами. Я поспешил присоединиться к отцу.

Наше полуторасуточное пребывание на «Дунае» ничем не напоминало мытарства на «Ростиславе». Во-первых, нам отвели

большую роскошную каюту с обшивкой из красного полированного дерева и со всеми удобствами: двумя ослепительной белизны койками, умывальником с туалетными принадлежностями, зеркалом, круглым обеденным столом, мягкими стульями.

Вся каюта, за малыми исключениями, была устлана и обвешена коврами. Мы с наслаждением зарылись в роскошное белье, и моментально заснули. Выспались мы превосходно и встали с окрепшим телом и бодрым духом. Нам подали кофе со сливками и сдобными булками, а в 2 часа – изысканный и обильный обед из четырех блюд. Ко всем благам добавили полбутылки превосходного белого вина, а после обеда принесли, в коробках, 2 сотни отличных папирос и четыре пачки месаксудиевского табаку. Мы с отцом недоумевали и невольно стали подозревать какую-то каверзу со стороны начальства. Но каверзы не было никакой. Просто-напросто на борту находился наш друг и единомышленник (хотя и не из активных, надо отдать справедливость), бывший член «тайного общества» В. Г. Володзько. Каким образом ему, занимавшему на «Дунае» скромную, сравнительно, должность, удалось обставить наш переезд с таким небывалым для государственных преступников комфортом – составляет его тайну. Отношение офицеров не оставляло желать ничего лучшего. Так, ими, тайным образом, через доктора, были переданы отцу одесские газеты, полные самыми дикими, фантастическими подробностями относительно морского «боя» 15 ноября и еще более неправдоподобными сведениями об участи отца.

Доктор, милейший малый, пробыл у нас в каюте, под предлогом консультации, не менее 2-х часов, поделившись с отцом всеми новостями, какие только знал сам.

Думаю, что и доктору доставляла не меньшее удовольствие, чем нам, беседа с «красным адмиралом», как отца успели окрестить газеты, а предвкушение бесконечных разглагольствований среди родных и знакомых на интересную тему о тех или иных словах, сказанных ему, неизвестному доктору, ставшим знаменитым на всю Россию лейтенантом Шмидтом, заставляло его, наверное, гореть от нетерпения.

Отец, видя к себе такое, более, чем благожелательное, отношение офицеров корабля, решил попытаться переговорить с Володзько и вызвал для этой цели старшего офицера, капитана 2 ранга Демченко (отца моего товарища по классу).

Капитан Демченко, «du простой», как острили на его счет моряки, истые представители белой кости и голубой крови, чрезвычайно дорожил своим местом, держась за него, что называется, зубами, благоговел и дрожал перед начальством.

Просунув испуганную физиономию в нашу дверь, Демченко в ужасе замахал руками, когда отец изложил ему свою просьбу – повидаться с инженер-механиком, капитаном Володзько, хотя бы в его, Демченки, присутствии.

– Не могу, лейтенант Шмидт! Не могу! Что вы, что вы, лейтенант Шмидт! – Забормотал отменный службист, даже вспотев от страха.

– Да ведь, в вашем присутствии, капитан, – не отставал отец.

– Не могу, не могу! Что вы, лейтенант Шмидт! – И, взмахнув еще раз руками, добродетельный человек скрылся, шепнув что-то на ухо часовому.

Но наш друг не дремал. Узнав, что отцу не дали с ним свидания, Витя сам пошел к нам навстречу. Свет в нашу каюту проникал через большой стеклянный люк, закрытый, но не наглухо. Помощью болтов, он приподымался. На это обстоятельство начальство не обратило должного внимания. Что же делать! На всякого мудреца довольно простоты.

Когда стемнело, мы услышали наверху легкий шум, а затем к нам упала записка. Записка была от Вити. Не помню точно ее содержания; Володзько, в числе прочего, писал, чтобы отец рассчитывал на него, что он сделает для облегчения нашего положения все возможное, что известит сестру отца и г-жу Р. о нашем местонахождении. Эта записка сильно обрадовала отца, но зато Вите обошлась слишком дорого, именно – увольнением в отставку. Какими путями суровое начальство проведало о преступлении бедного Вити – передаче записки «красному адмиралу» – трудно

установить, но, кажется, дело не обошлось без участия «du простого». Не могу не упомянуть, что, кроме отставки, на Витю обрушилась другая беда, неизмеримо горшая. Его жена, Мария Павловна, прелестное существо, после севастопольской катастрофы и несчастья, стрясшегося над отцом, сошла с ума и сгорела в две недели, оставив нашему другу трех сироток.

На следующий день, 20 ноября, в 10 часов утра, «Дунай» остановился в виду какого-то острова. То была Очаковская крепость; остров находился в 2-3 верстах от самого Очакова. В крепости отцу уготовили место до суда. По иронии судьбы, отец, начав с «Очакова» в кавычках, кончил Очаковым без кавычек.

Мы с сожалением покидали гостеприимный «Дунай». Отец обратился к капитану Сабсаю, провожавшему нас с мрачным видом, и поблагодарил, в его лице, г.г. офицеров транспорта «Дунай» за теплое и заботливое отношение. Сабсай глянул исподлобья, но ничего не ответил, даже не кивнул головой. Мы спустились в шлюпку, на этот раз с гораздо меньшим количеством конвоя, чем в предыдущих случаях, и молодой мичман, отвозивший нас на остров, звонко скомандовал:

– Весла!.. На воду!

Погода стояла чудная: солнечная, теплая, ласковая – настоящая весна. Море тихо шумело, и ленивые попутные волны помогали гребцам уносить на остров смерти обреченного ей «красного адмирала».

XIV

Очаковской крепостью неправильно называется один из передовых фортов Очакова, расположенный на маленьком островке. Форты знаменитого Очакова – одна из крупнейших твердынь русского могущества на Черном море. Они тянутся по обе стороны крохотного, грязного, с одной улицей городка, носящего громкое, историческое имя, и образуют дугу с общим протяжением приблизительно в 4-5 верст. Береговые форты снабжены 8, 6 и

$4^1/_2$- дюймовыми орудиями; вынесенный же на остров передовой форт, так называемая Очаковская крепость (говорю «так называемая», потому что «крепостью», в настоящем смысле слова, должна называться вся совокупность фортов, а не какой-нибудь один из них, хотя бы и важнейший) имела орудия 10-ти и 11-дюймового калибра. На острове, занимающем наивыгоднейшее положение в стратегическом смысле и неуязвимом для сухопутных сил противника, помещаются центральные артиллерийские склады-магазины, погреба и казематы; к складам примыкают казармы солдат артиллерийского парка и одного батальона пехотного полка; эти части составляют гарнизон крепости в мирное время.

Очаковская крепость, как неприступная с суши, была избрана местом заключения моего отца, опаснейшего, с правительственной точки зрения, государственного преступника, одно имя которого могло, по мнению властей, внушить крамольные мысли благонамереннейшему из обывателей. Надо отдать справедливость верховному тюремщику отца, командующему войсками Одесского военного округа генерал-от-кавалерии барону А. В. Каульбарсу: в смысле изоляции отца от внешнего мира и пресечения всякой возможности сношения с кем бы то ни было, Очаковская крепость являлась идеальным решением задачи.

Нас поместили в крайний каземат, окна которого упирались в глухую стену огромного маяка. Шагах в 15 от входа в каземат, слева, смотрело на юго-восток жерло одного из 11-дюймовых орудий. Каземат имел 12 шагов в длину и 8 в ширину, два окна высотою в полтора человеческих роста и сводчатый потолок. С обеих сторон каземата находились нежилые камеры, не сообщавшиеся с казематом, но из которых, вследствие тонких стенок, можно было слышать каждое слово, произнесенное у нас. В эти камеры на время нашего заключения вселили двадцать «недреманных ок» – десять голубых мундиров, по пяти человек на камеру.

Наша тихая пристань отапливалась железным камином и украшалась парою кроватей, обеденным столом и четырьмя табуретками. Огромные окна пропускали достаточное количество све-

та, наружные стены каземата, к нашему прибытию, были заново оштукатурены, так что, в смысле элементарных удобств, потрясатели основ не могли рассчитывать ни на что лучшее.

Солнце щедро слало свои жизнерадостные лучи в запыленные оконные стекла угрюмого каземата, когда мы с отцом переступили порог своего последнего горестного этапа. Один из приставленных к нам жандармов затопил камин, два других принесли обед – хлеб, щи с мясом и кашу, а третий, с каменным выражением лица, уведомил отца, что в любую минуту дня и ночи один из дежурных жандармов может быть вызван нами стуком в стену.

Мы как-то сразу освоились с мрачным обиталищем. Грязные стены каземата показались нам давно-давно знакомыми, положение заживо похороненных политических арестантов – естественным и привычным, а прежняя, свободная жизнь полноправных граждан – бесконечно далекой, почти позабытой. Меня это не удивляет. Задолго до катастрофы мы мысленно проделали весь скорбный путь, предвидели конечный этап, привыкли к мысли о нем и, подготовленные и примирившиеся с неизбежным, ослабили силу обрушившегося на нас удара.

В первый же день пребывания в крепостном каземате – 20 ноября – мы имели удовольствие познакомиться с нашим, если можно так выразиться применительно к данному случаю, непосредственным начальством, жандармским ротмистром П.К. Полянским, в ведении которого находились все сторожившие нас 10 жандармов. Это была довольно бесцветная личность, с до безобразия большими усами и наружностью типичного пехотного офицера. Он начал с того, что, войдя в каземат в сопровождении 2-х жандармов, щелкнул шпорами и корректнейшим образом представился моему отцу. Затем он ознакомил нас с иерархической, так сказать, последовательностью нашей зависимости. Верховным нашим стражем был командующий войсками округа генерал Каульбарс. Он отвечал непосредственно перед Государем за сохранность отца, и исключительно от него зависело применение к нам тех или иных условий тюремного режима.

Весной 1904 г. на пароходе Русского Общества по дороге из Одессы в Севастополь, призванный из запаса на действительную службу отец познакомился с генералом Каульбарсом, направлявшимся в Крым по своим делам, и довольно долго беседовал с ним на военные темы в связи с прогремевшим на весь мир боем при Чемульпо. Знакомство ограничилось совместным плаванием, но теперь возобновлялось при несколько иных обстоятельствах.

За Каульбарсом следовал комендант Очаковской крепости, генерал-лейтенант Григорьев, пленниками которого мы теперь были и который нас непосредственно «охранял», руководствуясь директивами командующего округом. Но фактическим нашим стражем и господином являлся ротмистр Полянский, «очи и руки» генерала Григорьева, взвалившего на Полянского всю черную работу по содержанию узников.

В этом отношении действия ротмистра не ограничивались почти ничем. Он мог значительно смягчить условия нашего заключения, или же сделать их невыносимо тяжелыми. И я должен сказать, что, жандарм с головы до пят, Полянский, тем не менее, способствовал, насколько был в силах, облегчению последних минут жизни моего отца.

Покончив о официальной частью, Полянский спросил отца, в чем мы наиболее нуждаемся. После короткого разговора, нам были обещаны обеды из двух блюд, чай утром и вечером и, в достаточном количестве, табак. Все продукты Полянский брался доставлять нам на свой риск и страх; распоряжением генерала Каульбарса нас, по-прежнему, предписывалось держать на солдатском пайке. Когда отец заметил, что за все будет заплачено его сестрой, ротмистр перебил его холодно и небрежно:

– Об этом не беспокойтесь.

Действительно, дня через три мы стали получать прекрасный сытный обед, с третьим блюдом по праздникам. Хотя куски не лезли в горло, мы чувствовали нечто вроде удовлетворения по случаю одержанной нами продовольственной «победы» над грозным Каульбарсом.

С большим трудом мы добились от Полянского обещания книг для чтения. Разрешенных книг душеспасительного содержания деликатный ротмистр предложить нам не решился, беллетристика же для него была, очевидно, вполне terra incognita и в каждом произведении, совершенно безобидном с точки зрения покушения на существующий строй, он видел какие-то намеки на политику. После долгих колебаний, Полянский принес нам «Ниву» за 1902 год и несколько книг романов Шеллер-Михайлова. Но первое время нам было не до чтения. Потрясенный организм требовал продолжительного отдыха, и мы с отцом отсыпались вовсю. Ложились рано, по утрам долго валялись в постелях и спали еще часа 2-3 после обеда.

Запрещение гасить по ночам лампу преследовало нас и здесь. Но мы скоро приспособились: стали заставляться от света книгами и пустыми коробками из-под гильз. Я спал, большею частью, превосходно, не подозревая, что несчастный отец часто не спит и думает свои горькие, одинокие думы. Обед приносили двойной – казенный и «жандармский», приготовленный ручками m-me Полянской, очень вкусный, почти изысканный. Чай, от безделья, мы пили целый день, с утра до вечера, погруженные в чтение доставленной ротмистром «литературы» или вспоминая трагические подробности чудовищной катастрофы. Часов в 5 приносили казенный ужин – кашу и щи от обеда, оставляемый нами, как и казенный обед, без всякого внимания. В 9 часов мы уже ложились спать.

Несколько ночей подряд, в первую неделю заключения в крепости, меня душил один и тот же кошмар. Картина недавних ужасов переживалась во сне с необыкновенной реальностью. Мне снилось, что я плыву в ледяной воде среди моря людских голов и бесчисленных фонтанов рвущихся снарядов и никак не могу доплыть до миноносца. Тело коченеет и сводится судорогой, дыхание спирает от ужаса и изнеможения, вода постепенно краснеет и, наконец, становится красной, как кровь. Я плыву в море человеческой крови. Силы покидают меня, я вскрикиваю, иду ко

дну и просыпаюсь. Отец трясет меня за плечо и с нежной тревогой спрашивает:

– Опять кошмар?

– Опять, – отвечаю я, щелкая зубами от внутреннего озноба. Отец заботливо окутывает меня одеялом, мы закуриваем папиросы и долго, без сна лежим на постелях, устремив взор сквозь железный переплет оконной решетки в сплошной мрак глухой, бесконечной ночи. Мало-помалу дрема охватывает меня, и я спокойно засыпаю до утра.

Ротмистр Полянский навещал нас каждый день. Визит его продолжался не более четверти часа. Он справлялся о нашем здоровьи, спрашивал, исполняя формальность, не имеем ли мы претензий, и, окинув внимательным оком убогую обстановку и серые стены каземата – нет ли каких-либо нежелательных перемен – откланивался и уходил.

Сперва, по неопытности и наивности душевной, мы принимали вопросы Полянского о наших нуждах и претензиях всерьез, как желание ротмистра исполнить любую нашу просьбу, не выходившую за пределы допустимого. Скоро, однако, мы убедились в ошибочности нашего предположения. Полянскому, очевидно, были даны столь точные инструкции; полномочия его, в общем, довольно широкие, ограничивались, тем не менее, такими твердыми и определенными рамками, что иная, самая невинная, казалось бы, просьба часто натыкалась на резкий и категорический отказ. Так, например, когда, тяготясь появившейся на подбородке густой щетиной, отец попросил бритву, Полянский взглянул на отца большими глазами и, пожав плечами, как бы удивляясь несообразности подобной просьбы, решительно заявил, что исполнить желание отца совершенно невозможно и что ему «даже странно». Отец, в свою очередь, вытаращил глаза. Но подумав, понял опасения начальства, расхохотался и предложил, в таком случае, побрить его одному из жандармов, а его самого «хоть привязать к стулу». Но и такая комбинация не улыбнулась Полянскому, и он продолжал твердить свое «невозможно». С большим трудом отцу удалось добиться от

предусмотрительного жандарма разрешения подстричь бороду ножницами, причем эту операцию проделал над отцом один из заслуженных жандармов, пользовавшийся у ротмистра особым доверием. Описанный случай убедил нас в бесполезности почти всех просьб, выходящих из узкой сферы телесных нужд. В каждой естественной и понятной, на наш взгляд, просьбе начальство склонно было видеть чуть ли не политический комплот. Иногда сам Полянский сознавал всю бессмысленность некоторых охранительных мер, но, видно, инструкции барона Каулъбарса к свободному толкованию отнюдь не располагали. Впоследствии режим значительно смягчился, и отец получал с воли все, о чем просил – до свежих газет и сочинений Лассаля в красном переплете включительно. Было ли причиной сей перемены фронта давление общественного мнения, или невольная дань уважения со стороны палачей и тюремщиков отца – судить не берусь; возможно,что и то, и другое вместе.

Но чем бы ни вызывались позднейшие льготы, Полянский, по собственной инициативе, часто переходил пределы своих полномочий, распространительно толкуя завоеванные «права», а в сомнительных случаях всегда разрешая вопрос в сторону, благоприятную для отца. Но, повторяю, правительственная «смена вех» в отношении отца, с ориентацией на гуманность, произошла значительно позднее, в первое же время, в смысле различных запрещений и недопущений, нам приходилось довольно туго.

Самым тяжелым лишением было для отца отсутствие газет. Полное неведение творившегося за стенами каземата в положении отца, прекрасно сознававшего, что по всем статьям законов Империи Российской ему грозит смертная казнь, было особенно мучительно.

Получать газеты легальным способом – не стоило и пробовать; оставались пути нелегальные – содействие жандармов. Отец стал осторожно зондировать почву. Сначала все его попытки наладить «добрососедские» отношения с тюремщиками, добиться их доверия и сочувствия разбивались о твердокаменность вымуштрованных

голубых мундиров. Все его обращения и шутливые подходцы встречали неизменно ледяные «Никак нет» и «Не могу знать».

Казалось, никакие слова не могли прошибить испытанной брони, покрывавшей непроницаемым слоем сердца этой особой разновидности человеческого рода, созданной условиями тысячелетнего рабства.

Я мучительно страдал за отца, видя его заигрывание с людьми, не стоившими его плевка, и часто высказывал ему свои соображения о безнадежности затеянного им предприятия. Но отец не сдавался и упорно продолжал атаку жандармских твердынь.

– Погоди, брат, – говорил он, уверенно улыбаясь, – будет по-моему. Ты еще не знаешь русской души. В какой мундир ее ни наряжай, сколько лет ей ни долби о беспрекословном повиновении начальству – свободная воля все же, нет-нет, да и покажет себя.

И отец оказался прав. Один из жандармов не выдержал повторных атак и сложил оружие. То был молодой парень, рядовой жандарм, лет 25-ти, с бледным, красивым и интеллигентным лицом, всего год как сменивший драгунский мундир на голубой. Не знаю, какими путями отцу удалось покорить его сердце. Я, по правде сказать, не вслушивался в разговоры отца с нашими тюремщиками. Со свойственным моему возрасту прямолинейностью, нетерпимостью и нежеланием скрывать свои чувства, я не только не вступал никогда с жандармами в какие бы то ни было разговоры, но старался даже не смотреть на них, не умея ни прощать, ни находить оправдания в общих условиях эпохи, не допуская, что и под голубым мундиром может биться честное русское сердце.

Однажды во время дежурства Хлудеева (такова была фамилия «новообращенного»*), когда мы с отцом только что приступили к вечернему чаепитию, он нерешительно вошел к нам, поздоровал-

*) Десять жандармов, постоянно жившие во время заключения отца в Очаковском каземате в двух смежных камерах, по пяти человек на каждую, разбивались на 5 дежурств по 2 человека для обслуживания наших нужд: уборки каземата, доставки обедов и ужинов и т. д.

ся, переступил с ноги на ногу, оглянулся и вытащил из голенища «Одесский Листок».

– Извольте получить, ваше благородие, – промолвил он тихо, смотря на отца преданными, печальными глазами больного животного, – только, сделайте милость, читайте, чтоб часовым неприметно было. Не то – пропали мы все.

Кто это «мы» – я пропустил тогда мимо ушей, пораженный донельзя небывалым явлением – фактом перехода жандарма на сторону революции.

– Спасибо, спасибо, голубчик, – взволнованно стал благодарить отец, пожимая Хлудееву обе руки, – будь покоен, не подведем. Спасибо, родной!

Лицо жандарма исказилось, как от жестокой боли, он издал странный звук, словно поперхнулся, круто повернулся и вышел.

– Что, видишь? – торжествовал отец. – Не говорил я тебе? Подожди, дальше будет еще лучше.

Действительно, дальше было еще «лучше». Приняв все меры предосторожности, мы жадно развернули газету и с лихорадочным нетерпением стали пробегать столбцы.

Да, отца не забыли. В газете о нем говорили в нескольких местах. С первых же слов мы убедились, что имя отца окружено ореолом подвижничества и славы, что про него сложились бесчисленные легенды. Так не писали, до сей поры, ни об одном русском народном герое. Чувствовались всеобщая любовь и поклонение, принимавшие временами оттенок настоящего фанатизма.

Но, с другой стороны, сведения об отце были, большею частью, самого неправдоподобного свойства. Мы оба вздрогнули, когда наткнулись на телеграмму какого-то «собственного» горе-корреспондента, сообщавшего о казни отца с уверенностью, не оставлявшей места сомнению. Отец несколько раз перечел эту «корреспонденцию», и лицо у него потемнело. Я попробовал, было, посмеяться над осведомленностью жадного до построчных писаки, но отец отнесся к заметке серьезнее, чем я ожидал.

– Предзнаменование, – прошептал он.

Как ни странно, но «утка» «Одесского Листка» убила последнюю надежду отца на благоприятный исход будущего процесса. Загадочны, таинственны и необъяснимы изгибы души человеческой!

Проклятая телеграмма отравила всю нашу радость. Мы долго сидели над газетой, молчаливые и подавленные, полные тяжелой тоски.

С тех пор в каждое дежурство Хлудеева мы получали от него пачку газет за дни, протекшие с последнего его дежурства и держались в курсе всероссийских событий. Декабрьское восстание в Москве заставило нас воспрянуть духом, но, увы, не надолго. Восстание подавили, третья по счету всеобщая забастовка с треском провалилась, и правительство справедливо праздновало победу. Стремительный бег в предопределенной орбите, ведший нас к неизбежному концу, безостановочно продолжался, и с каждым днем укреплялось сознание, что никто не помешает свершиться предназначенному.

Об ожидавшей отца участи мы усиленно избегали говорить. В глубине моего сознания непонятно уживались уверенность в неминуемом трагическом финале с надеждой на чудо, на вмешательство каких-то таинственных сил, которые должны были вырвать моего отца из объятий смерти. Я надеялся до последней минуты, и вместе со мной надеялось все русское общество; оно надеялось на победу разума над безумием, надеялось, что власть одумается и не решится бросить вызова всей мыслящей России. И только одни отец не питал никаких иллюзий. Я не хочу сказать, что у него совершенно не было надежды. Без надежды, как и без веры, хотя бы с горчишное семя, жить нельзя. Потеряв последнюю надежду, люди сходят с ума или кончают самоубийством. И даже если отец представлял исключение из общего правила, согласившись 13 ноября пожертвовать собой и отправиться на «Очаков», то есть на верную смерть, то, с другой стороны, оптимист по натуре, он, скорее другого, готов был надеяться на луч-

шее. Когда я говорю, что отец «не питал иллюзий», то эти слова надо понимать в смысле полного сознания отца относительно предуготованной ему участи. Он предвидел, что будущий суд явится пустой формальностью, знал, что судьба его давно предрешена в апартаментах Зимнего Дворца. Но отец все-таки надеялся, не на чудо, конечно, а на нечто вполне реальное и возможное. И это реальное, действительно, имело место; одно время отец находился на волосок от спасения. И вот при каких обстоятельствах.

Гарнизон Очаковской крепости (т. е., собственно говоря, ее передового форта – острова, на котором мы сидели) к моменту нашего прибытия был усилен до одного пехотного полка; обычно, как я упомянул в начале главы, численность гарнизона не превышала одного батальона (не считая чинов артиллерийского парка). По-видимому, правительство имело существенные основания опасаться попыток освобождения отца со стороны десанта с судов Черноморского Флота, далеко еще не вылеченного от революционной заразы. Но подобная предусмотрительность едва не привела к совершенно обратному результату.

Однажды вечером, в середине декабря, вскоре после смены часовых, мы сидели с отцом за столом, изредка перекидываясь отрывистыми, неоконченными фразами. Газеты, принесенные Хлудеевым накануне, глухо говорили о повсеместном торжестве свирепой реакции, о задушенном свободном слове, о бесчисленных арестах и казнях.

Мысли бежали самые мрачные. Неожиданно раздался слабый стук в окно. Мы удивленно повернули головы. За решеткой обрисовывался темный силуэт часового, делавшего нам знаки. Отец подбежал к окну, встал на подоконник и отворил форточку. В тот же миг часовой бросил в отверстие скомканный клочок бумажки и отошел от окна.

Развернув бумажку слегка дрожащими руками, отец прочел катящиеся вниз строчки (привожу на память): «Ваше благородие, господин Шмидт. Мы, солдаты Очаковского гарнизона, сочувствуем вам и желаем всяческого благополучия. Мы сами давно

сознательные и понимаем, что страдаете за народ. Господь не допустит свершиться злому делу. Будьте благонадежны, ваше благородие, выручим».

Эти каракули, написанные заскорузлыми солдатскими пальцами, тронули нас до слез. С грязного кусочка бумаги на нас глянула наивная бесхитростная душа русского простолюдина и обвеяла животворящим теплом. Мы бросились друг другу в объятия и залились радостными слезами.

...В ту ночь мы не могли заснуть и проговорили до рассвета...

В следующее дежурство Хлудеев вошел в каземат с важным и таинственным видом. Передав очередные номера газет, он испытующе вперил лазоревые, как его мундир, глаза в лицо моего отца и осторожно прошептал:

– Изволили прочесть, ваше благородие?

Мы сразу догадались, о чем шла речь, оценив все значение и размеры назревавшего военного заговора.

– Читал, голубчик, как же! – шепотом же отвечал отец, выжидающе смотря на Хлудеева.

– Так что, ваше благородие, – продолжал Хлудеев, – вся крепость за вас, как один. Ежели, говорят, такому человеку да погибать, так где же тогда правда на свете? Нет тогда правды!

Хлудеев помолчал, как бы собираясь с мыслями, и отер рукавом пот, выступивший у него на лбу крупными каплями.

– И порешили, значит, ослобонить ваше благородие, – закончил Хлудеев, тяжело дыша и судорожно тиская фуражку. – Я, тоже, как увидал вас с сыночком, так и подумал: Не бывать тому! Пойду до солдатов. Многие, которые понимающие, встанут за ваше благородие супротив начальства. И точно, по-моему вышло. Растолковал, значит, как и что, а они и сами промежду собой давно согласны. До меня сговорились, выходит. Как один, ваше благородие! Истинный крест – все за вас!

Дверь звяклула стальными цепями, и в каземат вошел ротмистр Полянский. Я побледнел, но отец и Хлудеев не моргнули и глазом.

– Ты что? – обратился Полянский к Хлудееву. – Дежурный?

– Так точно, вашескородие! – отрапортовал Хлудеев, вытянувшись в струну.

– Ступай.

Хлудеев сделал «кругом» и, брякая шпорами, исчез в дверях..

Проводив Хлудеева холодным и пристальным взглядом, Полянский обратился к отцу с обычным вопросом о состоянии нашего здоровья и о том, нравятся ли нам обеды его жены. Отец рассыпался в похвалах и попросил ротмистра расцеловать за нас ручки его супруге в благодарность за превосходные обеды. Ротмистр процедил сквозь зубы что-то вроде «весьма рад» и, помолчав, сообщил о завтрашнем приезде в Очаков следственной комиссии во главе с генералом Колосовым для вторичного допроса отца.

Со стороны Полянского это уведомление было большой любезностью. Очевидно, он желал дать отцу время приготовиться к допросу и хорошенько обдумать свои ответы. Ротмистр только не знал, что готовиться и обдумывать было отцу не к чему и нечего; отец ничего не скрывал и говорил одну правду. Тем не менее, отец поблагодарил ротмистра за предупреждение, стараясь быть с ним возможно любезнее.

Оставшись одни, мы шепотом – стены каземата имели уши – стали обмениваться впечатлениями от личности Хлудеева и его роли в солдатском заговоре.

В первый момент, каюсь, я заподозрил бедного Хлудеева в двойной игре и посоветовал отцу соблюдать величайшую осторожность и сообщениям Хлудеева относительно тех или иных мер, принимаемых гарнизоном для нашего освобождения, особенной веры не придавать.

Отец вознегодовал и стал стыдить меня за ни чем не оправдываемую подозрительность; Хлудеев сразу и безоговорочно внушил отцу полное доверие.

Головой за искренность Хлудеева не поручусь, но не могу не заметить, что до конца заключения отца в крепости под надзором десяти жандармов, с ротмистром Полянским во главе, Хлудеев

не дал ни одного повода заподозрить себя в провокации. Так или иначе, отцу нечего было терять, а потому не следовало пренебрегать даже сомнительным шансом спасения. На том мы и порешили.

Как Полянский предупредил, на другой день в каземат явилась следственная комиссия в составе председателя, генерала Колосова, маленького, жирного, несимпатичного старика; уже знакомого нам военного прокурора, полковника Ронжина; следователя, худощавого и высокого капитана 1 ранга и секретаря, безгласного капитана, ни разу почти не взглянувшего на нас и усердно строчившего, когда отец давал показания.

Все четверо уселись за стол с отцом, и прокурор, кашлянув, заявил, что хотя при первом допросе отцом были даны ответы на его, Ронжина, вопросы «с исчерпывающей полнотой», он предложит сегодня отцу еще два-три вопроса, «возникших в порядке следствия», прочтя ему предварительно показания его бывших сослуживцев. Порывшись в портфеле прокурор вынул объемистое «дело» и принялся за чтение показаний. Показания (Ронжин прочел лишь некоторые из них) были, большею частью, весьма благоприятны для отца*).

Почти все знакомые показали в один голос, что участие отца в ноябрьском восстании явилось для них совершенно неожиданным. Отец-де, никогда политикой не занимался, был весь поглощен службой и воспитанием своего сына, свободные же минуты посвящал музыке и литературе. Даже Витя Володзько, член «тайного общества», и тот показал, что «выступление лейтенанта Шмидта поразило и потрясло его». Наш друг старался изо всех сил хоть чем-нибудь помочь отцу. Его показания охватывали длиннейший период, от Владивостока до ноябрьских дней, и изобиловали мельчайшими подробностями. Вся жизнь отца за последние 10 лет пронеслась перед нами, пока прокурор читал показания един-

*) Ни один из давших на предварительном следствии благоприятные показания, не был допущен на суд в качестве свидетеля со стороны защиты, как вообще не были допущены свидетели защиты, о чем я скажу ниже.

ственного друга отца. Когда Ронжин дошел до описания наших незабвенных вечеров á trois на Соборной улице, нервы отца не выдержали и он разрыдался.

Прокурор торопливо налил стакан воды и, подавая его отцу, участливо спросил:

– Друга вспомнили, Петр Петрович?

Отец продолжал рыдать, уткнувшись лбом в скрещенные на столе руки.

Но народ в комиссии был стреляный и видавший всякие виды. Внезапный взрыв тоски и отчаяния со стороны отца не произвел на членов комиссии никакого впечатления.

Генерал Колосов продолжал пыхтеть сигарой и равнодушно таращить на отца свои заплывшие жиром глазки, секретарь сосредоточенно приводил в порядок какие-то бумаги, а следователь, роль которого в присутствии прокурора сводилась почти к нулю, сохранял на лице самую величавую неподвижность.

Я чувствовал мучительную неловкость за минутную слабость отца, окруженного смертельными врагами, но, несмотря ни на что, нашел в себе силы вызывающе уставиться на всю честную компанию: слишком, мол, презираю всех вас, чтобы считаться с вашим мнением!

Оправившись, отец насильственно рассмеялся, скрывая смущение:

– Не обращайте внимания, господа, и, ради Бога, простите. Больше этого не повторится. Я к вашим услугам, Иван Александрович, спрашивайте, – обратился он к прокурору.

Ронжин вынул записную книжку, а секретарь приготовился записывать.

– Два пункта, Петр Петрович, для нас не совсем ясны, – начал прокурор. – Вот, извольте видеть, на допросе вы показали, что исповедуете монархические принципы. С другой стороны, вы не скрываете своих социалистических убеждений. Согласитесь, тут неувязка. Насколько мне известны программы российских

социалистических партий, ни в одной из них нет параграфа о монархическом образе правления.

– Я уже показывал вам, что не принадлежу ни к одной из существующих в России политических партий, – возразил отец. – По моему глубочайшему убеждению, постепенное переустройство общества на более справедливых социальных началах ни в малейшей степени не находится в противоречии с теми внешними политическими формами государственного бытия, к которым так привык русский народ, и об изменении которых в настоящее время могут говорить только люди, мало знакомые с русской действительностью.

– Прекрасно, – удовлетворенно кивнул прокурор. – Перейдем ко второму пункту, имеющему с первым непосредственную связь. Сейчас вы изложили свое profession de foi. Но судить о данном лице принято не по словам его, а по поступкам. Ваша же телеграмма Государю Императору с требованием созыва Учредительного Собрания далеко не рекомендует вас, как монархиста.

– Я этого не нахожу, – отозвался отец.

– А, между тем, это очевидно, – продолжал прокурор.– Настаивая на созыве Учредительного Собрания, в компетенцию коего входит и установление формы правления, вы, тем самым, допускали возможность решения вопроса и в пользу республики.

– Я верил и продолжаю верить в разум и здравый смысл огромного большинства русского народа, – спокойно и твердо ответил отец.

– Позвольте, позвольте, однако! – вскипел неожиданно генерал Колосов, до сих пор не проронивший ни слова. – Я вас не понимаю, решительно не понимаю, ка-те-го-ри-чес-ки отказываюсь понять! Манифестом 17 октября дарованы вам все «швабоды», как их... печати, собраний... тьфу! Не хочу языка поганить на старости лет! Так какого же рожна вам еще нужно!?

Генерал даже побагровел от долго сдерживаемого возмущения. Жилы на его коротенькой шее надулись, как у индюка, маленькие злые глазки метали молнии.

Видно, все существо генерала-законника протестовало при зрелище столь закоренелой крамольности и отсутствия всякого намека на «раскаяние» со стороны носившего офицерский мундир.

– Мы не поймем друг друга, ваше превосходительство, – холодно ответил отец.

– Вопросы освещены с достаточной ясностью, – поспешил вмешаться прокурор. – Я больше их не имею.

– Я хочу обратиться к вам с личной просьбой, Иван Александрович, – сказал отец, вставая.

– Сделайте одолжение, – любезно согласился прокурор, следуя примеру отца.

Они зашагали из угла в угол, тихо о чем-то беседуя. Со стороны их можно было принять за добрых знакомых. Секретарь быстро записывал в журнал, а председатель стал таинственно шептаться со следователем, бросая на меня, временами, косые взгляды.

– Пожалуйте сюда, молодой человек, – позвал меня, наконец, Колосов (в продолжении приведенной сцены я сидел в отдалении, на кровати, за неимением свободных мест), нашептавшись с длинным капитаном 1-го ранга.

Я подошел, а генерал обрушился на меня целым потоком горьких упреков и «жалких» слов. Я так и не понял, что, собственно, он хотел сказать. Однако я сразу сообразил, что строгий генерал был мною недоволен, от чего-то предостерегал и чем-то грозил. По-видимому, он хотел обратить меня на путь праведный, рисуя передо мной пагубные последствия недозволенных начальством увлечений политикой.

Выслушав генерала довольно терпеливо, я позволил себе скромно заметить, что сам прокурор обещал мне скорое освобождение вследствие отсутствия каких бы то ни было улик против меня, и потому все предостережения и угрозы его превосходительства направлены не по адресу.

– Я уверен в вашей невинности, молодой человек, совершенно уверен! – круто переменил тон генерал Колосов. – Иначе я с вами

и не разговаривал бы! Но вы легко могли свихнуться под влиянием преступных идей вашего батюшки. Да, именно преступных! – возвысил он голос, заметив мой протестующий жест. – Имейте в виду, молодой человек, вам надо теперь блюсти сугубую осторожность! Сын такого страшного государственного преступника должен вести себя безупречно. Малейшее подозрение – и... Вы меня понимаете? Малейшее подозрение и...

– Вполне понимаю, ваше превосходительство, – поспешил я его уверить.

– Не правда ли? – оживился генерал. – Посудите сами: сын такого государственного преступника! Дело в том, что у меня была ваша матушка. Весьма, весьма достойная женщина. На коленях молила спасти вас от растлевающего влияния. Вы подумайте: на ко-ле-нях! Я – что-ж? Я обещал, что постараюсь повлиять на вас, так сказать, в спасительном смысле, но, в сущности говоря, что я могу? Я ничего не могу.

И генерал беспомощно развел руками.

– Так точно, ваше превосходительство, – охотно согласился я на этот раз с генералом.

– То-есть, что именно «так точно?» – слегка нахмурился генерал.

– Я хочу сказать, что ваше превосходительство сделали все от вас зависящее для моего вразумления, – пояснил я.

– Это моя обязанность, молодой человек, моя обязанность! Так вот, имейте в виду: малейшее подозрение – и!..

И генерал сделал ребром ладони решительный жест, как бы отсекающий нечто вредное и негодное. Затем он отпустил меня на старое место довольно благосклонным кивком головы.

Между тем, отец кончил свой разговор с Ронжиным. Я понял, что Ронжин обещался исполнить какую-то просьбу отца, имевшую для последнего значение чрезвычайной важности.

Когда секретарь убрал свои бумаги, и члены комиссии удалились, отец с восторгом сообщил мне про обещание прокурора разрешить ему свидание с г-жею Р. по окончании предварительного следствия.

Я, при всем желании, не мог разделить с отцом его радости, а потому, обойдя молчанием это сообщение, стал допытываться у него, не сказал ли ему прокурор чего-нибудь насчет нашего ближайшего будущего.

– Тебя совсем скоро выпустят, сынишка, – поспешил отец меня «обрадовать». Приедет Аня (сестра отца) и заберет тебя. Она хлопочет теперь о свидании с нами, которое ей и дадут, как и Р., по окончании следствия. Меня же притянут по 100 и 109 статьям. По обеим смертная казнь, – закончил отец, озабоченно гладя меня по голове.

Даже говоря о собственной казни, отец меньше всего думал о себе.

Через несколько дней после посещения комиссии пришли посылки от сестры отца, Анны Петровны и его старинного друга детства, Екатерины Васильевны Ростковской. Мы получили теплое белье и обувь, целый ассортимент туалетных принадлежностей и массу всевозможных мелочей. Продовольственные посылки заняли огромный ящик. Чего только там не было! К столу прибавились различные деликатсы в количестве, достаточном для десяти человек – шоколад, фрукты, дорогие консервы и т. д. Посылки сопровождало давно ожидаемое письмо от Анны Петровны, из которого мы узнали, что ею делается все возможное для опасения отца. К защите были приглашены светила адвокатуры – О. О. Грузенберг, О. Я. Пергамент, А. С. Зарудный, Балавинский и Ф. Е. Врублевский.

Невыразимо отрадно было чувствовать, сквозь постылые каменные стены каземата заботливую руку близкого и любящего человека. Ведь до сих пор мы соприкасались с одними представителями холодного и бездушного судебно-тюремного аппарата. Жизнь в ожидании важных перемен – мы старались не думать, каких именно – потекла ускоренным темпом. Мы не спали до глубокой ночи, я – выслушивая, а отец – давая бесчисленное множество поручений, которые я должен был выполнить по выходе моем на свободу. В первую голову мне надлежало честно, ничего не

утаивая, поведать русскому обществу правду об «Очакове» и подробно осветить все события, предшествовавшие 15 ноября. Затем следовал ряд поручений, более или менее политического характера, к целому ряду лиц и общественных организаций г. Севастополя и, наконец, исполнение личных дел отца и доставка писем – если мне удастся унести их с собой из каземата, минуя цензуру ротмистра Полянского, или же устных передач друзьям и единомышленникам отца.

Не был оставлен без внимания и вопрос о способах возможного освобождения отца и трех его соратников по «Очакову», Частника, Антоненко и Гладкова, сидевших в Севастопольской военно-морской тюрьме, о чем мы узнали от Хлудеева. Планы освобождения носили настолько несбыточный и фантастический, я бы сказал – детский, характер, что теперь мне приходится удивляться, как мы могли их тогда серьезно обсуждать. Видно, психологии арестованного и свободного – вещи совершенно различные.

Но нам ничего другого и не оставалось, кроме иллюзий и воздушных замков; единственная надежда, имевшая под собой реальное основание – солдатский заговор – скоро приказала долго жить. За несколько дней до Сочельника расстроенный и бледный Хлудеев, с убитым видом, сообщил нам печальную весть. Пехотный полк, с минуты на минуту готовый восстать и освободить отца, внезапно сменили и заменили другим, вполне надежным. Начальство ли догадалось, нашелся ли предатель – Хлудеев сказать не мог. Да нас это и не интересовало; погибла последняя надежда, а почему – не все ли равно?

Отец спокойно выслушал горестную весть и нашел, что «все к лучшему». Заговор мог повлечь за собой сотни и тысячи жертв, чего отец, по его словам, никогда бы себе не простил. Так или иначе, оставалось примириться со свершившимся фактом.

Хлудеев продолжал носить газеты, и из них мы могли видеть, насколько предстоящий процесс отца захватил внимание русского общества. При чтении горячих статей и бесчисленных открытых писем в редакции, положительно не представлялось, что громкий,

повелительный голос всей России (да, именно всей!), требовавший сохранения жизни моему отцу, будет оставлен правительством без последствий. Даже отец поддавался иногда иллюзии и допускал для властей возможность – стать на общественную точку зрения. К сожалению, мы не принимали во внимание того обстоятельства, что как некоторые отдельные лица, так часто и целые правительства понимают только язык жестов. Другой язык недоступен их пониманию.

21 или 22 декабря явилась врачебная комиссия из трех врачей в сопровождении Ронжина и следователя, долговязого капитана 1 ранга, для освидетельствования психического состояния отца. Оказалось, бедная Анна Петровна, в лихорадочных поисках спасения жизни своему брату, ухватилась за мысль о признании отца ненормальным и неответственным за свои действия в момент совершения преступления.

Свою надежду на признание отца душевнобольным тетка основала на факте наследственной предрасположенности, данные для чего безусловно имелись.

Когда прокурор, объяснив суть дела, развернул бумажку с выпиской из родословной моего отца, с отметками против соответствующих имен о душевных болезнях, я поразился количеству этих якобы сумасшедших на протяжении каких-нибудь четырех поколений.

Мы с отцом с любопытством взглянули на представленный нашему обозрению список предков, впервые знакомясь с доброй их половиной. Затем отец повернулся к Ронжину и врачам и решительно заявил:

– Если сестра моя добивается признания меня ненормальным, то ее можно понять: она меня любит и стремится спасти. Но вы, господа, превосходно осведомлены, что я так же здоров, как и вы, ибо если я, по поступкам, сумасшедший, то следует признать сумасшедшим все 150-миллионное население России, выразителем желаний которого я явился!

– Все-таки, Петр Петрович, разрешите нам исполнить

формальность. Сделайте это для вашей сестры, – мягко и вкрадчиво попросил прокурор.

Отец пожал плечами.

– Я в вашей власти, господа.

Врачи приступили к осмотру, но уже через две минуты недоумевающе переглянулись, а старший врач смущенно сказал прокурору, что «сам бы хотел быть таким нормальным, как лейтенант».

– Спасибо за комплимент, доктор, – засмеялся отец. – Передайте сестре, – обратился он к Ронжину, – что я очень благодарю ее за всю любовь ко мне и заботы, но, тем не менее, все же предпочитаю оставаться нормальным и в ее, и в чужих глазах.

Ронжин с удрученным видом развел руками, как бы снимая с себя ответственность за могущие произойти последствия от результата осмотра, и, меняя тему, сообщил о скором приезде сестры отца и о взятии меня ею на поруки. Постановление о моем освобождении уже подписано; остается выполнить некоторые формальности. Отец искренно обрадовался, а меня охватило смешанное чувство радости от близкой свободы и горя от предстоящей разлуки с отцом.

Визит начальства закончился характерным выпадом следователя. Когда отец спросил его, в какой форме одежды он должен явиться на суд – в мундире, виц-мундире или сюртуке*), следователь вылупил на него глаза и застыл в изумленнии, будто не находя слов для ответа. Затем он резко захохотал и насмешливо произнес:

– Вы, как я вижу, и в самом деле немного «того», милостивый государь! Да будет вам известно, что Высочайшим приказом вы уволены в отставку без мундира, так что можете явиться на суд в любом виде, кроме форменного!

---

*) Отец не знал, что Высочайшим приказом по Армии и Флоту от 7 ноября 1905 г. он уволен в отставку без мундира. Не знали сего и г.г. офицеры «Ростислава», срезая с тужурки отца погоны капитана 2-го ранга в отставке.

И, довольный, что у него получилось нечто вроде каламбура, следователь захохотал пуще прежнего.

Отец слегка побледнел, но не сказал ничего. Ронжин и доктора, шокированные хамской выходкой капитана 1-го ранга, поспешили откланяться. С тех пор я ни разу не имел сомнительного удовольствия встречаться ни с прокурором, ни с членами следственной комиссии.

Вероятно, наши фантастические «планы» освобождения отца и матросов, которые мы обсуждали, почти не понижая голоса, были услышаны, кем следует. Меры охраны и предосторожности заметно усилились. В каземат перестали пускать дежурных жандармов по одному, а в целях обоюдного шпионства разрешили входить только двум одновременно. Хлудееву приходилось теперь изворачиваться, чтобы, незаметно для другого жандарма, своего товарища по дежурству, ухитряться вручать нам газеты. Разговоры с Хлудеевым, разумеется, должны были прекратиться.

С самого начала заключения в крепости нам разрешили ежедневные прогулки на небольшом пространстве крепостного плаца, шагов в 30 длиной, окруженном со всех сторон часовыми. Я раза два воспользовался предоставленным правом, отец же не захотел выставляться напоказ глазеющим часовым. Но когда, в период усиления предохранительных мер, отец, страдая головной болью, вздумал однажды подышать свежим воздухом, ему безапелляционно было в этом отказано. Пожимая плечами, Полянский сокрушенно сослался на вновь полученные инструкции. За обедом мы стали резать мясо в присутствии дежурных жандармов, после чего столовые ножи неукоснительно от нас отбирались.

Наконец, оставшуюся свободной от решетки верхнюю стеклянную часть дверей (два окна каземата ко дню нашего приезда в крепость заделали толстыми решетками) поспешили снабдить сей неизбежной деталью арестантского житья-бытья.

– Ну, братцы, теперь мне совсем капут! – шутливо заметил отец жандармам, наблюдавшим за работой плотника, поминутно бросавшего на отца горевшие жадным любопытством взгляды. –

Последнее место, откуда мог бежать, загородили. Только вчера его облюбовал, а уже сегодня вы догадались. И хитрые же вы!

Жандармы стыдливо ухмыльнулись, но промолчали.

В Сочельник от Анны Петровны и Е.В.Ростковской пришли рождественские подарки и письма. Оставив первые без внимания, мы жадно набросились на вторые.

Письма прошли через надлежащую цензуру, но между строк мы сумели прочесть что с окончанием следствия отцу предоставят много просимых им льгот, между прочим, и свидание с г-жею Р., чего отец так настойчиво добивался.

В тот же день, попозже, мы получили рождественский подарок и от Хлудеева: ему удалось передать нам солидную пачку петербургских и московских газет с весьма интересными фельетонами и статьями, добрая половина которых была посвящена отцу.

До глубокой ночи мы, не отрываясь, сидели над газетами, поочередно читая их вслух, не заботясь, что нас могут услышать любознательные соседи. Из всего прочитанного в тот вечер мне запомнилось только юмористическое четверостишие, осмеивающее кабинет гр. Витте:

Дурного очень много в нашей свите:
Где Дурново – хорошего там нет.
Ваш кабинет министров, Витте,
Есть просто... гм... отдельный кабинет.

Стишки эти нас рассмешили, и мы от души смеялись, кажется, в первый раз со времени ареста.

Вечером отца ожидал еще один приятный сюрприз. Вошел Полянский, поздравил с наступающим праздником Рождества Христова и вручил отцу письменные принадлежности. Правительство, по-видимому, соблаговолило ослабить нажим. Революционное движение повсеместно было подавлено, следствие закончено, участь отца предрешена, охрану острова несла надежная часть,

так что положение потеряло свою первоначальную остроту. Не следовало слишком натягивать струны; смерть отца была надежно обеспечена – почему же, в таком случае, не облегчить заранее приговоренному его последних дней? Старое правительство состояло из политических врагов отца (да и то – не поголовно), а не из утонченных садистов и исступленных злодеев современного типа. Были, конечно, исключения; такие агенты правительства, как адмирал Чухнин мало в чем уступали сверх-палачам Бронштейну и Дзержинскому. Но, во-первых, они и были известны на всю Россию, как исключение, а, во-вторых, в описываемый момент, момент окончания следствия по делу восстания на «Очакове», отец находился в ведении генерала Каульбарса, аристократа до конца ногтей, не имевшего ничего общего с господами профессиональными убийцами, подобными Чухнину, получавшему предписания, относящиеся к отцу, непосредственно от центрального правительства*).

Всю ночь с 24 на 25 декабря, пока я спал, отец писал письма к сестре и г-же Р. Письма удалось отправить отчасти через Хлудеева и его единомышленника из приставленных к нам жандармов, Алейникова (последнего Хлудееву удалось «обратить» в свою веру уже после моего освобождения из Очаковской крепости) – нелегальным путем, отчасти через ротмистра Полянского – путем легальным. С содержанием этих писем я ознакомился значительно позже.

Когда я спал крепким сном, сном беззаботной юности, отец, в одиночестве, переживал мучительные часы. Он оплакивал и счастливое короткое детство, и свою неудавшуюся жизнь, полную страданий и часто ненужных тяжелых жертв. Бумага сохранила следы

*) После приговора, когда отца и матросов перевели на «Прут», они вновь поступили под начало адмирала Чухнина и тот постарался наверстать «потерянное» для него время. В своем месте я расскажу о последней подлости палача моего отца, подлости, которой до Чухнина не запятнал себя ни один из самых мстительных и спирепых сатрапов Императорского периода русской истории.

его слез и, глядя на эти следы, я понял, как умел отец владеть собою днем, каких усилий стоило ему казаться передо мной чуть ли не довольным своей судьбой, чтобы ни одним словом или непроизвольным движением мускулов не усугубить тревоги сына-подростка. И только письма рассказали о судорогах души моего несчастного отца в глухие часы долгой зимней ночи...

Через неделю после врачебного осмотра 29 декабря, приехала, наконец, за мной Анна Петровна. В вошедшей старухе, с ввалившимися глазами, покрасневшими от почти неосушаемых слез, я не узнал подвижной и моложавой сорокалетней женщины, какою я видел ее в последний наш приезд с отцом к ней в Керчь в феврале 1905 года. А. П. сопровождал, по долгу службы, неизменный ротмистр Полянский, но надо отдать ему справедливость: во все время свидания он держал себя настоящим джентльменом. Когда А. П., не выпуская рук отца из своих, уселась с ним на одну из наших постелей и прерывающимся от рыданий голосом стала говорить, как все его любят и надеются спасти, лицо Полянского дрогнуло.

Он отошел к окну и стал сосредоточенно рассматривать 11-дюймовое орудие, повернувшись к нам спиной и оставаясь в этом положении до конца свидания. А. П. оглянулась, воспользовалась отсутствием цензуры и зашептала с лихорадочной торопливостью.

– Сумасшествие – единственное спасение. Другого нет. Я говорила со всеми – с генералом Колосовым, Ронжиным и адвокатами. Я тебя умоляю согласиться ради нашей покойной мамы и... него, – кивнула она на меня. – Первая комиссия признала тебя здоровым, но это ничего не значит. Будет вторая: врачей – специалистов по душевным болезням – на суде. Пойми, иного спасения нет...

А. П. умолкла, задыхаясь от слез. Отец нежно гладил ее по руке. Что он мог ей сказать в утешение? Несколько успокоившись, А. П. еле слышно, поминутно оглядываясь на Полянского, сообщила нам, что одно время, в первых числах декабря, всероссийские события приняли чрезвычайно благоприятный оборот для ре-

волюции вообще и для отца – в частности. А. П. имела в виду московское вооруженное восстание, о котором мы с отцом имели представление только из приносимых Хлудеевьм газет. Агенты власти придавали этому восстанию чрезвычайное значение, настолько чрезвычайное, что прокурор Ронжин, с которым А. П. имела периодические свидания по делу отца, встретил ее однажды, в момент разгара московских событий, следующим ошеломляющим заявлением:

– Вы напрасно так хлопочете и волнуетесь, Анна Петровна. Быть может, и суда-то никакого над вашим братом не будет!

И все свидание был с ней заискивающе внимательным и любезным. А. П. вернулась домой, не помня себя от радости. Но уже дня через три прокурор принял ее со своим обычным, вежливо-замкнутым видом, не обмолвившись ни одним словом о содержании предыдущей беседы.

Когда же А.П. сама попробовала возобновить с прокурором разговор на интересовавшую ее тему, Ронжин притворился удивленным и непонимающим. Правительство одержало победу, реакция торжествовала, и прокурор, из горячо-соболезнующего, либерального и рыцарски-предусмотрительного утешителя, чуть ли не поклонника отца, снова превратился в холодно-корректного, исполнительного и неумолимого стража закона. После подавления Москвы, отцу больше не на что было надеяться, и только признание его ненормальным еще могло спасти ему жизнь.

И А.П. вновь принялась уговаривать отца... Чтобы не огорчать сестру прямым отказом, отец, не говоря ни «да», ни «нет», незаметно перевел разговор в другую плоскость, упомянув о детях своей сестры – неистощимую для последней тему. Час пролетел, как одно мгновенье. Перебивая друг друга, брат и сестра перескакивали с предмета на предмет, то вспоминая различные эпизоды далекого детства, то говоря о близких и друзьях, то опять возвращаясь к кошмарной действительности. Отец просил сестру не изводить себя понапрасну, беречь здоровье и подумать о детях.

ульда до вечера. Новый 1906 год встретил в тесном семейном кругу. Два дня меня никто не беспокоил и я спал, как сурок, с незадернутыми гардинами между пробежными и будущим.

Значило закрыл тот красоток своей жизни, который провел резкую, сон ори бесконечно долог, и закрывал я его не хотел: закрыл его – Все пробежные дверсы казались комнатными снов; но этот меня в мире существо.

мало кому известном, остров, томится самое дорогое для Не представлялось, что где-то далеко от меня, на мраном отца, окружением самым нежным участием и заботливостью. двигаться себя в роскошной квартире друга детства моего земата и офицерских фильд любезное и жандармов и дико последней в Одесов для свидания с отцом. После голых стен кодружение отца –ествовать с г-жою Р. относительно посадки дней у Е.В. Ростковской, а сама отправился в Киев исполнять поехав со мной в Одессу А. П. оставить меня ва несколько

XV

ценно скрывшись в водоном тумане.

мадося на всех парах к Одессу, а очертания острова постепьях созвание, я сидил на кадер. Когда я прешел в сеся, кадер Наконец, мы завернули за дол, голова скрылся... Долги теторого впределся голова моего отца, смотревшего нам вслед. на окно своей родней тюрьмы, сквозь железный перелет колхолодец за мною, пешкал замок, но я помнил отдрывался

Я вышел с А.П. и Подянским на двор, тяжелая дверь за-

«...Господь с тобой!»

дисдели только крепкое рукопожатие отца и его последние слова: пел к отцу. Я не помню, что говорили мы на прошание. В памяти то дединка ведущего дидимцы, кудешные для меня А.П.» и подо-

Наконец, настал час разлуки с отцом. Я надел фуражку и цапрва горько перевязал его А.П.

– Все, что может сделать человек, будет сделано, – всякий

ном кругу Екатерины Васильевны, и если бы не остров, неотступным призраком стоявший перед глазами и не дававший ни минуты забвения, я провел бы очень счастливые часы.

Но на другой день стали являться под видом сочувствующих и собирающихся чем-то помочь, но влекомые, в действительности, пустым любопытством, праздные, чужие люди, растравлявшие и без них нестерпимые душевные муки, и я очень обрадовался возвращению А.П., которая и отвезла меня в Керчь, где я в обществе ее детей стал постепенно приходить в себя.

Оставив меня у своих, бедная А.П. полетела в Петербург хлопотать и просить за своего брата. Больше месяца пробыла она в непрерывных разъездах, мобилизовала лучшие адвокатские силы, побывала, после приговора над отцом, при втором посещении столицы, у всех великих мира сего, куда только могла проникнуть, сделала все, что в силах человеческих, но все геройские усилия несчастной сестры своего еще более несчастного брата оказались напрасными. Император Николай и придворные круги, до обморока напуганные ноябрьским восстанием Черноморского Флота, в одном имени отца видели угрозу своему существованию и лихорадочно торопились уничтожить в русском народе самое память о «красном адмирале». Отца могла спасти только вполне реальная физическая сила, которой, увы, не было в распоряжении его друзей.

При первом своем посещении Петербурга, А.П. взялась за организацию защиты. Ей не пришлось искать юристов, желавших защищать моего отца. О её приезде узнали на другой же день, и множество адвокатов, защитников по политическим делам, явилось предложить ей свои услуги. После переговоров, защиту взяли О. О. Грузенберг, А. С. Зарудный*), Балавинский, Ф. Е. Врублевский и О. Я. Пергамент. Но Грузенберг и Пергамент скоро отказались от

*) Товарищ Министра юстиции при Временном Правительстве.

защиты. Условия, в которые военно-морской суд поставил защиту отца и матросов, показались знаменитым адвокатам настолько вопиющими с точки зрения нарушения элементарнейших основ судопроизводства, что, несмотря на все свое желание участвовать в процессе, обещавшем прогреметь на всю Россию, Пергамент и Грузенберг не сочли возможным для своего профессионального renomme'е подчиниться грубому произволу. Их заменили известный екатеринославский адвокат А.М.Александров, впоследствии член 4-й Государственной Думы, и А.В.Винберг, петербургский. Казенным защитником был назначен капитан Девиссон. Зарудный, Врублевский и Александров взялись защищать отца, Балавинский и Винберг – матросов. Девиссон, как казенный защитник, защищал всех подсудимых.

С делом отца и с ним самим правительство настолько торопилось покончить, что, стремясь к этой цели, переходило все допустимые границы приличия. В середине декабря Морской Министр адмирал Бирилев телеграфирует Чухнину: «Сегодня был с докладом у Государя, который с недовольным видом спросил меня, почему так долго медлится дело бунтовщика лейтенанта Шмидта и матросов. Поэтому прошу ваше превосходительство принять меры к скорейшей ликвидации этого дела». Через 10 дней Чухнин получает вторую телеграмму от него же: «Вчера опять, после доклада у Государя о состоянии Черноморского Флота, Его Императорское Величество спросил меня: «Когда, наконец, будет покончено с этим изменником?» Еще раз, прошу вас, поэтому, скорее закончить дело».

Понукаемые с такой высоты, морские власти гнали вовсю. Следственная комиссия, руководствуясь указаниями свыше, выделила дело отца и очаковцев из дела всех воинских и гражданских чинов, привлеченных к суду за участие в ноябрьском восстании, и назначила его к слушанию в первую очередь. Подобным выделением следственные власти хотели представить дело отца к судебному разбирательству как бы вне всякой общей связи с огромным делом о восстании флотских экипажей и 10 судов Чер-

номорского Флота, перелагая, так сказать, вину нескольких тысяч человек на четыре десятка уцелевших очаковцев, поместив их, тем самым, в главном фокусе обвинения и предрешая им тягчайшие наказания. Вообще, правительство решило не стесняться в нарушении основных правовых норм и законных гарантий, лишь бы добиться выполнения Высочайшего задания – вынесения военно-морским судом смертного приговора «этому изменнику». И действительно, в смысле грубейшего, ничем не прикрытого, произвола правительство сумело превзойти самого себя. Со времени выхода в свет Судебных Уставов 1864 г. не видано и не слыхано было ничего похожего на очаковский процесс. В сравнении с этим процессом дело декабристов, с знаменитыми «личными» допросами Императора Николая Первого – верх законности и беспристрастия. Ознакомившись с деталями процесса отца и матросов, русская общественность запылала безмерным негодованием. Газеты всех оттенков (кроме, разумеется, «Чего Изволите?» и двух-трех ее подголосков) кричали в один голос об «убийстве Шмидта с заранее обдуманным намерением». Казалось, дальше идти некуда. Перейдена последняя грань, отделяющая суд от самосуда. И только советская «власть» доказала через 12 лет, что нет границ подлости человеческой, как нет ничего на свете, чего нельзя было бы превзойти во многие тысячи раз.

Постановив свой приговор над отцом еще до «суда», правительство, в других отношениях, проявило некоторую гуманность. В начале января 1906 г. отец получил разрешение на ежедневные свидания с г-жею Р. и на переписку с сестрой с условием не касаться, разумеется, в письмах политики. Газеты различных направлений отец стал получать с Нового года вполне легально и мог, поэтому, судить о тех легендах и ореоле мученичества, которыми было окружено в России его имя. Всеобщее (я не говорю о ничтожном меньшинстве последователей нововременских идей) восторженное поклонение и страстное желание вырвать отца «из пасти крокодила» (одно из его любимых выражений) наполняло исстрадавшуюся душу отца невыразимой отрадой, и он, согре-

тый живительными лучами горячей народной любви, спокойней и легче готовился к смерти.

Местом «суда» над отцом и матросами был избран захудалый Очаков в трех верстах от очаковской крепости, моей тюрьмы в продолжении сорока дней, а отца – семидесяти семи. К слушанию дело назначили на 7-е февраля, а 5-го, в день рождения отца (ему исполнилось 39 лет), его перевезли с острова в город и поместили в отдельной камере гарнизонной гауптвахты. Точно так же поступили с матросами и молодыми друзьями, студентами Пятиным и Моишеевым, разместив только их по нескольку человек на камеру.

Процесс начался без меня. Отец не хотел подвергать новым, бесполезным к тому же, терзаниям мою молодую душу, но все же не выдержал и пожелал меня видеть, с тем условием, однако, чтобы я уехал до приговора, который мог быть только смертным и никаким иным.

Когда начался процесс, я жил в Керчи, в семье сестры отца А.П.Избаш, проводя время то в обществе двоюродного брата Коли, самого близкого мне, после отца, человека, то возясь и играя с младшими детьми А.П., Лялей и Сережей (или Макой, как его почему-то прозвали), прелестными ребятишками 4-х и 2-х лет. Если бы не они, не возможность с ними забыться, болтая с Колей о посторонних вещах и слушая милый вздор детей, я бы сошел с ума от ужаса и отчаяния.

В первый же день моего приезда в Керчь весь город узнал об этом. На несколько недель я сделался предметом самого назойливого любопытства со стороны фланирующей публики. Ничем не заслуженная «популярность» крайне меня стесняла, и я предпочитал отсиживаться дома или гулять с братом по глухим закоулкам. Только бесхитростное внимание и сострадание простых людей трогало и утешало меня. Ведь «жалеть» на языке нашего простолюдина значит «любить».

11-го февраля за мной приехала А. П., а на другой день мы уже выехали через Одессу, в Очаков. В Одессе я пробыл один день в семье школьной подруги А.П. – Е.В.Ираклиди, пока

А.П. совещалась по делу отца с редакторами одесских газет и возобновляла несколько влиятельных знакомств. 14-го утром мы отплыли на пароходе Русского Общества в Очаков и прибыли туда в тот же день.

В захудалом уездном городке с 2-3-мя тысячами жителей чувствовалось необычайное оживление. Город был переполнен военными всех родов оружия; полиция и жандармы попадались на каждом шагу. Власти, к моменту начала процесса отца и матросов, стянули к Очакову большие силы и приняли меры чрезвычайной охраны, опасаясь, если не прямых попыток к освобождению подсудимых, то, во всяком случае, того действия на солдатскую психику ореола «красного адмирала», которое, по мнению правительства, стоило открытого бунта.

Всем лицам, не имевшим прямого отношения к процессу, въезд в Очаков был временно, впредь до окончания «суда», воспрещен. Исключение сделали только для единственной родни отца – меня и его сестры и, по особому разрешению коменданта, генерала Григорьева – для г-жи Р. Но, разрешив отцу свидания с близкими людьми, суд, тем не менее, категорически отклонил заявление А.П. о желании ее и моем присутствовать на заседаниях суда, на что мы имели законное, неоспоримое право.

Грязные номера единственной гостиницы в городе, под громким названием «Номера Таковенко», переполнились неожиданными постояльцами – прибывшими из разных концов России светилами адвокатуры, офицерами стянутых к Очакову воинских частей. А.П., уезжая в Керчь, оставила за собою номер, в котором, разделив его большой ширмой на 2 части, мы кое-как расположились. Соседний номер, с начала процесса, занимала г-жа Р. Когда я прибыл в Очаков, процесс шел уже седьмой день. Оканчивался допрос свидетелей; на следующем заседании, 15 февраля, ожидалась речь прокурора, полковника Н. А. Ронжина. Вечером, после окончания заседания, мне предстояло первое по освобождении свидание с отцом. Все это я узнал, сидя в номере г-жи Р. Я рассматривал во все глаза позднюю привязанность

моего отца, слушал ее и недоумевал. «Женщина будущего!». Несчастный отец! Даже перед смертью тебе не удалось избежать последнего, горчайшего разочарования!

К вечеру зашли зашитники отца, присяжные поверенные Зарудный, Врублевский и Александров. Я увидел бледные, истомленные душевной пыткой лица людей, людей, прилагающих все усилия спасти погибающего, не успевающих в этом и, несмотря на сознание безупречно исполненного долга, чувствующих какую-то вину. Заседание только что кончилось, и защитники не успели еще остыть от возмущения, вызванного последними действиями председателя «суда», полковника Александрова.

Спеша и перебивая друг друга, адвокаты стали делиться с А.П. новостями, случившимися на «суде» за время ее отсутствия и, мало-помалу, передо мной разворачивалась картина таких надругательств над правосудием, какие были бы под стать разве одному славному воеводе Шемяке.

Процессуальных нарушений было так много, дело происходило так давно, что я положительно затрудняюсь перечислить все гнусности, пущенные в ход нарочито подобранным составом суда. Посему ограничусь указанием **трех фактов,** достаточно характерных для обстановки суда над моим отцом, если только сплошное издевательство над правом и здравым смыслом может быть названо этим высоким именем.

Факт первый. Временные судьи, капитаны 1-го ранга Мореншильд, Константинов и Васильев, т. е. половина всего состава суда были командирами судов, подавлявших мятеж 15 ноября. Какого беспристрастия можно было ожидать от этих людей – пояснять не приходится.

Когда один из защитников (кажется, Зарудный) в первом же заседании суда, заявил законный отвод относительно судей, принимавших участие в усмирении, председатель лишил его слова и даже не поставил требование защиты на обсуждение.

Факт второй. *На суд не был допущен ни один свидетель со стороны защиты.* Лица, вызывавшиеся защитой, признава-

лись судом «не имеющими никакого отношения к делу», и все просьбы и требования защиты о вызове полезных для нее свидетелей последовательно отклонялись. Таким образом свидетельствовали одни явные враги отца – личные или политические. Впрочем, виноват: было прочитано показание нашего друга, капитана В. Г. Володзько, уже выгнанного в отставку без мундира и пенсии за передачу на «Дунае» записки отцу и, тем самым, как бы тоже поставленного в разряд крамольников, показание которого, в глазах судей, являлось ни чем иным, как покрывательством одним из сообщников другого.

Факт третий. Главный Командир Черноморского Флота адм. Чухнин *заранее* объявил приказом, что делу лейтенанта Шмидта он не даст движения в кассационном порядке. И верный своему обещанию, Чухнин конфирмовал приговор до подачи защитой кассационной жалобы.

Мне кажется, на этих трех фактах можно остановиться. Все последующие являются уменьшенными копиями трех первых и не вносят новых штрихов к общей картине «суда» над отцом и матросами, картине обнаженного, бесстыдного произвола. Охотно допускаю, что приведенные факты, неслыханные в истории русского императорского суда, покажутся слишком неправдоподобными, и от меня потребуют доказательств. Сомневающихся могу отослать к энциклопедическому словарю Брокгауза и Эфрона, кн. 4/Д. Там черным по белому отмечен факт недопущения ни одного свидетеля со стороны защиты.

Защитникам, лишенным судом права вызова свидетелей, оставалось только «использовать», поелику возможно, свидетелей обвинения, обернув их показания в благоприятную сторону. Защите очень скоро удалось выяснить, что почти все свидетели обвинения, за исключением 2-3 человек, были пленниками отца на «Очакове» 15 ноября. Каждому такому свидетелю, после допроса его прокурором, защитой прежде всего задавался вопрос, был ли он в числе арестованных офицеров на «Очакове»? Свидетелю волей-неволей приходилось отвечать утвердительно. Один

из «свидетелей», доктор Антонов, поместил задолго до суда статью в «Новом Времени» под заголовком «Пять часов в плену у Шмидта», где, исказив до неузнаваемости речь отца к офицерам в адмиральском помещении «Очакова» (приведенную мною в X главе), приписывал отцу намерение отделиться от России (!!!) и «образовать Перекопскую республику». Всю эту ахинею доктор Антонов имел сомнительное мужество преподнести суду в качестве своего свидетельского показания. Отец, не имевший о подлой и клеветнической статье доктора Антонова никакого понятия, вскочил с места, побагровел, хотел что-то крикнуть, но задохнулся и почти без чувств грохнулся на пол. Заседание было прервано, а отца унесли в приемный покой, где доктора оказали ему необходимую помощь и привели в себя.

При возобновлении заседания защитник Зарудный попросил слова и задал доктору Антонову всего один вопрос: не он ли является автором известной статьи в «Новом Времени?». Получив утвердительный ответ, Зарудный, с легким поклоном в сторону председателя, заявил, что не имеет больше вопросов. Этим заявлением Зарудный, связанный председательской цензурой и находясь под постоянной угрозой лишения слова, хотел почтительнейше намекнуть господам судьям, «что выслушивать показания «свидетелей», подобных доктору Антонову – дело, по меньшей мере, бесполезное. Но все усилия защиты убедить судей в недопустимости основывать обвинения на свидетельстве людей, являющихся фактическими врагами отца по «бою» 15 ноября, разбивались о твердокаменность судей, разбивались по той простой причине, что большинство*) судей являлись фактическими врагами моего отца и даже при добром желании не могли согласиться с доводами защиты, ибо если недопустимо выносить приговор, базируясь исключительно на показаниях одной, заинтересованной, стороны, то еще более недопустимо судить, будучи названной стороной. Нет ничего удивительно-

*) Четвертым врем. судьей был кап. 1 р. Беляев, командир одного из разоруженных судов.

го, что, попирая все понятия о законности самим фактом своего пребывания в качестве вершителей судьбы отца и матросов, судьи, ходом вещей, вынуждены были идти до конца и совершать одно беззаконие за другим.

Заседание 14 февраля, в день моего приезда, было особенно бурным. Председатель то и дело прерывал защитников, не позволяя им касаться, находя «посторонними», тех вопросов, которые вытекали из всего предыдущего, и пресекал все попытки защиты сделать из какого-либо показания благоприятное заключение в пользу подсудимых.

Адвокаты выходили из себя, недоумевая, зачем, в таком случае, им позволили взять защиту и кому нужна гнусная комедия, называющаяся временным военно-морским судом? Для успокоения общественного мнения? Сомнительно. Общество, осведомленное, в свое время, адвокатурой о подробностях очаковского процесса, вряд ли станет более высокого мнения о «твердой власти», чем если бы эта власть на месте, без всякого суда, расстреляла отца и матросов, захваченных в момент ликвидации мятежа. Это было бы незаконно и жестоко, но гораздо последовательнее и честнее жалкого лицемерия, которое никого не могло обмануть. Наоборот, играя комедию правосудия, а за кулисами «действа» с лихорадочной поспешностью сооружая виселицу для отца, правительство окончательно топило свой престиж в глазах всех мало-мальски честных людей, престиж, и без того стоявший весьма невысоко.

Адвокатам, к несчастью, ничего другого не оставалось, как или уйти совсем, отказавшись от защиты, или же подчиниться силе. И зная, что пытаться вырвать отца из когтей смерти путем воздействия на судейскую совесть так же бесполезно, как бесполезно уговаривать бездушную машину перестать работать вместо того, чтобы остановить ее властной рукой механика или же, в крайнем случае, просто сломать, защитники все же продолжали оставаться на своем посту, желая исполнить свой профессиональный долг до конца.

– Так часто становится невмоготу, – признался нам один из защитников, – что, забывая ответственность за жизнь сорока человек, хочешь крикнуть порою в лицо этим нанятым судьям: «Что пришел делать – делай скорей!».

Мы слушали адвокатов, подавленные своим бессилием остановить колесо судьбы. Я чувствовал восторженную благодарность к защитникам моего отца, но, анализируя их поведение, прекрасно сознавал, что столичные и иные знаменитости отстаивают настолько простые культурные первоосновы, что лет через 20 тем из присутствующих, которые до того времени доживут, покажется дикой самая мысль о возможности отстаивания прав данного лица на применение к нему общих законов страны (а адвокатам в деле отца приходилось отстаивать именно эти права; ведь «суд» над очаковцами был ничем иным, как продолжением «боя» 15-го ноября, правда, несколько своеобразным продолжением). Но «людям свойственно ошибаться». Теперь, через 20 лет, читая в газетах отчеты о скопищах в голодных дебрях Совдепии многочисленных шаек золоторотцев, профессиональных убийц и международных жуликов, скопищах, носящих украденное у французской истории название «революционных трибуналов», я едва ли не каждый раз вспоминаю процесс несчастного отца, приговор, вынесенный задолго до начала суда в покоях Зимнего Дворца и позорное поведение судей за все 13 дней процесса. И сами собой напрашиваются нежелательные параллели.

А. П. заинтересовалась самочувствием отца за время ее отлучки. Защитники заявили в один голос, что отец держится превосходно, на заседаниях суда спокойно и сжато отвечает на вопросы судей, завоевав их уважение, а его товарищи по скамье подсудимых, матросы, положительно его обожают, говоря о нем на суде и на свиданиях с защитниками со слезами на глазах. От адвокатов отец в восторге и часто выражает сожаление, что только теперь, когда дни и часы его сочтены, ему удалось близко познакомиться с лучшими представителями русской интеллигенции, с коими ему, в вечных плаваниях, не приходилось встречаться и даже

бледное подобие которых он напрасно стал бы искать в окружавшей его всю жизнь замкнутой и пустой привилегированной касте. Отношения между отцом и защитниками установились самые сердечные и простые; отец стал для защитников близким и дорогим человеком, и не было, казалось, тех жертв, которых новые друзья моего отца не были готовы принести для его спасения. Но увы! Неумолимая судьба требовала иной, кровавой жертвы...

В день моего приезда в Очаков, после окончания допроса свидетелей, отец взял слово и произнес свою первую речь.

Привожу ее в выдержках.

«*...В настоящем процессе есть одна особенность, которая резко его отличает от всех предшествовавших ему.*

Мы привыкли видеть на скамье политических подсудимых или представителей крайних партий, стремящихся, как бы наперекор установившимся в народе взглядам, нарушить существующий уклад народной жизни и установить иное... государственное устройство, или мы видели просто пылких людей, которые посягали на жизнь кого-либо из особенню жестоких представителей полицейской власти.

Только то, что представляется в народном сознании преступным, может караться законом, т. к. сам закон вытекает из народной морали и только она одна является единственной причиной его появления.

Представители крайних республиканских партий, являясь в стране резко прогрессивным элементом, как бы расходятся в своих целях со стремлениями многомиллионного населения, которое не понимает их, и только в этом отступлении можно найти если не оправдание, то хотя объяснение их подсудности. Я, как подсудимый, не принадлежу ни к одной из этих категорий. Я не посягал ни на чью жизнь, не принадлежу к республиканским партиям, и все мое мировоззрение согласуется с мировоззрением всего русского стомиллионного населения.

Именно в той согласованности моих идеалов и стремлений с идеалами и стремлениями всего народа русского и заключается вся особенность настоящего процесса. Как социалист, я ставлю требованием расширение нашего общинного землевладения до полной социализации земли, и требование это совершенно совпадает с требованием многомиллионного русского крестьянства. Конечно, этим не ограничиваются мои требования, как социалиста, но мы не можем говорить о делах следующих поколений. В настоящем же мои экономические стремления совершенно совпадают с народными… В политических же убеждениях я также совершенно солидарен со всем народом русским.

…Пройдут года, позабудутся наши имена, но ту боевую силу, которая присоединилась к «Очакову» и ***тем осталась верной народу и присяге****, имена этих 10 судов флота не забудут, и они навсегда останутся в летописях народа….*

…Но точная буква законов, самые статьи свода против меня, они противоречат высказанному мною. Да они и не могут не противоречить, когда утвержденные законом представители власти стали в открыто-враждебное отношение к народу и в скрыто-враждебное – к трону. В такое время государственного хаоса, когда в стране все так спуталось, что русские власти пошли войной на Россию, нельзя руководиться статьями закона, нужно искать иных, общих, всем народом признанных, определений преступного и непреступного. В такое время, чтобы оставаться законным, приходится изменять присяге, а, оставаясь верным присяге, приходится нарушать законы. Не преступен я, раз мои стремления разделяются всем народом и не противоречат присяге, а, напротив, опираются на них.

Не преступен я, раз в моих деяниях не видит преступления весь стомиллионный народ русский!..

…Но меня судят, и мне угрожает смертная казнь. Когда я вступил на палубу «Очакова», то, конечно, с полной яснос-

тью понимал всю беспомощность этого крейсера, безбронного, с машиной, которая едва могла дать 8 узлов ходу и без артиллерии, т. к. там имелось всего две рукоятки от 6-дюймовых орудий, остальные орудия действовать не могли. Я понимал всю беспомощность крейсера, не способного даже к самообороне, не способного даже уйти от опасности, а не только к наступательным действиям. Эскадра же, большинством своих матросов сочувствовавшая и казармам, и «Очакову», была разоружена до моего приезда на «Очаков», стало быть и тут нельзя было ждать никакой боевой силы, нужной для вооруженного сопротивления. В казармах тоже почти не было оружия... Но я знал, что не дальше, как завтра будет открыт артиллерийский огонь но казармам, знал, что это страшное злодеяние уже подготовлено, что беда неминуемо стрясется и унесет много неповинных жизней...

Это сознание не позволяло мне покинуть ту горсть безоружных людей, которая была на «Очакове» и которая геройски готова была, хотя бы пассивно, одним поднятием красного флага, протестовать против ожидавшегося массового убийства. Команда знала от меня, что первым условием моего участия в деле было – не пролить ни капли крови, и команда сама не хотела крови.

Что же давало нам убеждение в необходимости и полезности нашего протеста, что делало нас восторженными н верующими, когда все кругом было так безнадежно и бессильно? Откуда мы почерпнули такую высокую радость, которая осветила всех нас, несмотря на всю серьезность надвигавшихся событий? Как мог я, больной и слабый человек, лишенный трех предыдущих суток сна, не только оставаться сильным духом и верующим, но поднять и укрепить веру в других? В чем была наша сила, идущая, как казалось, в разрез со здравым смыслом? Сила эта была в глубоком, проникнувшем все мое существо и тогда, и теперь сознании, что с нами Бог, с нами русский народ!

Да, с нами русский народ, весь, всею своею стомиллионной громадой! Он, истощенный и изнемогающий, голодный, изрубленный казацкими нагайками, он, этот народ, с засеченными стариками и детскими трупами, как страшный призрак нечеловеческих страданий, простирал ко мне руки и звал. То были минуты ожидания диктатуры, дни истязания крестьян в шести губерниях за то, что они обезумели от голода и, смотря на своих пухнувших детей, потеряли сознание неприкосновенности собственности.

Часть этого народа, лучшая, молодая, самоотверженная, находилась у нас на глазах, в казармах экипажей, там были сыновья и мужья тех обездоленных деревенских людей, и против них наши представители спасающей себя бюрократической власти уже направили свои пушки.

Мне говорят о статьях закона, о военном положении и т. д. Я не хочу, не могу оценивать все происшедшее статьями законов. Я знаю один закон – закон долга перед родиной, которую вот уже три года заливают русской кровью. Заливает малочисленная, преступная группа людей, захватившая власть и отделившая Государя от своего народа.

Они, из-за своих корыстных расчетов, уложили больше ста тысяч трупов в войне с Японией, они же теперь, из тех же расчетов, начинают войну с Россией. Где же измена? Кто государственный преступник?

Сегодня в их глазах преступен я, как и весь народ русский, который, пробудясь, осмелился стать на дороге их истребительной резни. Но завтра, в глазах грядущего суда, преступниками будут объявлены они. Вчера наместник Алексеев был вице-король, и вся задавленная пресса пела ему, как талантливому государственному мужу, гимны. Сегодня Алексеев жалкий эмигрант, стыдящийся показаться на глаза народу русскому. Где же почва, на которой может утвердиться русский человек, чтобы не быть изменником народу и оста-

ваться законным? Такой почвы нет. В дни тяжелой борьбы народа за право на жизнь, что сегодня в глазах власти преступно, завтра принимается, как заслуга перед родиной. В эти дни испытаний есть один закон – закон верности своему народу. *Остается в эти дни или умереть в борьбе или наложить на себя руки, т. к. оставаться безучастным – сверх сил человеческих. Вся моя прошлая жизнь доказывает, что я стоял за мирные средства борьбы и был противником мятежных восстаний. Еще 13 ноября, накануне приезда моего на «Очаков», я говорил о мирной борьбе на городском митинге перед рабочими, но самый мирный человек, видя неминуемое массовое убийство людей, не может не кинуться на защиту их. Я был вдали от матросского движения, я всеми силами не сочувствовал пропаганде, вызвавшей мятеж в казармах. Я всеми силами рвался переговорить с адмиралом Чухниным, чтобы получить от него полномочия, которыми мог бы успокоить людей. Душа обливалась кровью при ожидании грозящего массового убийства, которого так просто было избежать и водворить порядок. И я бы так и остался в стороне, но люди сами пришли ко мне. Имел ли я право не идти вместе с ними, если предотвратить беду оказалось не в моих средствах и я знал, что не дальше, как завтра, прольется опять кровь народная?*

Если бы я отвернулся от них, когда они нуждались во мне и когда беда уже была неминуемая, я не имел бы права смотреть в глаза народу русскому, как изменник. И я пошел, чтобы сделать все, что мог, чтобы остановить, не допустить убийства, противопоставить силу силе, а если это не поможет, то хоть умереть с ними, пассивно протестуя поднятием красного флага. Если б я не пошел с ними, когда они звали меня, то, оставаясь дома, при первых звуках канонады я сам бы наложил на себя руки. Да, это было так! Это был день смерти. Я всею силою своего духа искал ее; не было сил жить в этой атмосфере узаконенного истребления народа русского!

Зачем не убили меня офицеры, когда я нарочно, малым ходом, на миноносце, стоя один на мостике, проходил по борту, вплотную все броненосцы, подставляя им открытую грудь свою? Зачем не убили меня офицеры на «Пруте», когда я один вошел к ним, предлагал им убить меня, клялся им, что никто из них не пострадает, но, что, если они не убьют меня, я освобожу «потемкинцев»? Отчего я не был убит на «Очакове» под этим невиданным в истории войн стальным градом? Не убили меня, когда я был в воде, засыпаемый пулеметами. Отчего не убили меня, когда я, теряя сознание, вытащенный кем-то из воды, попал на миноносец, под новый град снарядов? Отчего не убили меня офицеры на «Ростиславе», когда они издевались надо мною, и я совершенно уже терял последние силы, но все же искал смерти? Когда ко мне подошел адмирал Феодосьев и что-то спросил, я ответил ему что «одна смертная казнь остановит меня». И если бы я ответил иначе, то весь русский народ имел бы право сказать мне: «Прочь, изменник, ты не видишь, что мы все умираем в этой страшной борьбе!».

Не коснулась меня витавшая вокруг смерть, когда я искал ее. Для того я остался в живых, чтобы быть поставленным здесь, у скамьи подсудимых, чтобы могла видеть вся Россия, соучастница дел моих, что судят меня за то, что я остался верен народу своему.

Да, я выполнил долг свой, и если меня ждет казнь, то жизнь среди народа, которому я изменил бы, была страшнее самой смерти! Не горсть матросов, нарушивших дисциплину, чтобы остаться верной присяге, и не гражданин Шмидт перед вами. Перед вами здесь, на скамье подсудимых вся стомиллионная Россия, ей вы вынесете свой приговор, она ждет вашего решения!».

В 8 ч. вечера я с Анной Петровной отправился на свидание с отцом. Темная ночь, грязь чуть не по колено, на улице ни души.

Два-три жалких фонаря на весь город, плотно закрыты ставнями окна маленьких невзрачных домишек. И только окна гарнизонной гауптвахты светятся бессонными огнями.

Деревянный одноэтажный дом, обнесенный перилами. У единственной двери полосатая будка с часовым. Еще несколько часовых неподвижно чернеют под окнами. У порога нас встречает старинный знакомец, ротмистр Полянский. Я издали с ним раскланиваюсь, Анна Петровна холодно кивает головой в ответ на его вежливый поклон. В сопровождении Полянского мы подымаемся на несколько ступенек и входим в темницу. Продольные стены разделяют гауптвахту на две части: в правой заключен отец, в левой – двое студентов и матросы. Из сеней попадаем в караульное помещение, которое непосредственно соединяется с камерой отца.

Караульный начальник, пехотный поручик, встает и козыряет. Полянский отворяет следующую дверь и пропускает нас вперед. Я вижу небольшую комнату, с обеденным столом, клеенчатым диваном, двумя такими же креслами, несколькими стульями и умывальником. На столе горит лампа и кипит самовар, около которого хлопочет «ходячий анахронизм», г-жа Р., пришедшая раньше нас.Отец расхаживает крупными шагами из угла в угол и ерошит волосы. Он в штатском и кажется выше ростом. Лицо его странно помолодело и изменилось. Слегка ввалившиеся глаза лихорадочно блестят; на щеках появляется и исчезает слабый румянец. Он говорит, не умолкая ни на минуту, и оживленно жестикулирует. Продольная морщина на лбу, впервые замеченная мною в кают-компании «Ростислава», стала еще резче и глубже. Какая-то новая любовь к отцу, страстная, невыразимая любовь потрясает все существо мое. «Неужели я его потеряю?» – думаю я с безумным ужасом. – «Нет! нет!». Делая страшные усилия, чтобы не разрыдаться, я бросаюсь к нему на грудь.

– Сынишка мой! Здравствуй!

После долгого, горячего объятия мы сели. Отец смеялся сквозь слезы, гладил меня и что-то говорил. Я не видел никого,

кроме отца – ни сестры его, ни г-жи Р., ни ротмистра... Первое свидание промелькнуло быстрее мысли. Я ничего не запомнил из него, кроме сменявших друг друга ощущений небесного счастья и нечеловеческого горя...

В 10 часов Полянский взглянул на часы и с «сожалением» объявил об окончании свидания. Мы поднялись, а отец, прощаясь, сказал:

– Завтра утром увидишь, как меня поведут на суд, а вечер опять проведем все вместе, по-семейному.

Когда я надел барашковую шапку, отец заметил, что она мне не идет и попросил носить, по-прежнему, фуражку ученика реального училища, к которой он привык. Затем, без промежутка, я опомнился в нашем номере, в обществе А.П. и г-жи Р.

А.П. рыдала, а наша новая знакомая предлагала ей чего-нибудь съесть: «Нельзя же так». Стиснув зубы, А. П. отрицательно мотала головой и снова заливалась слезами. После нескольких дней выдержки ею овладела реакция, и она облегчала свое горе в жгучих слезах.

Несколько успокоившись, А. П. вдруг вспомнила интересный визит, нанесенный ей в том же номере, за день до отъезда за мною в Керчь. Вечером, в 11-м часу, после свидания с отцом к ней, не постучавшись, вошел какой-то совершенно незнакомый артиллерийский капитан.

Глаза его дико блуждали. За ним следовал деньщик и, мигая на капитана, многозначительно вертел пальцем вокруг лба. А. П., весьма нервная особа, до смерти боящаяся сумасшедших, страшно перепугалась, а капитан, устремив на нее горевшие безумным огнем глаза, повелительно спросил:

– Вы сестра лейтенанта Шмидта? – И, не дожидаясь ответа, категорически заявил:

– Я буду защищать вашего брата. Я только-что написал защитительную речь. Слушайте!

Капитан плюхнулся на диван, вытащил из кармана какую-то бумагу, откашлялся, но сейчас же вскочил.

– Что это бежит? – дико заорал он, указывая на пол. – Уберите его отсюда! Уберите, я вам говорю!

– Я сейчаю скажу, чтобы убрали! – ответила А. П., поспешно выбегая в коридор.

Насилу удалось увести сумасшедшего из ее комнаты.

Что происходило в душе несчастного капитана? Был ли процесс отца пунктом его помешательства, или же с упорством маниака, он ухватился за идею защиты? Этого никогда не узнали.

На другое утро, 15 февраля, мы вышли на главную (и единственную) улицу Очакова и остановились на дороге между гарнизонной гауптвахтой и Офицерским Собранием, временно обращенным в помещение военно-морского суда. По этой дороге должны были пройти отец и очаковцы. Ждать пришлось недолго. Справа, из-за поворота, показалась толпа матросов, человек в тридцать пять, окруженная кольцом конвойных. Одни из матросов выглядели бодро и держались гордо и самоуверенно, другие заметно пали духом и опустились. Но последних было значительно меньше. Конвойные бесцеремонно их подталкивали, и матросы покорно прибавляли шагу.

Всем им грозили наказания от дисциплинарного батальона до смертной казни. Последняя грозила двум матросам, Гладкову и Антоненко, которые, подобно отцу, обвинялись по 100 и 109 ст. ст. Оба узнали меня и раскланялись, причем Антоненко отдал честь по-военному, а Гладков самым штатским манером приподнял фуражку. За ними показались четыре фигуры, одна в черной тужурке с серебряными кондукторскими погонами, 2 других в студенческой форме, а четвертая – в матросске: Я узнал Частника, «командира» «Очакова» и двух студентов – Пятина и Моишеева*).

Частник шел с высоко поднятой головой. Несокрушимая сила духа читалась на его кротком, сильно исхудавшем и побледневшем

---

*) Четвертый оказался крестьянином Полтавской губ. Ялиничем, явившимся на брон. «Кн. Потемкин-Таврический» в качестве агитатора, переодетым в матросскую форму, а затем перебравшийся на «Очаков«. О существовании Ялинича и участии его в ноябрьском восстании я узнал только во время процесса.

лице. Он шел впереди, смотря по сторонам и, казалось, думал какую-то свою, важную и тайную думу.

Наконец, настала очередь моего отца. Он шел быстро, почти весело, попыхивая папироской и с наслаждением вдыхая теплый воздух близкой весны. По бокам отца шло двое конвойных солдат, сзади и спереди – по жандарму. Но, казалось, не они вели отца на «суд», а отец вел их куда-то за собой. Увидев нас, отец улыбнулся нам своей простодушной детской улыбкой и послал воздушный поцелуй.

Кроме нас и случайных прохожих, очаковцы не встретили никого. Но не всегда так бывало. По обратной дороге в гостиницу А. П. рассказала мне, что однажды утром, в начале процесса, к моменту вывода подсудимых на суд у гауптвахты собралась кучка разряженных и подмалеванных представительниц местного beau-monde'а – жен гарнизонных офицеров. Они наводили на «изменников» лорнетки и обменивались насчет бедных очаковцев, в присутствии сестры отца, громкими замечаниями. А.П. стояла поодаль, но слышала все. Когда проводили Частника с двумя студентами одна из дам воскликнула, обращаясь к другой:

– Посмотрите на их лица. Вот мерзавчики!

Анна Петровна, вне себя, громко выразила свое возмущение по адресу воинственной дамы. Но та, не удостоив А.П. и взглядом, продолжала оставаться на месте, видимо дожидаясь, когда проведут моего отца. В ужасе от того, что могло с минуты на минуту случиться, А.П. повторила, что подло и недостойно оскорблять несчастных и беззащитных людей. Сопровождавшие дам офицеры им что-то шепнули, и дамы, наконец, удалились. Когда провели отца, вблизи их уже не было. Но Анна Петровна на этом не остановилась.

Она немедленно разыскала начальника охранной казацкой сотни и указала ему на все неприличие поведения гарнизонных дам, выразив, между прочим, удивление, почему на дорогу к подсудимым пропускают офицерских жен, когда не допускают никого из жителей Очакова. Есаул отнесся сочувственно и проговорив: «Ле-

жачего не бьют», отправился, по указанию А.П., к группе гуляющих вместе с жандармским ротмистром. На какие-то слова есаула один из офицеров, кавалеров дам, громко возразил:

– Что ж, что сестра?.. Он – государственный преступник!

В тот же день А. П. отправилась к коменданту крепости, генералу Григорьеву, и потребовала от него ограждения личности своего брата и остальных подсудимых от оскорбления особ женского пола, чересчур благонадежно настроенных. Выслушав А. П., генерал пришел в сильное негодование и горячо обещал, что ничего подобного больше не повторится. Генерал сдержал свое слово, и гарнизонные дамы более не появлялись.

Воротясь в гостиницу, мы, с замиранием сердца, стали ждать окончания заседания и прихода защитников. В тот день обвинитель, полковник Ронжин, должен был сказать свою речь. Ждать пришлось довольно долго: прокурор говорил больше 3-х часов. Его речь началась в 10 ч. утра и продолжалась до обеденного перерыва. В час дня она возобновилась и закончилась приблизительно к 3 часам.

В свое время я получил от защитников полный судебный отчет о деле моего отца, но обвинительной речи не прочел, не помню уж, почему. Могу судить о ней поэтому только с чужих слов.

По отзыву адвокатов, речь прокурора Ронжина была образцом обвинительного искусства. Один из защитников отца, Ф.Е. Врублевский, в своем слове назвал ее «ажурной работой». Все данные обвинения Ронжин так стройно и неумолимо подогнал одно к другому, что, по законам, вывод получался для отца и большинства матросов только один – петля.

Ронжин начал с разбора 109 статьи – вооруженное восстание – и доказал наличие ее в действиях отца 15 ноября 1905 г. Эта статья была самым слабым местом защиты и опровергнуть ее казалось, на первый взгляд, невозможным. В самом деле, как назвать захват кораблей, поднятие красного флага, насильственное освобождение подследственных матросов «Потемкина» и арест командного состава «Потемкина» и «Прута», как не вооруженным восстанием? Единственным темным и недоказанным пунк-

том в обвинении прокурором отца по 109 статье была стрельба «Очакова» по правительственным судам. Отец решительно ее отрицал, прокурор столь же решительно на ней настаивал, но фактически доказать не мог.

Тем не менее, 109 статья била в глаза, и прокурор с ней быстро покончил. Обвинять отца по 100 статье – попытка к насильственному ниспровержению существующего строя – было несравненно труднее, но и здесь Ронжин вышел «с честью» из положения.

В самом деле, что такое телеграмма, посланная лейтенантом Шмидтом Государю Императору, как не попытка ниспровержения существующего строя? Андреевский флаг, «Боже Царя храни», молебен по случаю тезо-именитства Императрицы Марии Федоровны – все это – так себе, для отвода глаз. Истинные намерения и цели Шмидта надо искать в содержании телеграммы от 14 ноября.

Таким образом, из сложенных вместе 100 и 109 статей у прокурора получилось вооруженное восстание с целью ниспровержения существующего государственного строя, другими словами, довольно прочная виселица.

Но в то же время, я бы назвал обвинение, как ни парадоксально это звучит, чрезвычайно мягким. В своей речи прокурор неоднократно подчеркивал идеальный и бескорыстный характер всех побуждений и поступков отца в роковой день ноябрьского восстания, отдавал должное его кристально чистой и героической натуре, его рыцарской отваге и неустрашимости.

Двойственность в речи прокурора и его расшаркивание перед отцом, на мой взгляд, объясняются, с одной стороны, самой личностью отца, обаянию которой не мог не поддаться даже прокурор, с другой же стороны, главным образом, политической дальновидностью весьма предусмотрительного обвинителя отца.

Одним ударом Ронжин убивал двух зайцев: блестяще выполнил Высочайшее задание, заслужив соответствующую бла-

годарность*), и, одновременно, обезопасил свою особу от неприятных последствий в случае каких-либо перемен в судьбах Государства Российского. Он всегда мог сослаться на свою речь, зафиксированную в протоколе, и доказать, что и не думал настаивать на смертной казни для лейтенанта Шмидта, а совсем наоборот. Но зато на остальных подсудимых, в особенности на Частника, прокурор обрушился, как принято выражаться, со всей силой своего красноречия. Никаких идеальных побуждений и смягчающих обстоятельств Ронжин у матросов не находил и, называя их участие в мятеже простым «русским бунтом, бессмысленным и беспощадным», а подсудимого Частника – хулиганом, требовал для трех главарей бунта – Частника, Антоненко и Гладкова высшей кары – расстреляния.

Родственный эгоизм, эгоизм горячо любящих людей оставлял нас в то время совершенно равнодушными к судьбам всего человечества, кроме судьбы отца, и, ознакомившись с речью прокурора, мы воспрянули духом и почувствовали прилив новых надежд. В самом деле, если прокурор столь «любезен», то неужели судьи окажутся более свирепыми, чем прокурор? Но защитники не обольщались на этот счет, зная по опыту, что в политических процессах подсудимые имеют дело не с людьми и судейской совестью, а с машиной, выполняющей определенную работу.

Хотя адвокаты не только не разочаровывали нас, а, напротив, поддерживали нашу надежду, мы скоро почувствовали, что дело плохо, и пошли на второе свидание с отцом в самом удрученном настроении. Г-жа Р. опять пришла раньше нас. А.П., хорошо осведомленная об особом характере отношений отца и г-жи Р. (никто другой, как А.П., и доставил отцу возможность видеться с г-жею Р.), находила вполне естественным, что полчаса отцу хочется пробыть с Р. наедине. Полянский в расчет не принимался; на него мы давно привыкли смотреть, как на неодушевленный предмет. Во время свиданий мы вчетвером рас-

*) Вскоре после суда И.А.Ронжнин был произведен в генерал-майоры с переводом в Морское Ведомство и зачислением по адмиралтейству.

полагались за чайным столом, а Полянский садился поодаль, на диван, и молчал весь вечер, исполняя свою незавидную сыскную роль довольно небрежно.

На этот раз мне бросилось в глаза расстроенное лицо отца, расстроенное не процессом, не переживаниями на суде, а чем-то более интимным. Г-жа Р. имела надутый вид; щеки ее горели. Тогда я не придал этому значения и сейчас же забыл обо всем на свете, кроме отца и нашего горя. Во время свиданий с отцом всегда забывалось, где мы находимся и в чьей власти отец. Лампа под зеленым абажуром разливала мягкий, ласковый свет, самовар весело кипел, а обстановка камеры не имела ничего общего с характерной физиономией обычного тюремного обиталища. Между нами и отцом установилось молчаливое соглашение не касаться ни процесса, ни всего того, что имело с ним какую-либо связь. Каждый из нас, достаточно, наедине с самим собой, терзался невыносимыми душевными муками, не оставлявшими его даже во сне. Разговоры велись самого мирного характера, так что «государево око», ротмистр Полянский, мог спокойно дремать в своем углу, на клеенчатом диване.

Отец и А.П. больше всего любили вспоминать далекие дни счастливого детства, бешеный нрав своего отца, деда Петра Петровича, в сочетании с его младенческим простодушием и безграничной доверчивостью ко всем, даже к заведомым подлецам, свято чтимую бабушку Екатерину Яковлевну, от одного упоминания имени которой лицо отца принимало выражение благоговейной любви, несчастную старшую сестру, тетю Марусю и много, много близких и дорогих, давно умерших или исчезавших без следа в кипящем водовороте, называемом человеческой жизнью...

Я с наслаждением слушал эти воспоминания, понимая с полуслова каждую мысль отца и его сестры, но г-жа Р. чувствовала себя, думаю, весьма неважно, отлично сознавая в душе, что ей здесь не место и что попала она в камеру лейтенанта Шмидта лишь по нелепому капризу судьбы. Я и не подозревал, сколько злобы кипело и нарастало в часы вынужденного молчания в ее за-

вистливой, ничтожной душонке, как вымещивала она эту злобу в моменты бесед с глазу на глаз с моим несчастным отцом.

16 февраля начались речи защитников. Я уже упоминал, что отца защищали три адвоката – Ф.Е. Врублевский, А.О. Зарудный и А.М. Александров. Задачу, стоявшую перед ними – разнести по частям несокрушимое, казалось бы, сооружение прокурора – они выполняли блестяще, каждый по-своему, доказав, что недаром их имена внесены в славную рубрику светил российской адвокатуры.

Первым говорил Зарудный.

Его речь была исключительно деловой, можно оказать – сухой. Избегая всякого намека на пафос и звонкую фразу, а оперируя исключительно со статьями свода законов Российской Империи в применении к отцу, Зарудный не оставил камня на камне от детища талантливого прокурора.

Прежде всего Зарудный разобрал со всех сторон самую страшную, 100-ю статью. 15 ноября 1905 г. в Севастополе вспыхнул стихийный матросский бунт, являвшийся лишь отголоском всероссийской смуты, угрожавшей самому существованию монархии и династии.

По глубочайшему убеждению отца, прекратить эту смуту и тем сохранить России необходимый для ее счастья и процветания монархический строй могли только известные политические уступки правительства русскому народу, вернее, одна единственная уступка – созыв Учредительного Собрания. По долгу и совести верноподданного отец уведомил телеграммой Государя Императора об истинном положении вещей в Черноморском Флоте и указал ему выход из тупика, наиболее, по мнению отца, верный и целесообразный. Отец, доказывал Зарудный, повинен только в том, что обратился не по начальству, т. е. в проступке дисциплинарном*).

Переходя к 109 статье, Зарудный находил, что и эта статья не может быть применена к моему отцу. В самом деле, в термине

*) Как ни невероятна подобная метаморфоза для страшной 100 статьи, приходится верить протоколу суда.

«вооруженное восстание» само слово «вооруженное» указывает на участие оружия, каковое восставшими в день 15 ноября 1905 г. употреблено не было. Офицеры «Потемкина» и «Прута» дали арестовать себя добровольно, даже не пытаясь сопротивляться лейтенанту Шмидту... (здесь председатель прерывает защитника предложением «не уклоняться в сторону»)... Крейсер «Очаков», вопреки утверждению прокурора, не сделал ни одного выстрела из своих орудий: почему – другой вопрос. Так что в действительности оружие при ликвидации восстания было пущено в ход лишь одной стороной – правительственными судами. Таким образом, от отца не исходило ни одного приказания, которое закончилось бы употреблением оружия; посему, приписывать отцу участие в *вооруженном* восстании нельзя ни в коем случае. Но отца нельзя обвинять также в участии и в каком бы то ни было восстании. Возмущение на «Очакове», с изгнанием офицеров, вспыхнуло 8-го числа, за 6 дней до приезда отца на «Очаков», согласие же его на предложение мятежников – принять командование восставшими судами Черноморского Флота – объяснялось, исключительно, желанием отца взять дело восстания в свои руки, не дать вылиться возмущению в ряд кровавых эксцессов и способствовать скорейшему и безболезненному его окончанию. Следствием сего стремления отца и явилась знаменитая телеграмма Государю Императору.

После часового перерыва Зарудного сменил Александров. Его речь была совершенно в другом роде. Александров в своей речи почти не затронул вопроса, подходит ли та или иная статья законов к деятельности отца. Вся его речь была сплошным дифирамбом отцу, его личности, идеализму, героизму и самоотверженности. Он рисовал отца, как человека, горячо любящего свою несчастную родину, готового для ее епасення перешагнуть не только условные рамки военной дисциплины, но тысячу раз пожертвовать своею жизнью. Он говорил, что имя отца уже три месяца как окружено в глазах русского народа неслыханным ореолом, что по всей России о нем ходят бесчисленные легенды, что нет самого

глухого угла в нашем отечестве, где не воссылалось бы теперь горячих молитв о сохранении жизни лейтенанту Шмидту. Казнить Шмидта – значит оскорбить народ в его самых лучших, самых святых чувствах – в любви к своему ближнему, ибо отец близок и дорог всем русским людям, от богача до последнего нищего. Казнить Шмидта – значит убить веру в правду и справедливость на нашей родине, ибо Шмидт – олицетворение этой правды и справедливости, той правды и справедливости, которая 27 апреля получит государственное признание.

– И тяжело, судьи, тяжело и страшно умирать накануне такого дня – почти с рыданием закончил Александров. Действие речи Александрова на судей и прокурора можно было назвать потрясающим. Я говорю «действие» в смысле «впечатление», но и только. *Воздействовать* же речь Александрова не могла, как не могла бы воздействовать речь самого Демосфена. Судьи давно все порешили между собой, и я не поручусь, что во время прений сторон секретарь суда уже не редактировал начерно предрешенный приговор.

Больше всех растрогала и потрясла речь Александрова моего отца. Обнимая и горячо благодаря своего защитника у себя в камере, после закрытия заседания, отец весь светился каким-то внутренним, неизъяснимым светом.

– Я и не знал, что я такой хороший и что меня так любят! – смеясь сквозь слезы, говорил он Александрову, шутливым тоном стараясь замаскировать свою невольную счастливую гордость.

К сожалению, ни я, ни А.П. не могли слышать талантливых, прогремевших на всю Россию речей знаменитых адвокатов. Я уже говорил, что никому из близких отца – ни мне, ни сестре его, ни г-же Р. – не разрешили присутствовать на заседаниях суда (поступок со стороны правительства мало понятный, чтобы не сказать более), и ознакомиться с *речами* адвокатов мы могли, как и все граждане Империи Российской, лишь посредством судебных отчетов.

Несмотря на колоссальный сдвиг в умах всех, слышавших речи защитников отца, сами защитники не придавали им

почти никакого значения в смысле возможного изменения заранее составленного приговора в сторону, благоприятную для отца и матросов.

Вся суть дела заключалась, повторяю, в «реальном соотношении сил», говоря языком политических партий, и пока это соотношение оставалось неизменным, речи всех адвокатов в мире бессильны были уменьшить хоть на одну каплю содержимое той горькой чаши, которую отцу и матросам суждено было испить.

В тот же день, 16 февраля, произнесли речи остальные защитники: отца – Врублевский и матросов – Балавинский и Винберг. Казенный защитник, капитан Девиссон говорил последним.

Речь Врублевского была соединением юридического анализа Зарудного с лирическим пафосом Александрова. Указывая на преданность отца монархическому принципу, Врублевский предостерегал судей от совершения вопиющей несправедливости. Россия, говорил Врублевский, никогда не забудет и никогда не простит казни Шмидта, потому что совесть народная не принимает этой казни. Пред повелительным голосом этой совести должны умолкнуть все указания и ссылки на нарушение тех или иных параграфов Свода Военных Узаконений, ибо не мертвая, изменчивая буква закона господствует над волей народной, а из заветных дум и чаяний народа вытекают людские законы.

Речь Врублевского звучала, как грозное memento mori: Остановитесь, пока не поздно! Не делайте безумного и непоправимого шага!

Заключительные слова Врублевского, обращенные к судьям, врезались в мою память:

– С высоко поднятой головой, властно приказываю вам, судьи: не смейте убивать!

Защитники очаковцев, Балавинский и Винберг, говоря о Частнике, Антоненке и Гладкове, коим подобно отцу, угрожала смертная казнь, доказывали, что нельзя выделить этих трех подсудимых из общей массы и готовить для них тягчайшие наказания, так как их поведение и поступки в дни Очаковского мятежа

ничем не отличались от действий остальных участников бунта*). Они были песчинками, захваченными общим потоком, и нельзя, поэтому, трех человек делать более ответственными за произведенное потоком разрушение, чем всех их товарищей по несчастью. Вина Частника усугубляется его ролью «командира» «Очакова». Но команда выбрала его потому, что во-первых, он был кондуктором, и, во-вторых, любим матросами. Ни то, ни другое, само по себе, не является преступлением. Антоненке инкриминируются салова: «оружия не сдавать!», крикнутые им при попытке изгнанных офицеров вернуться на корабль. Но кричали все, как утверждают сами же офицеры «Очакова», свидетели на настоящем процессе; случайность, что слова Антоненки выделились из общего гвалта и запомнились свидетелю обвинения. Гладков пользовался доверием и уважением команды, поэтому его и выбрали делегатом в казармы. Поскольку он являлся участником мятежа, постольку ему приходилось подчиняться решениям остальных мятежников, и нет основания считать Гладкова более виновным только за то, что авторитет его в глазах команды стоял высоко.

Говоря об очаковцах en masse, защитники взывали к снисходительности судей, прося не забывать, что восстание в Черноморском Флоте явилось лишь частным, отдельным эпизодом в общем развитии российской смуты, и не судить строго темных людей, поддавшихся течению и перешагнувших границы воинской дисциплины.

Капитан Девиссон, как казенный защитник, должен был защищать всех подсудимых. С первых же слов он потребовал от суда переосвидетельствования отца на предмет установления его ненормальности. Отец вскочил, запротестовал... Нервы его, истерзанные длительной комедией правосудия, не выдержали последнего посягательства на его человеческое достоинство, и он разрыдался. Председатель прервал заседание, отца увели в

*) Следствие положительно установило, что ни один из названных трех подсудимых не был так называемым митинговым оратором и на митингах экипажей ни рязу не выступал.

приемный покой. Когда отец успокоился, заседание возобновилось, и Девиссон продолжал свою речь. Не обращая внимания на заключение врачебной комиссии, осматривавшей отца в Очаковской крепости и признавшей его здоровым, Девиссон настаивал на переосвидетельствовании, доказывая, что все поступки отца определенно рисуют его, как психически больного человека. Он не допускает возможности для русского офицера, находящегося в здравом уме и твердой памяти, пойти на такое «безумное и, главное, безнадежное дело». Для матросов казенный защитник просил снисхождения, как к заблудшим овцам, забывшим повиновение пастырю «под влиянием гнусной пропаганды врагов Престола и Отечества». После краткого совещания суд отклонил ходатайство Девиссона о переосвидетельствовании отца, не найдя для такового никаких оснований.

Речи защитников кончились. 17-го февраля подсудимым предоставлялось последнее слово, 18-го суд выносил приговор, 20-го объявлял тот же приговор в окончательной форме*).

Отец хотел, чтобы я уехал до приговора, не желая подвергать меня и себя мукам последнего прощания. При отъезде же моем до приговора, у нас обоих, в момент разлуки, сохранялось нечто вроде призрака надежды, что расстаемся не навсегда. Пусть это будет самообман, но самообман, спасающий нас обоих от таких душевных терзаний, которые превратили бы последние дни моего отца в невыносимую пытку, а мне отравили бы всю будущую жизнь. Мы решили, что 16-го числа проведу с отцом еще один вечер, а утром 17-го уеду в Одессу. Этот последний вечер с отцом в его камере на гарнизонной гауптвахте был лучшим из вечеров. Отец смеялся, шутил, был остроумным и оживленным, каким я его не видал со времени ноябрьских событий. Я чувствовал настолько полную иллюзию прежней счастливой жизни, что даже к ужасной шутке отца, заставившей бы меня содрогнуться вчера, сегодня отнесся, каж к чему-то невероятному и, поэтому, забавному.

*) 19 марта 1906 г. приходилось на воскресенье.

Развалившись в кресле и попыхивая папиросой, отец небрежно кинул ротмистру Полянскому, сидевшему на своем излюбленном месте – продавленном диване:

– Ну, как, милейший мой Петр Константинович, уже поставили виселицу? Кстати, где будут меня вешать?

Растерявшийся Полянский с трудом нашел силы возмущенно пролепетать:

– Что вы, Петр Петрович, что вы!..

Но отец уже забыл о Полянском и заговорил с сестрой. Иллюзию домашнего уюта нарушал только глухой стук ружейных прикладов об пол, да осторожное покашливание, доносившиеся к нам из соседнего караульного помещения. Отец обращался, большею частью, к сестре или ко мне. Г-жа Р. имела в тот вечер особенно надутый вид, и все усилия отца втянуть в общий разговор «женщину будущего» заставляли ее еще пуще надуваться и поджимать губы.

– Мне пришел в голову один афоризм, господа, – вдруг сказал отец, резко оборвав разговор с сестрой о своих племянниках и любимцах, Ляле и Маке. – Любящая женщина должна улыбаться перед любимым, идущим на казнь. Если же улыбка не выходит, нужно надрезать углы губ перочинным ножом. – Получается L'homme qui rit и... честь ей и слава! Запиши,– повернулся он ко мне.

Я вырвал листок из записной книжки отца, лежавшей на столе, записал «афоризм» и спрятал листок в карман. Полянский, успевший задремать в своем углу, на нашу беду проснулся, увидал, как я прячу бумажку, и со сна, не разобрав в чем дело, вообразил, что отец передал мне какую-то секретную записку;

– Петр Петрович, – вы передали своему сыну записку. Извольте ее показать, – предложил Полянский самым безапелля-ционным тоном.

– Я вас не понимаю. Какую записку? – удивился отец, забывший про «афоризм» и продолжавший с А.П. прерванный разговор.

– Да, да, пожалуйста. Вы знаете, про какую записку я говорю, – настаивал ротмистр, подходя к отцу. – Прикажите вашему сыну немедленно отдать ее мне.

Отец побледнел от оскорбления.

– Да что, я шулер?! – заревел он, наступая на опешившего Полянского. – Шулера-с в России в тюрьме не сидят, г. жандарм, а на свободе ходят!

Мы все страшно смутились и не знали, куда девать глаза.

– Я запрещаю вам говорить со мною в таком тоне. Иначе я приму соответствующие меры! – возвысил голос Полянский.

– Каким образом вы запретите мне говорить все, что угодно, и какими мерами можете вы *мне* угрожать? – презрительно возразил отец.

Но Полянский и сам спохватился, что угрожать отцу чем бы то ни было в его положении – по меньшей мере, неумно. Он предпочел посему спуститься на прежнее место и растерянно пробормотал:

– Ну, я не знаю...

Инцидент был исчерпан, но вечер все же испорчен. Присутствие ротмистра, после его столкновения о отцом, создавало натянутое, фальшивое положение и, угадывая желание отца, мы поднялись и стали прощаться.

– Ты завтра уедешь, – тоном, не допускающим возражения, сказал отец, когда я к нему подошел. – Приходи попрощаться пораньше. Хочу видеть тебя до суда.

Выйдя от отца, мы с А.П. постарались избавиться от общества г-жи Р. Дорогой А.П. посвятила меня в гнусную и жестокую комедию, ежедневно разыгрываемую «женщиной будущего», «ходячим анахронизмом» – тож. Эта особа, в наше отсутствие, отравляла отцу последние, и без того мучительные, часы жизни, закатывая в его камере истерики, сцены ревности (к кому!?) и симулируя обмороки. Что ею руководило, чего она добивалась – судить не берусь.

Вне себя я влетел в комнату г-жи Р. и оглушил ее яростным воплем. Много горьких истин я прокричал ей в лицо, изливая накопившееся за полгода негодование; всего и не вспомню. Одна фраза мне особенно понравилась, и я с наслаждением

повторил ее ошеломленной г-же Р. несколько раз, варьируя на разные лады:

– Мне наплевать на то, что вы «ходячий анахронизм!». Со мной ваш номер не пройдет!

Г-жа Р. порывалась что-то сказать, но я не дал ей произнести ни слова и, облегчив себя от накипевших чувств, выбежал из комнаты г-жи Р., с шумом захлопнув дверь. Сознаюсь, я слишком тогда закусил удила, позабыв, что все же, как-никак, ее приезд в Очаков принес отцу много отрады в первые дни и облегчил тоску одиночества. Но мое «выступление» принесло отцу несомненную пользу.

До своего отбытия на «Прут», уже в качестве осужденного, отец провел на гауптвахте ничем не омраченный последний день, не отвлекаемый земными дрязгами от торжественного приготовления к смерти.

Всю ночь 16 на 17 февраля я не сомкнул глаз. Пароход Русского Общества, на котором я должен был уехать в Одессу, отходил в 11 часов.

В начале 9-го, когда А.П. еще собиралась вставать, я уже заторопился к отцу, чтобы успеть провести с ним целиком последние полтора часа перед вечной разлукой.

Я впервые приходил к отцу днем, и при ярком солнечном свете его камера выглядела уютной и веселой. У отца сидел его защитник, Александров. Неизменного Полянского не было.

– Как славно, что ты так рано пришел! – радостно встретил меня отец. – Вместе и чаю напьемся!

Я сел к столу, и отец налил мне стакан чая. Александров тихо сидел в углу, не вмешиваясь в наш разговор, и не уходил только для того, чтобы дать нам возможность поговорить в отсутствии ненавистного голубого мундира.

– Я все забываю поблагодарить тебя за письмо в редакцию «Молвы», – сказал отец, крепко пожимая мне руку. – Сколько счастья оно мне дало! С какой гордостью я его читал! И как верно, как хорошо ты говоришь о наших отношениях.

– Как бы хорошо я ни говорил о них, я, в сущности, не сказал ничего. Словами не передать того, что значит один из нас для другого. Только мы знаем это.

– Верно, голубчик! Другие никогда не узнают. И не надо, чтобы узнавали.

Мы замолчали. Замолчали не потому, что нам не о чем было говорить, а потому, что мы не нуждались в словах, читая мысли друг друга.

Наши души сливались в одну, наши чувства и ощущения стали общими.

«О чем ты думаешь?», безмолвно спрашивал я отца.

«О тебе», отвечали мне его глаза.

Не знаю, сколько времени мы вели свой немой разговор. Быть может, 5 минут, быть может, час.

– Ты будешь сегодня говорить на суде? – наконец, спросил я отца.

– Не знаю. И если буду, то не знаю, что скажу, – ответил отец беззаботно. Ведь у меня, как тебе известно, все выходит экспромтом. Если же начну обдумывать и готовиться, то пропадет всякая охота говорить, и тогда я наверное ничего не скажу.

– Прости меня. Ты не... страдаешь? – спросил я, поколебавшись.

Отец сразу понял, что я имел в виду.

– Страдаю? Ничуть! Даже легче на душе. Теперь только ты один у меня. – Он светло улыбался и с бесконечной добротой и любовью глядел на меня своими голубыми глазами, совершенно выцветшими под знойными лучами тропического солнца.

Чудовищная, вопиющая бессмысленность того, что готово было свершиться, вдруг встала передо мной во всей своей кровавой, безобразной реальности.

– Папа, я... Я ничего не понимаю! – вырвалось у меня с рыданием. – Ты, лучший из людей, ты, не сделавший никому зла, ты, всеми – да, всеми, даже врагами – любимый, должен умереть! Почему? Кому это нужно? Быть может, ты понимаешь? Я – ничего не понимаю!

– А я понимаю, – возразил отец, прижимая меня к себе и вытирая мне слезы туго свернутым в комочек носовым платком, – я понимаю, что мы с тобой сейчас не на земле, а где-то наверху. Верь мне, голубчик, верь, сынишка мой славный, нет и не может быть вечной разлуки для тех, кто любит друг друга, как мы с тобой!

Что бы со мной ни случилось, моя душа всегда будет около твоей души, будет радоваться твоей радостью и печалиться твоим горем. Верь, верь своему папке, мой друг единственный, мой честный мужественный мальчик! Верь, что все к лучшему, верь, что я умру счастливым и радостным, и знай, что последняя моя мысль будет о тебе.

Отец побледнел, как мертвец, но глаза его горели восторженным, лучезарным огнем, в котором не было уже ничего земного.

– А теперь иди, беги, Женя, не то опоздаешь на пароход, – приказал отец, оторвавшись от меня и взглянув на часы.

Я встал.

– Помни, – продолжал отец, положив мне руки на плечи и пристально-строго смотря в глаза, – Аня – твоя мать, и Коля – твой брат, Ляля и Мака – твои дети, и ты их должен поставить на ноги. И еще: всеобщее, прямое, равное и тайное.

Я молча кивнул головой. Спазмы душили меня, и я не мог произнести ни звука.

– Обними меня еще раз.

Я судорожно прижался к груди отца, чувствуя, как неистово колотится его сердце.

– А теперь беги.

Когда я, как безумный, кинулся к дверям, мне мельком бросилась в глаза фигура Александрова, сидевшего на стуле спиной ко мне. Голова его странно тряслась.

...Ничего не видя перед собой, я мчался по улице, словно преследуемый разъяренными фуриями. В висках стучало пудовыми молотками, в ушах стоял бесформенный, все нараставший гул, как от надвигавшегося урагана. И сквозь сатанинский вой и грохот рас-

свирепевшей стихии, сквозь шум потревоженных волн ко мне донесся слабый крик, затерявшийся в безбрежном морском просторе:

«Прощай! Прощай!».

XVI

В гостинице я наскоро уложил чемодан и простился с А.П. Было условлено, что в Одессе, в ожидании парохода на Керчь, я опять остановлюсь на день у ее подруги, Е.В.Ираклиди. В Севастополе, где пароход должен был простоять 10-12 часов, я решил повидаться, после трехмесячной разлуки, со своими друзьями, рассказать про отца и матросов и, в свою очередь, узнать от них, как реагирует родной Севастополь на всероссийскую злобу дня – очаковский процесс, «дело Шмидта», как его называли газеты.

Вместе со мной уезжал один из защитников Ф.Е. Врублевский. Роль адвокатов, собственно говоря, уже кончилась, но для подачи кассационной жалобы адм. Чухнину на процессуальные нарушения, по вынесении смертного приговора, в котором никто из защитников не сомневался, собирался в Севастополь Балавинский; Винберг же оставался в Очакове для свидания с подзащитными.

День выдался солнечный и теплый. Ранняя южная весна чувствовалась и в набухающих почках, и во влажном, ласкающем ветерке, дувшем с близкого, темно-синего моря, и в безоблачной лазури почти жаркого неба.

Я собирался взойти по сходням на пароход, как вдруг фигура солдата-инвалида, на деревяшке и с палкой, загородила мне путь.

– Так что виноват, господин Шмидт, разрешите словечко сказать, окажите такую милость, – заговорил инвалид смущенно и нерешительно.

– В чем дело? – спросил я нетерпеливо, желая как можно скорее остаться один. – Говорите, я тороплюсь.

– Никак нет, господин Шмидт, здесь невозможно. Извольте отойти в сторонку, уважьте убогого.

Я с досадой пожал плечами и, сделав с калекой несколько шагов в сторону, остановился поодаль от спешившей на пароход публики.

– Так что многие солдаты, – начал инвалид таинственно, – которые, значит, в крепости батюшку вашего стерегли, страсть, как теперь убиваются. Не ослобонили, мол, опоздали. А могли, ей Богу, могли!

– Ну, теперь поздно «убиваться!» – грубо, почти с ненавистью ответил я. – Очень нужны отцу ваши сожаления!

– Не виноваты, барин, солдаты, Господь свидетель, не виноваты, – заторопился старый служака, часто заморгав маленькими, добрыми глазками.

– Все сговорились, барин, все наладили, все, как есть, окромя корабля. Корабля, вишь, найтить не могли, штоб, значит, его благородие препроводить в Турцию там, али еще куда. А как подрядились с греком одним – шхуна у его – так какой-то сукин сын, туды-растуды, по начальству донес. А может и не доносил никто, пес его знает!

– Может, начальство само пронюхало. Только достали, значит, солдаты, шхуну, уговорились, в какой день его благородие, батюшку вашего, вызволять, а начальство, накануне того самого, значит, дня, возьми да и переведи полк в город, в Очаков, то-ись. Такая незадача, хоть плачь!

– Плакать будете, когда отца расстреляют или повесят, – жестоко оборвал я его. – После драки кулаками не машут. Кто восстание подавлял? Ваш же брат!

Слезы незаслуженной и горькой обиды выступили на глазах у бедного инвалида.

– Эх, барин, барин, – покачал он головой со скорбной укоризной. – Грех вам! Что с нас взять! Темный мы народ, подневольный. Прикажет начальство – как не иттить? Пойдешь, когда своего же соседа боишься. А только поняли теперича наши ребята, моего полка, то-ись (в швальне я нынче по слабости своего нездоровья), в котором ногу эту самую японец мне прострелил, по-

няли, значит, что его благородие за простой народ погибают, за Рассею-матушку...Поняли, порешили ослобонить, да не судил, видно, Господь. Эх, горе наше горькое! Человек-то ведь какой!

Инвалид всхлипнул, утер рукавом глаза и низко поник головой.

– Другого такого нет! – прибавил он с глубоким отчаянием.

Мне стало стыдно за свою грубость.

– Простите меня, – глухо проговорил я, протягивая руку славному малому. – Я сейчас очень несчастлив. Я только что простился с отцом... навсегда, и мне трудно говорить о нем спокойно.

– А еще бы! Мы понимаем! Как не понять! –отозвался мой собеседник, смотря на меня с нежным участием. – Родимый ведь... Эх, беда, беда!..

– Прощайте, – перебил я его, услышав второй гудок. – Кланяйтесь вашим товарищам и поблагодарите их от имени отца и моего. Не удалось – что ж делать! Судьба!

– Да, уж от нее, треклятой, не уйдешь!.. Счастливого пути, баринок, давай вам Господь!

Я быстро взбежал по сходням на палубу небольшого парохода и спустился в кают-компанию.

Врублевский, пришедший раньше меня, доканчивал чай. Я к нему подошел.

– Позвольте, дорогой Фаддей Евстафьевич, поблагодарить вас за защиту, за усилия спасти моего папу. Я никогда, никогда этого не забуду.

Я отвернулся, чтобы справиться с истерической спазмой в горле.

– Эх, батенька, – с горечью и досадой вырвалось у Врублевского. – Не за что меня благодарить!

Он безнадежно махнул рукой, допил чай и ушел в нашу общую каюту, где сейчас же лег спать. Я постоял, бессмысленно смотря перед собой, закурил, сделал затяжку, выкинул папиросу в иллюминатор и последовал примеру Врублевского.

После бессонной ночи и невыразимых терзаний организм так обессилел, что, вопреки ожиданиям, я сразу погрузился в мертвый сон и проспал до Одессы.

Когда я проснулся, пароход неподвижно стоял у пристани Русского Общества, а Врублевского уже не было в каюте.

18 и 19 февраля я провел у знакомых, никуда не выходя. Окружающие, понимая мое душевное состояние, старались оградить меня от всего шумного и тревожного и ходили чуть не на цыпочках мимо комнаты, где я пластом лежал на кровати, уткнувшись головою в подушку.

19-го вечером я сел на пароход, отправлявшийся на Севастополь и Керчь. Когда пароход вышел в море, я попробовал, было, посидеть на палубе и хоть немного забыться в созерцании родной стихии. Море заштилело и манило на свое глубокое лоно, суля покой и забвение. Скоро пришлось убедиться, что на палубе я не найду ни того, ни другого.

Весть о «сыне Шмидта» успела распространиться среди пассажиров парохода, и я сделался предметом тягостного любопытства со стороны глазеющих пассажиров, собиравшихся в кучки, шептавшихся между собой и бросавших на меня многозначительные взгляды. Я спустился в каюту и вышел на палубу только на другой день, утром, когда пароход подходил к Севастополю.

На берегу меня встретил почти in corpore, мой шестой класс, узнавший неведомыми путями о моем приезде. Многие держали в руках какие-то листки. Лица у всех были бледные и суровые. Сойдя на берег, я перецеловался с друзьями и, сопровождаемый гурьбой одноклассников, отравился на квартиру к одному из них. Мои вопросы о Севастополе, об общих знакомых (разговор об отце я пока отложил) натыкались на сухие, односложные ответы, которые давались все реже и реже и, наконец, совсем прекратились. Друзья шагали рядом со мной в глубоком молчании. Несколько этим уколотый, я внимательно взглянул на них и только тогда, с внезапной догадкой, спросил, что за листки у них в руках.

Юноши растерянно переглянулись.

– Да, вот, получили и мы... – начал один из них, но запнулся, посоветовался глазами с товарищами и молча протянул мне листок.

Это был экстренный выпуск «Крымского Вестника», с только что полученной из Одессы телеграммой-приговором временного военно-морского суда по делу отца и матросов «Очакова».

Я удивился своему самообладанию, когда прочел страшную весть, к которой, впрочем, давно приготовился.

Итак, все кончено! Нет больше места ни надеждам, ни мучительным сомнениям!

Приговором временного военно-морского суда в г. Очакове от 18 февраля 1906 г. отставной лейтенант Петр Петрович Шмидт приговаривался, по лишении всех прав состояния, к смертной казни через повешение, кондуктор Сергей Частник, командор Никита Антоненко и машинист Александр Гладков – к смертной казни через расстреляние, студенты Новороссийского университета Пятин и Моишеев – к 10 годам каторжных работ, бывшие матросы крейсера 1 ранга «Очаков», в числе 26 человек: к различным наказаниям – от 2-летнего дисциплинарного батальона до бессрочной каторги, 10 матросов было оправдано.

Высочайшее задание «верные славным заветам» господа «судьи» выполнили, как выражались в старину, зело изрядно. Расстреляние для «этого изменника» сочли слишком легкой и почетной казнью.

Впоследствии мне передавали, что я даже не изменился в лице, когда прочел приговор. Только колени сразу ослабли и тело охватил озноб, хотя на мне было ватное пальто, а на дворе стояла теплая, почти летняя, погода. Я взял под руки своих друзей, Яковлева и Корди, и в глубоком молчании мы дошли до гостеприимных дверей. Я попал в богатую и большую семью, где меня сейчас же окружили уходом и сердечным теплом. Но я уже плохо различал окружающее. Предметы расплывались в глазах, в висках шумела кровь, вялость и изнеможение овладели всем существом моим. Скоро меня уложили в постель и, едва коснувшись подушки отя-

желевшей головой, я потерял сознание. К вечеру жар усилился. Временами я приходил в себя и узнавал тревожные лица, наклонявшиеся надо мной. Иногда мне казалось, что я все еще сижу в камере у отца. Отец торопит меня уходить, я умоляю позволить мне пробыть у него хоть полчаса, хоть пять минут. Отец неумолим. Я обнимаю его ноги и в страшном отчаянии кричу: «Тогда убей меня!». От собственного крика я снова прихожу в себя и вижу те же заботливые лица. Приглашенный врач определил простуду, осложненную сильным душевным потрясением, и обещал скорое выздоровление. Действительно, на другой день утром, 24 февраля, я уже встал и хотел собираться на пристань, но меня уговорили подождать еще, по крайней мере, день.

Подняв высокий воротник пальто, чтобы не быть узнанным, я решился пройтись по Севастополю и взглянуть на старые, дорогие места.

На улицах было мало народу. Все точно куда-то спешили, не глядя по сторонам и втянув голову в плечи. Вид немногих прохожих, сумрачный и подавленный, говорил о серых, тоскливых буднях, о разбитых надеждах. Только расфранченные и жизнерадостные фигуры морских офицеров вносили резкий диссонанс в общую физиономию скучной и бесцветной толпы.

«Торжество победителей!». Холодом повеяло на меня от дорогих и близких когда-то стен. И люди, и город, и лазурные берега показались чуждыми, постылыми, враждебными. Даже мысль о друзьях не согревала мне сердца. Отодвинувшись далеко, они сделались маленькими и ненужными**. Его** нет! Что мне весь мир без **него**! Пустыня. Пустыня в душе, пустыня кругом... Пустыня на всю жизнь...

На другой день, 22 числа, я выехал в Керчь. Семья А.П. уже знала о приговоре. В доме воцарились тоска и безмолвие. Если говорили, то шепотом, точно при покойнике или тяжело больном. Многочисленные и частые гости теперь не решались показываться на глаза, и жуткая, давящая тишина не нарушалась даже возней Ляли и Маки, обычно шалунов и буянов. Умненькие крошки

понимали, что в семье какое-то великое горе и смирно сидели у себя в детской. Агония приговоренного к мучительной смерти моего несчастного дорогого отца словно передавалась сюда, за несколько сот верст и превращала каждый день в нескончаемую, напряженную пытку.

Пытка усугублялась вынужденной бездеятельностью, сознанием своего полного бессилия хоть сколько-нибудь облегчить тяжелый крест далекому страдальцу. Анне Петровне, в этом отношении, было несравненно легче. После вынесения смертного приговора, она и не подумала складывать оружия и с кипучей энергией, энергией отчаяния, возобновила безнадежную борьбу с судьбой, за дело спасения жизни своему брату.

20 февраля очаковцам был объявлен приговор в окончательной форме, объявлен уже на транспорте «Прут», стоявшем в виду Очакова, куда отца и матросов перевели 18 февраля, сейчас же по произнесении смертного приговора, и где они должны были ждать конфирмации приговора Главным Командиром, адмиралом Чухниным. Защитниками через Балавинского сейчас же были поданы заранее составленные кассационные жалобы, после чего все защитники, за исключением А. В. Винберга, покинули ставший им ненавистным Очаков. Винберг, как я упомянул, остался в Очакове, чтобы, воспользовавшись предоставленным законным правом, видеться с отцом, как своим подзащитным*), до конфирмации приговора. «Прут» стоял в каких-нибудь 100 саженях от берега, и за Винбергом ежедневно, к известному часу, высылался на пристань вельбот. Свидания отца с Винбергом продолжались до дня казни отца и матросов, и долгие беседы с высоко-интеллигентным, милым и горячо сочувствующим человеком отгоняли, порой, от отца гнетущие мысли о смерти.

...Простившись с отцом, сестра его, дорожа каждой секундой, остававшейся до приведения приговора в исполнение,

*) Фактически Винберг защищал только матросов. В Очакове он оставался, заменив защитников отца, спешивших по своим делам.

помчалась в Петербург. Там, первым делом, отправилась к своему влиятельному дяде, адмиралу Владимиру Петровичу Шмидту, члену Адмиралтейского Совета. Но от впавшего в совершенное детство 80-летнего старика, к тому же враждебно настроенного к отцу своими детьми, А.П. не добилась большого толка. На все ее мольбы съездить к Государю и лично похлопотать за своего племянника адмирал, потирая раненую под Севастополем ногу, неизменно шамкал беззубым ртом:

– Много народу положил... Много!

Видя, что на дядю надежда плоха, А.П. кинулась к всемогущему графу Витте. Сверх ожидания, тот принял ее чрезвычайно предупредительно, даже ласково. Выслушав ее бессвязные мольбы, прерываемые рыданиями, премьер-министр заявил, что если смертная казнь и могла быть применена к лейт. Шмидту, то только немедленно по подавлении мятежа. Предавать же казни спустя три месяца, протомив столько времени человека в ожидании смерти, он, Витте, находит «бесчеловечным».

– Я лично завтра же доложу Государю Императору о деле вашего брата, – так закончил глава кабинета свою аудиенцию. – Прошу вас наведаться ко мне дня через три. Обещаю вам употребить все свое влияние, которое, поверьте, не так велико, как думают, чтобы не дать совершиться непоправимому, жестокому и... пагубному шагу.

Анна Петровна уехала от Витте вполне обнадеже заявил: «Не хлопочите за вашего брата, потому что он будет все равно помилован».

По-видимому, петербургские круги, близкие к «сферам», не допускали мысли о возможности казни. Но эти благоприятные симптомы омрачились для Анны Петровны отказом в приеме со стороны двух министров: внутренних дел – Дурново и морского – адмирала Бирилева.

Тогда Анна Петровна заручилась у председателя Петербургского Совета присяжных поверенных де-Плансона пись-

мом к морскому министру от одного весьма важного лица*). На следующий день по отсылке письма, 4 марта, Анна Петровна должна была отправиться к Бирилеву за ответом.

Утром 4 марта, выходя из гостиницы, чтобы ехать к Бирилеву, Анна Петровна столкнулась с сильно взволнованным Зарудным. Он протянул ей телеграмму от Балавинского, полученную им ночью:

«Если Петербург не сделает немедленного распоряжения, приговор о Шмидте будет приведен в исполнение. Делаются грозные приготовления».

Едва Анна Петровна успела прочесть страшные строки, как ей подали другую срочную телеграмму от того же Балавинского:

«Приговор конфирмован. «Терец» выходит в Очаков сегодня вечером. Уезжаю вечером в Москву».

А.П. вместе с Зарудным отправилась к Бирилеву. Там ей сообщили, что министр уехал на чьи-то похороны.

Тогда А.П. поехала к Витте. Написав несколько слов и приложив к своей записке телеграммы Балавинского, А.П. передала все курьеру, единственному живому лицу в приемной – было еще очень рано.

Витте принял А.П. немедленно. Первыми его словами, когда она вошла в кабинет, были:

– Дорогая, я понимаю Ваше положение! – Сказал он это с большой теплотой и участием. Затем Витте развел руками.

– К величайшему своему сожалению, ничего не мог сделать для вашего брата, – объявил он помертвевшей А. П.

Я подал Государю Императору подробную докладную записку о деле лейтенанта Шмидта и... вот какую резолюцию Его Величеству благоугодно было положить на моем всеподданнейшем ходатайстве.

Витте порылся в ящике письменного стола и вынул исписанный на машинке лист бумаги большого формата, на котором сверху

---

*) Если память не изменяет, этим лицом была принцесса Алътенбургская.

синим карандашом было написано несколько строк крупным детским почерком.

А.П. протянула руку, чтобы прочесть Высочайшую резолюцию, но Витте быстро отдернул лист и положил его обратно в ящик.

– Я лишен возможности ознакомить вас с резолюцией Государя Императора, – ответил Витте на изумленный взгляд А.П.

– Но почему, граф?

– Это совершенно невозможно, – резко отклонил министр дальнейшие расспросы. – Поверьте, – продолжал он мягче, – я сделал все, что мог. Есть течения, бороться с которыми у меня нет средств. Я сам, быть может, скоро...– Витте спохватился и докончил:

– Мой единственный совет – подать прошение на Высочайшее имя о помиловании. Ничего иного посоветовать не могу.

В своих «Воспоминаниях» О. Ю. Витте посвящает читателей в тайну Высочайшей резолюции. По его словам, Император Николай на докладе Витте о психическом расстройстве отца (других мотивов для отмены приговора всесильный граф, оказывается, не решился представить на Высочайшее благоволение!) и невозможности, по сей причине, наказывать его смертью, собственноручно соизволил начертать:

«У меня нет ни малейшего сомнения в том, что если бы Шмидт был душевнобольным, то это было бы установлено судебной медициной».

Признаюсь, прочитав Монаршую цитату, я впал в сильнейшее недоумение. В резолюции Императора не содержалось решительно ничего такого, что бы его первый министр мог счесть зазорным показать кому бы то ни было.

Император не согласился с министром в вопросе о сумасшествии главы восстания в Черноморском Флоте, справедливо основываясь на заключении врачебной комисси, – только и всего. Почему же бумагу с Высочайшей резолюцией, утверждающей столь очевидную и простую истину, премьер должен был тщательно прятать от постороннего ока?

Поведение Витте, не решившегося показать резолюции А.П. и через много лет опубликовавшего нечто совершенно не вяжущееся с предыдущим, оставляет весьма обширное поле для догадок. К гаданьям я не чувствую никакой склонности, но очень люблю факты.

А из области фактов мне известно вот что: когда Император Николай I получил в 1841 г. известие о смерти М.Ю.Лермонтова, он соблаговолил на докладе гр. Бенкендорфа о подробностях дуэли с Мартыновым написать следующие высокознаменательные слова: «Собаке – собачья смерть». Зная манеру Николая II класть резолюции по тому или иному поводу («Ай да лицеисты!», «Нахожу дерзким и бестактным», «Благодарите извощиков», «Мерзавцы!» и т. д.), не думаю, чтобы правнук слишком далеко ушел от прадеда.

Несколько лет спустя, отвечая оппозиции с кафедры Государственной Думы на обвинение в создании системы политической мести, покойный премьер П.А.Столыпин объявил во всеуслышание, что «в политике нет мести, а есть только последствия».

Бесконечно скорблю, что глубокочтимый мною Петр Аркадьевич пал жертвой предательской руки провокатора. Не говоря уж о том, что погиб один из крупнейших государственных людей России, коими наша несчастная родина не так уж богата, сановник-патриот лишен возможности убедиться воочию, что провозглашенная им теория «последствий» может завести слишком далеко, так далеко, как в 1906 г. он не допускал, я думаю, и во сне. Пусть казнь моего отца требовалась для вящего утверждения незыблемости упомянутой теории.

Но тогда и величайшее злодеяние XX века, потрясшее в 1918 г. весь цивилизованный мир, должно отнести к категории «последствий»...

В отчаянии, потеряв голову, А.П. снова бросилась к Морскому Министру. Тот успел воротиться с похорон, но передал через адъютанта, что «из разговора между мною и сестрой лейт. Шмидта не сможет получиться ничего, кроме равно тяжелого для нас обоих».

Тогда А.П. подала прошение на Высочайшее имя с горячей мольбой о даровании Государем жизни ее брату и в тот же день выехала в Очаков для последнего свидания с отцом. Но было уже поздно...

24 февраля я получил от отца следующую телеграмму с транспорта «Прут», где отец находился с 18 февраля – дня вынесения приговора временным военно-морским судом.

«Сыночка милый, будь мужествен. Я спокоен и счастлив. Принял приговор и буду тверд до конца. Крепко люблю тебя, обнимаю. Твой друг – папка».

28 февраля, в день моего рождения, ко мне, через Винберга, пришло «последнее слово» отца на суде, записанное отцом на память, для меня. К «слову» было приложено письмо отца. И «слово», и письмо привожу полностью:

«Евгению Петровичу Шмидту.

Дорогому и единственному другу – сыну моему мои заключительные слова на суде, воспроизведенные после заседания, по воспоминаниям моим и моих защитников, 17 февраля 1906 г. в г. Очакове.

Голубчик мой, Женя, помнишь, ты заходил ко мне в мою тюрьму попрощаться, я говорил тебе, что не знаю, скажу я что-нибудь судьям или нет. Это было утром до заседания. Когда я пришел в суд, так и не думал о том, буду или нет говорить, и не думал, что сказать мне, если я буду говорить.

Слово, которое я воспроизвел здесь тебе почти с буквальной точностью, вылилось само из моей души, помимо моей воли, и в нем правдиво отразилось душевное состояние мое и мысли, и вера моя. Я нарочно просил защитников проверить то, что записал, и они проверили, сказали, что написанное здесь почти дословно было сказано мною. Мне же именно и хочется, чтобы эти последние слова, сказанные мною перед принятием смертного приговора, дошли до тебя в полной точности, так, как они вылились из души моей.

Ты – мой честный, горячо любимый сын и Друг. Мы вместе с тобой пережили этот кровавый день на «Очакове», мы

вместе хотели принять смерть, но сама справедливость спасла твою молодую жизнь. Сама справедливость спасла меня от смерти в тот день для того, чтобы я мог умереть, объяснив русским людям, за что умираю я.

Живи же, мой мальчик, живи, сын мой! Проникнись теми простыми идеалами и стремлениями, которыми жил я. Продолжай служить делу, от которого отрывает меня казнь. В каждом человеке, какой бы партии он ни принадлежал, ты должен видеть своего друга и друга отца твоего, если этот человек искренно, всем существом своим, жаждет для России всеобщего избирательного права.

Крепко обнимаю тебя, сынишка мой хороший, крепко люблю.

Твой папка-друг П.Шмидт.

1906 г., 17 февраля, гор. Очаков.

***

«Г.г. судьи! Перед вашими беспристрастными глазами прошло дело, во главе которого был я. Не могло это дело стать совершенно ясным, т. к. оно явилось здесь как обрывок общего, великого русского дела, самая сложность которого не позволяет нам, современникам, обнять его беспристрастным взором. И этот обрывок русского дела, слабо освещенный свидетельскими показаниями, ждет теперь над собой вашего приговора.

Я говорил вам, г.г. судьи, что не должно быть в этом деле произнесено ни одного слова неправды, – только одну правду вы слышали от меня и, я знаю, вы верили мне!

Предсмертная серьезность моего положения, ответственность перед Родиной побуждают меня еще раз сказать вам о тех молодых жизнях, которые ждут со мною вашего приговора. Клянусь вам, что те случайные свидетельские показания, которые установили ряд улик против того или другого матроса и тем увеличили вину некоторых из них, не могут, не должны быть приняты во внимание.

Верьте мне, что стройное накопление улик не может руководить вами, верьте мне, что все они были предо мной совершенно однородной толпой, что никому из них нельзя вменять в вину близость к Шмидту. Все они были одинаково близки мне, и если я обращался к ним со словом, то ко всем сразу. Верьте, что никого из них я не посвящал в свои планы, потому что у меня самого не было никакого плана; я сам метался в глубоком отчаянии своем. Верьте же, г.г. судьи, что никого из них нельзя карать со мной равным приговором. Верьте мне, что сама правда требует, чтобы ответил я один за это дело в полной мере, сама правда повелевает выделить меня!

Я не прошу снисхождения вашего, я не жду его. Велика, беспредельна ваша власть, но нет робости во мне и не смутится дух мой, когда услышу ваш приговор.

Не первая Россия переживает дни потрясений, и в истории всех народов, при взаимном столкновении двух начал – старой и молодой народной жизни – были всегда жертвы.

В минуту государственного хаоса не могут не возникать такие глубоко трагические недоразумения.

Я встречу приговор ваш без горечи, и ни минуты не шевельнется во мне упрек вам. Я знаю, что вы, г.г. судьи, страдаете не меньше нас; вы так же, как и мы, жертвы переживаемых потрясений народных.

Без ропота и протеста приму смерть от вас, но не вижу, не признаю вины за собой!

Преступно в дни мирной жизни насильственно ломиться во Дворец, но не преступно в дни великих потрясений, в безумном отчаянии выламывать двери и кричать: Царь, дворец в огне!

Когда дарованные блага начали отнимать у народа, то стихийная волна жизни выделила меня, заурядного человека, из толпы, и из моей груди вырвался крик. Я счастлив, что этот крик вырвался именно из моей груди!

Я знаю, что столб, у которого я встану принять смерть, будет водружен на грани разных исторических

эпох нашей Родины. Сознание это дает мне много силы, и я пойду к столбу, как на молитву.

Позади за спиной у меня останутся народные страдания и потрясения тяжелых лет, а впереди я буду видеть молодую, обновленную, счастливую Россию.

Великая радость и счастье наполняют мне душу, и я приму смерть!

В последнюю минуту я буду думать: Да живет Русский Царь, да здравствует грядущее народное представительство, да здравствует обновленная, могучая, счастливая, свободная Россия!»

***

Эта необычайная речь потрясла, по словам защитников, всю залу суда.. После речи плакали подсудимые, часовые, жандармы и судьи. Да, даже судьи, что не помешало им, рабски подчиниться директивам из Петербурга, приговорив к смертной казни четырех человек.

...Время до 7-го марта превратилось для меня в такой непереносимый кошмар наяву, что после диких душевных терзаний я впадал иногда в полную бесчувственность, застывая на много часов в равнодушной окаменелости.

Из этого периода мне ярко запомнился один эпизод. Дядя Владимир Захарыч и брат Коля куда-то ушли. В одинокой тоске, не находя себе места, я брожу по безмолвной большой квартире и попадаю в детскую.

Там натыкаюсь на целое общество. Нянька моих маленьких кузенов, Настасья, пользуясь отсутствием господ, пригласила к себе с полдюжины соседних кухарок и нянек. Все кумушки расположились вокруг стола и с захватывающим интересом следили за картами, раскладываемыми корявыми пальцами Настасьи. Ляля и Мака тихо сидели тут же, на столе, и напряженно таращили глазенки на таинственные сочетания тузов, королей и валетов.

При моем входе все встрепенулись, и несколько голосов торжествующе закричало мне навстречу:

– Будет жив, будет!..

– Кто? – не понял я сразу.

– Папа ваш будет жив, паныч! Будет, как Бог свят! Уж который раз выходит!

Но кумушкам, вместе со всей Россией, скоро пришлось горько разочароваться.

Не помогли ни заступничество некоторых высокопоставленных лиц*) (в том числе принцессы Альтенбургской), еще не утративших способности заглядывать в будущее, ни бесчисленные ходатайства и протесты со всех концов России, печатавшиеся в газетах самых различных толков и направлений, ни предостерегающие голоса немногих искренних друзей правительства. Не помогло ничего. На отце «твердая» власть решила доказать всей России, что самодержавное правительство может позволить себе роскошь, о которой и не смеет и помыслить ни одно европейское правительство – роскошь не считаться с общественным мнением своей страны.

Чтобы привести хоть небольшую часть откликов русской прессы того времени на приговор по делу отца, потребуется отдельная книга. Ограничусь, поэтому, передовой статьей серьезных и сдержанных «*Русских Ведомостей*», как наиболее характерной для настроения тогдашних верхних слоев русского общества.

«Москва, 4 марта 1906 г.

Внимание всей России сосредоточено сейчас на участи одного человека. Посреди массы забот и беспокойств, которые окружают русских обывателей, посреди беспрерывного ряда самых мрачных и острых впечатлений, посреди новых и новых жестоко-

*) В марте 1917 г. покойный Великий Князь Михаил Александрович письмом в редакцию одной из петербургских газет сообщал о заступничестве перед Императором Николаем за жизнь лейтенанта Шмидта своей Августейшей Матери, Государыни Императрицы Марии Федоровны.

стей и опасностей, что, казалось бы, могла, значить для общества жизнь одного человека? Почему с таким лихорадочным чувством, с таким беспокойным вниманием останавливается читатель на телеграммах, идущих из Севастополя и говорящих о будущем лейтенанта Шмидта? Приговор над несчастным вождем Очаковского дела волнует общество, как будто лейтенант Шмидт, после долгих, долгих лет отсутствия смертной казни, был единственным человеком, над головой которого нависла страшная опасность исполнения смертного приговора.

Право ли общество, так выделяя одного человека над массой других казнимых – расстреливаемых и вешаемых? Тот, кто внимательно посмотрит на причины этого беспокойного отношения общества, должен признать, что оно право. Право оно потому, что в судьбе несчастного лейтенанта Черноморского Флота он увидит типичное выражение своей собственной участи. Экзальтированный, пораженный величием открывающейся перед ним цели, – человек, не столько руководящий событиями, сколько вдохновляемый ими – таковым представляется нам лейтенант Шмидт. Нахлынувшие волнения довели эту впечатлительность до болезненности. Подобно многим другим, Шмидт представлял человека, которого захватило трудное время не готовым к трудной борьбе и которого налетевшие, как буря, события наэлектризовали, возбудили, сделали болезненно чутким ко всякому происходящему. И в этом отношении Шмидт повторяет историю всего русского общества в переживаемый нами момент, повторяет он ее и в той цели, к которой стремился. Как объяснил Шмидт на суде, его цели сливались с началами, возвещенными в манифесте 17 октября. Он защищал эти начала и за них несет теперь наказание. В таком положении находится значительная часть русского общества. Подобно лейтенанту Шмидту оно с болезненной чуткостью отнеслось к раскрывающейся перед ним задаче, подобно ему, оно готово было защищать основные начала манифеста 17 октября. И так же, как он, оно стоит теперь перед вопросом, будет ли совершена смертная казнь над «незыблемыми основами гражданской свободы».

И вот почему с лихорадочной тревогой ждет оно известий из Севастополя».

...2 марта 1906 г. в покоях Зимнего Дворца собрался совет вершителей судеб России во главе с Великим Князем Владимиром Александровичем, графом Витте, Министром Внутренних Дел П. Н. Дурново и генералом Д. Ф. Треповым. Этому совету Император Николай предоставил решить участь моего отца. Что говорилось на совещании, как распределились голоса – сказать не могу. Мне известен только самый факт совещания и его результат – решение предоставить Главному Командиру Черноморского Флота поступить с отцом «по закону». Адмирал Чухнин, наделенный почти неограниченной властью в пределах Черноморского побережья, в деле отца, если бы и хотел, не смел, конечно, распорядиться самостоятельно и почтительно ждал указаний из Петербурга. 4 марта пришла, наконец, высокая директива – «поступить по закону», и в тот же день Чухнин конфирмовал приговор, оставив кассационные жалобы защитников без рассмотрения, и заменив отцу повешение расстрелянием. Спешу, однако, подчеркнуть, что последняя «милость» была вынужденной. Заблаговременные поиски палача не дали в течение 2-х недель никаких результатов; не нашлось человека, ни из уголовных, ни из профессионалов, согласного повесить лейтенанта Шмидта. Вполне возможно, что поиски, в конце концов, особенно при соответствующем вознаграждении, увенчались бы успехом. В крайнем случае, можно было бы воспользоваться услугами какого-нибудь смертника. Но Чухнин торопился и не мог терять времени на поиски, и посему решил пренебречь формой, лишь бы выполнить Высочайшее задание по существу.

Судьба прошения сестры отца о помиловании мне неизвестна. Дошло ли оно по назначению, прочел ли его Император Николай, а если прочел, то какую резолюцию изволил положить – не знаю до сих пор. Если уместно на этих скорбных страницах высказать мнение бывшему верноподданному – не думаю, чтобы Николай II смог или захотел изменить свое первоначальное решение.

Для этого он слишком ненавидел моего отца, с одной стороны, и слишком был в плену у своей жены – с другой. Как бы там ни было, А. П. по приезде в Одессу утром 6-го марта, узнала, что казнь отца и матросов совершилась три часа тому назад.

В воскресенье, 5-го марта 1906 г., около 7 ч. утра, когда я полоскался у умывальника в своей комнате, ко мне вошел брат Коля.

Он собирался в гимназическую церковь и был в мундире. Взглянув на него, я понял, что агония одинокого дорогого страдальца пришла или приходит к концу.

– Эти мерзавцы, – начал Коля, но, задохнувшись, не окончил и отошел к окну.

– Давай телеграмму, – отрывисто проговорил я.

Коля молча протянул мне телеграфный бланк. Я прочел: «Приговор конфирмован. Выезжаю в Одессу. Анна».

«Несть власть, аще не от Бога»... – почему-то мелькнуло в голове. Я подошел к Коле и стал, как и он, бессмысленно наблюдать через окно за стаей воробьев, обезумевших от весеннего солнца.

Внезапно Коля повернулся ко мне. Лицо его, словно покрывшееся густым слоем пудры, было искажено гримасой бешеной ненависти.

– Я клянусь отомстить за Петю! Клянусь! Ты... ты мне веришь? – с трудом выговорил он посиневшими губами...

...Когда мы вышли в столовую, дядя неподвижно сидел у самовара и, опустив седую голову на грудь, плакал скупыми, старческими слезами. На другой день – к вечеру, пришла еще одна, последняя, телеграмма: «Наш дорогой Петруся сегодня утром 6 марта расстрелян на острове Березани. Еду на могилу. Анна».

– Упокой, Господи, души усопших раб Твоих, Петра, Сергия, Никиты, Александра, – громко читал молодой священник и кадил размашистой, широкой рукой.

Кадильный дым медленно подымался вверх и принимал в залитых слезами глазах туманные, причудливые образы. Я где-то их видел, но где?

...– И сотвори им вечную память...

Сзади меня кто-то отчаянно вскрикнул. Я оглянулся и увидал среди родных неизвестного, бедно одетого, пожилого господина. Он дико, исступленно рыдал...

Клубы серого дыма подымались все выше и выше, заволакивая залу и бледные лица молящихся. Мне казалось, что в зале, кроме меня, никого нет, и я один во всем мире, один навсегда!..

***

Отлетела великая душа!..

Отлетела душа, всю горькую земную жизнь свою, от начала до конца, запечатлевшая героическим подвигом, самоотречением и жертвой. Отлетела душа, с первых дней сознательного бытия своего стремившаяся лишь к правде и счастью для других. Отлетела душа, не искавшая иной награды, кроме мученического завершения трагической судьбы своей. Отлетела душа неописуемой красоты, таившая в кристальных недрах своих неисчерпаемые источники бесценных сокровищ. Отлетела душа величайшего из патриотов, которых так мало, так ужасающе мало в нашей темной, несчастной, нелепой России!

Вот что писал по поводу казни моего отца один петербургский орган, близкий, идейно, к партии народной свободы:

«С.-Петербург, 7 марта 1906 г.

Ужасное свершилось!..

Сердце не бьется, так много любившее...

Грянули выстрелы, которыми неистощимый в милостях своих адмирал Чухнин заменил петлю, прокатилось роковым раскатом от края до края – и замерла прекрасная жизнь. Сила злобы и мести победила. На кладбище русских упований прибавилась новая могила, в пантеоне русского освобождения – новый мученик.

История русского освобождения – история мученичества. Путь его – крестный путь.

Вчера по этому пути сделан новый шаг. Нет меры отчаянию и скорби русского общества. Если только в такой скорби может быть утешение – оно есть. Отдавший делу свободы жизнь свою

лейтенант Шмидт послужит ему и своей смертью – венцом мученика, надетым слепыми людьми на его вдохновенную голову.

Вослед уходящей в неведомое тени того, что было соткано из энтузиазма и самоотверженности, из лучших нитей духа – несутся вместе с рыданиями и благословениями пылающие обеты.

На братской могиле Шмидт призывал: «Клянитесь!». На его могиле, к которой не зарастет тропа, будет, не замолкая, звучать это «клянитесь!»

Если там, за гранями ведомого, есть иная жизнь, убитый Шмидт будет вознагражден за муки земли сознанием, что он – одна из последних жертв русского освобождения, что своею кровью он переполнил чашу русского горя.

Были мученики – и сколько их было! И все больше и больше является их на историческом пути великого русского освобождения.

И когда грядущие, более счастливые, поколения будут творить свой суд над современностью, над ее уклонениями, ошибками и заблуждениями – тогда этот бесконечный синодик славных имен остановит всякое осуждение. Но история не довольствуется одними мучениками, ей мало безграничной смелости борцов и «безумства храбрых» – ей нужна поэзия, ей нужны символы, ей нужна легенда, ей нужны эти сказочные цветы, вырастающие на почве действительности.

Русское освобождение уже имеет свою легенду, и эта легенда, упоительно-красивая и безгранично-печальная, называется – лейтенант Шмидт.

Вокруг этого, еще так недавно совершенно безвестного имени, сложилась историческая легенда русского освобождения.

Неожиданно и странно выросла эта сказочная фигура на фоне русского освобождения в исторические октябрьские дни.

Короткая жизнь, похожая на героическую сказку рыцарских времен, принесена в жертву слепой мстительности.

...Они не поняли, на что руку подымают. Они убили веру многих тысяч доверчивых сердец, они убили светлые надежды, они посеяли семена глубокой ненависти в самые кроткие души, они повторили ужасную и непоправимую ошибку 9 января!..

Они в слепоте своей не поняли даже того, что мертвый Шмидт опаснее живого. Им изменил даже тот инстинкт самосохранения, который живет и спасает на самых низах существования...

...Есть в рядах русского освободительного движения сотни деятелей, поработавших больше Шмидта, но только лейтенанту Шмидту выпало великое счастье «ударить по сердцам с неведомою силой».

Из многих сотен мучеников и жертв русского освобождения он стал символом этого движения, он воплотил его энтузиазм, он имел исключительное счастье сгореть в лучах его поэзии. И мертвый, еще больше, чем живой, он вспыхнет яркой легендой великой и страстной эпохи и зажжет новым пламенным энтузиазмом тысячи сердец, которым брошен этот вызов»...

XVII

Сестра моего отца с непостижимой силой духа и совсем не женскими энергией и выносливостью, проявленных ею в продолжение четырех месяцев бесплодных хлопот и душевных терзаний, решила исполнить свой долг перед братом до конца.

Прибыв утром 6 марта в Одессу и узнав от своей подруги, Е. В. Ираклиди, о казни отца и матросов, она немедленно поехала к командующему округом, барону Каульбарсу, с целью истребовать тело казненного брата. Каульбарс выйти сам не решился и передал лишь через адъютанта, что собственной властью выдать тела не может, но советует обратиться за указанием на канонерскую лодку «Терец», принимавшую участие в расстреле «очаковцев» и только что пришедшую из Очакова. Анна Петровна, ни минуты не медля, отправилась на пристань, взяла шлюпку, подошла к «Терцу» и со шлюпки же, не подымаясь на палубу, назвала себя вахтенному начальнику.

Последний, в смятении, сбежал вниз, чтобы помочь Анне Петровне взойти по трапу наверх. Когда Анна Петровна ступила

на палубу «Терца», офицеры лодки уже спешили навстречу сестре лейтенанта Шмидта. Доктор «Терца», знавший отца и деда по Бердянску, от имени всех офицеров попросил Анну Петровну выслушать каждого из них в отдельности и предложил сойти для сего в кают-компанию. От доктора Анна Петровна узнала, что отец ждал ее с нетерпением, надеясь еще раз проститься с сестрой перед смертью.

– А сестра-то, бедная!.. Все в Петербурге! – часто повторял он.

Доктор рассказал все, что знал, о последних минутах моего отца, которого он, по долгу службы, посетил для врачебного осмотра вечером, накануне казни... Доктора сменил бледный, как смерть офицер – лейтенант М. М. Ставраки, друг и однокашник моего отца по Морскому Училищу. Дрожа и заикаясь, поминутно останавливаемый рыданиями, он, словно в бреду, начал сбивчивую и бессвязную речь:

– Анна Петровна, поймите... Меня назначили – и я не мог отказаться... осадное положение... Но я любил Петю... мы вместе учились... Когда Петя вышел на Березань и прошел близко около меня... я снял фуражку и низко ему поклонился... Он на меня не сердился... Он ласково ответил мне на поклон... перекрестил меня...

И Ставраки судорожно зарыдал. Он был тем офицером, который командовал церемонией расстрела отца и матросов*).

Из рассказов офицеров «Прута» и лейтенанта Ставраки, слов защитника А. В. Винберга и священника о. Бартенева, напутствовавшего отца, конец очаковской трагедии – последний день на «Пруте» осужденных и геройская смерть их на пустынной Березани – встает со всеми своими потрясающими подробностями.

Как уже было отмечено выше, Винберг ежедневно навещал переведенного на «Прут» отца, являясь для него единственным

*) Чем руководствовался адмирал Чухнин, назначая не кого другого,а именно лейтенанта Ставраки привести в исполнение смертный приговор над его другом? Этот невероятный садизм, неизвестный даже большевикам (я не знаю случая, когда бы большевики заставили одну часть взятых в плен белых расстрелять другую), можно объяснить только свойствами подлой, злобно-мстительной души Главного Командира.

лучом света в бездне неоглядного мрака, единственным дружеским лицом среди многочисленных врагов. Он приносил отцу все газеты, какие только мог достать, и отец, читая летевшие со всех концов России требования и мольбы о сохранении ему жизни, умилялся и говорил, что умирать окруженному подобным ореолом и всеобщей любовью так легко и приятно, что не составляет никакой заслуги.

Действительно, если русское общество и оказалось бессильным вырвать из цепких рук правительства дорогую жизнь, то его громкий и властный голос, проникнув сквозь стены тюрьмы к моему отцу, значительно облегчил страдальцу его последние шаги на Голгофу.

В воскресенье 5 марта, перед обедом, когда Винберг сидел у отца уже около 2-х часов, в каюту-камеру вошел начальник караула и прочитал отцу бумагу от Главного Командира, в которой сообщалось об оставлении без последствий кассационной жалобы защитников и утверждении приговора с заменой отцу повешения расстрелянием. Казнь назначалась на другой день, 6 марта.

Выслушав вестника смерти, отец слегка побледнел и спросил:

– А матросы?..

– И матросам приговор утвержден.

– Боже! Их-то, их-то за что? – вскричал отец, всплеснул руками и зарыдал.

Отец долго не успокаивался и негодовал на бессмысленную жестокость Чухнина, посылавшего на смерть людей, чья вина, по мнению отца, не превышала вины любого из очаковцев, получивших каторгу и арестантские роты. Затем отец спросил у офицера:

– Будет ли мне позволено написать письма родным?

– Все, что угодно, Петр Петрович, – предупредительно ответил офицер.

Винберг предложил отцу написать письма сейчас, чтобы он мог взять их с собой и доставить по назначению.

– Нет, голубчик, спасибо, я напишу их после, наедине с самим собой, – сказал отец. И, обращаясь к караульному офицеру, спросил:

– Вы обещаете передать их Анатолию Владимировичу?

– Даю честное слово русского офицера, – поспешно согласился тот.

Узнав, что казнь произойдет на Березани, отец подошел к иллюминатору и, смотря на видневшийся вдали остров, задумчиво проговорил:

– Хорошо будет умирать на Березани. Надо мной будет небо, вокруг меня – море, моя родная, любимая стихия...

Отец долго стоял у иллюминатора и, не отрываясь, смотрел на Березанъ.

Когда он повернулся к Винбергу, лицо его было совершенно спокойно, а глаза ясны и безмятежны.

Заметив, что Винберг бледен до синевы и почти не владеет собой, отец встряхнул его за плечо и шутливо проговорил:

– Что с вами, Анатолий Владимирович? Какое лицо вы сделали! Давайте-ка лучше обедать.

Винберг просидел с отцом часа два, затем ушел навестить других приговоренных к смерти и снова вернулся к отцу, чтобы проститься.

Впоследствии он мне говорил, что отец держался с удивительным мужеством и самообладанием. Его внутреннее состояние выдавалось только усиленным курением. Разговор, часто прерывавшийся томительными паузами, велся почти исключительно одним отцом.

Винберг, потрясенный до глубины души, с трудом выжимал из себя слова, подавая реплики, не слыша и не понимая того, что говорилось отцом.

Винберг запомнил, однако, две темы, к которым отец постоянно возвращался – участь матросов и мое горе. Эти мысли не давали ему покоя, и терзался он ими невыносимо.

Когда Винберг вернулся от приговоренных матросов для последнего прощания, отец горячо его обнял и сказал:

– Спасибо вам, родной, за все, за все! Скажите сыну, скажите всем, что, умирая за Россию, за русский народ, я радостно и спокойно иду навстречу смерти. Прощайте, голубчик, Христос с вами!

По уходе Винберга, отец попросил позволить ему принять ванну. Ванны ему почему-то не разрешили, а принесли в каюту большой таз и два ведра воды, чем отцу и пришлось удовольствоваться. Совершив последнее омовение, отец прилег отдохнуть и спал около часа.

Приговоренным к смерти матросам – Частнику, Антоненке и Гладкову – сообщили о конфирмации приговора одновременно с отцом. Когда их спросили о последнем желании, они стали просить разрешения провести ночь перед казнью вместе с «адмиралом». Им отказали.

Вечером отцу предложили принять священника, чтобы исповедаться и причаститься. Отец изъявил согласие и, после исповеди и причастия, долго беседовал с морским священником о. Бартеневым.

Матросы принять священника отказались. После ухода священника, отец сел за письма и писал до глубокой ночи. Письма были ко мне, сестре его и ее мужу.

Покончив с письмами, отец вызвал начальника караула и напомнил ему его обещание, данное под честным словом – передать письма присяжному поверенному Винбергу, дожидающемуся их в Очакове. Офицер подтвердил свое обещание, и отец отдал ему письма.

Этих писем нам не суждено было прочесть, и предсмертные слова отца моего навсегда остались для меня тайной.

Я как-то говорил о своеобразном понимании г.г. офицерами Российского Флота законов чести и воинской доблести*).

Давший честное слово офицер, из гнусных карьерных соображений решил ему изменить и передать письма казненного «по начальству» – старшему офицеру «Прута», с приложением соответствующего рапорта.

От старшего офицера письмо пошло потом к военно-морскому прокурору Крамаревскому, затем к Чухнину, от Чухнина – к Министру Внутренних дел Дурново и, наконец, было окон-

*) Я имею в виду само собою офицеров старой формации, с 1890-х по 1905 включительно.

чательно погребено в архивах департамента полиции. Все хлопоты, все просьбы, мольбы и настояния наши пред всевозможными лицами и учреждениями не привели ни к чему. Писем мы так и не получили*).

...Вечером же к отцу явился судовой врач, д-р Д., и спросил отца, не чувствует ли он недомогания. Отец пристально взглянул на доктора, словно желая проникнуть в его мысли, и затем решительно заявил:

– Я совершенно здоров. До места казни дойду превосходно!

Доктор надеялся, что отец догадается сказаться больным. Прошение о помиловании, как предполагал доктор и некоторые офицеры «Прута», по-видимому, еще не рассматривалось Государем (явная нелепость!) и следовало, во что бы то ни стало, оттянуть время до получения из Петербурга повеления об отмене смертного приговора.

Отец, видя, куда гнет доктор, понимал, однако, лучше всех своих друзей и доброжелателей, что легче рассчитывать на снисхождение голодного тигра, чем на милосердие Николая II к лейтенанту Шмидту...

И потому, не желая увеличивать еще одним днем своих предсмертных мук, отец положил конец докторской дипломатии, заявив, что он совершенно здоров. Доктор Д., действовавший, вероятно, не только от своего имени, ушел ни с чем.

В 6 часу утра отца попросили собираться. Одевшись, отец на обратной стороне образа св. Пантелеймона, принадлежавшего еще его покойной матери и привезенного ему сестрой в очаковский каземат, написал своим красивым и четким почерком:

---

*) В апреле 1917 года я обратился к одному из бывших защитников моего отца, Товарищу Министра Юстиции Л.С.Зарудному с просьбой о розыске писем. Зарудный обещал, но, несмотря на все старания, ничего не нашел. Письма моего отца бесследно исчезли в тайниках Министерства Внутренних Дел.

Благословляю Асю, Владимира, Женю, Колю, Лялю, Маку. Мне очень хорошо. Господь с Вами!

Иду на казнь. *Петя.*

6 марта 5 ч. 20 м. утра.
1906 г.

Затем, в сопровождении конвойных, отец вышел на палубу, где его присоединили к приговоренным матросам и спустили на катер, причаленный у борта «Прута». На катер, кроме конвойных, сошли доктор и священник.

Катер отвалил от плавучей тюрьмы и взял направление на запад, к видневшимся на горизонте очертаниям маленького острова.

Приговоренных к смерти спустили в трюм, но отец часто подымался наверх, курил, смотрел на небо, на море...

Дорогой отец много беседовал со своими товарищами по казни, в чем-то их убеждая.

В конце пути священник подошел к матросам и стал уговаривать их исповедаться и причаститься.

– Мы примем причастие из ваших рук, батюшка, только тогда, – за себя и своих товарищей ответил о. Бартеневу Частник, – когда вы докажете нам на Св. Евангелии, что можно убивать людей.

О. Бартенев не нашелся и, в смятении, замолчал. Катер сидел глубоко и к самой Березани пристать не мог. Приговоренных пересадили поэтому в лодку. Заметив землисто-бледное лицо Сергея Частника, отец его нежно обнял и проговорил:

– Смелее, Частник! Подбодритесь!

Дул порядочный ветер, и лодку сильно качало. Гребцам пришлось выдержать немалую борьбу с волнами, прежде чем лодка подошла к песчаному клочку земли. То была необитаемая пустынная Березань. Одни чайки с криком проносились над ней, да приставали изредка рыбаки, отдыхая по дороге в Очаков.

Но не пустовал одинокий остров, когда к нему подплывала шлюпка с обреченными смерти. На природной площадке, разбирая

ружья из козел, выстраивалась рота матросов с «Терца», а ей в затылок – боевая рота Белостокского пехотного полка. В нескольких десятках саженей от берега с отданным якорем покачивалась канонерская лодка «Терец», с наведенными на площадку орудиями.

Казнь отца и матросов должна была происходить в обстановке, невиданной на всем протяжении Русской истории.

Страшась действия одного имени «красного адмирала» на приходящие с ним в соприкосновение части войск, с одной стороны, и, решившись во что бы то ни стало покончить с живым символом революционной России – с другой, правительство, для обеспечения себя от опасных случайностей, мобилизовало все средства, находившиеся у него в распоряжении, прибегнув к способу круговой поруки.

Отца и его соратников должна была расстрелять рота матросов с «Терца». В затылок матросам поставили пехотную боевую роту; в случае отказа терцев стрелять по очаковцам, солдаты давали залп в матросские спины.На случай же колебания со стороны пехоты, четыре орудия с «Терца» навели на площадку, угрожая смести артиллерийским огнем и приговоренных, и исполнителей приговора, при неповиновении последних словам команды. У орудий находились надежные, испытанные в верности, артиллерийские кондуктора...

Спасения ждать было неоткуда: «Мертвая хватка» судьбы завершилась; железные пальцы сомкнулись, чтобы, разжавшись, выпустить четыре трупа.

...Когда осужденных высадили на берег, терцы и солдаты уже расположились в боевом порядке против четырех столбов. Сзади каждого столба была вырыта могила, и стоял простой деревянный ящик длиной в человеческий рост. Группа жандармов, с Полянским во главе, военно-морской прокурор Крамаревский и секретарь суда держались несколько в стороне.Осужденных поместили между столбами и шеренгой матросов. Секретарь подошел и прочел приговор морского суда. После прочтения приговора наступила самая страшная и мучительная минута, минута прощания осужденных друг с другом. Отец долго обнимал несчастных и утешал, как умел.

– Подумайте, родные мои, – говорил отец, – за какое великое дело погибаем, – за дело свободы! Простим всем перед смертью!

Затем отец повернулся к терцам, которые должны были сейчас его расстрелять, и громко сказал:

– Прощайте, братцы! Помните мой завет: слушайте своих офицеров! – А обращаясь к последним:

– Передайте мое последнее «прости» родному Черноморскому Флоту, всем морякам России, торговому Флоту. – И, повернувшись к лейтенанту Ставраки: – Миша, поцелуй сына, кланяйся сестре. Прикажи целить в сердце.

– Петя, прости!.. – с рыданием вырвалось у Ставраки*).

Отец подошел к священнику:

– Благословите, батюшка.

– Благословляю тебя, сын мой, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Господь да укрепит твои силы, – ответил священник, заливаясь слезами и обнимая отца.

Отец направился к столбу, но силы ему изменили – он пошатнулся. Тогда отец обхватил одной рукой шею о. Бартенева и с его помощью, с трудом передвигая ногами, стал продолжать свой смертный путь.

Частник, Антоненко и Гладков последовали за отцом, подражая каждому его движению. Вышло как-то само собою, что никого из приговоренных не только не привязали к столбу, но даже не предложили надеть на глаза повязок. Все приготовились встретить смерть лицом к лицу.

Многие плакали навзрыд. Лица терцев и солдат, серые от ужаса, не предвещали ничего хорошего для начальства. Два матроса, выпустив винтовки, упали в обморок.

---

*) Лейтенант М. М. Ставраки, впоследствии капитан 1 ранга, после октябрьского переворота поступил на службу к большевикам и заведовал маяками в Батуми. В 1922 году советские власти выяснили его причастность к расстрелу отца. Он был арестован, в мае 1923 г. судим в Севастополе «революционным трибуналом», приговорен к смерти и 5 мая расстрелян.

Все вдруг осознали, до глубины души, кровавое безумие того страшного, безобразного и нелепого, что должно было сейчас произойти.

Требовалось кончать как можно скорей... Но вот на «Терце» взвились условные флаги. Ставраки стиснул зубы и скомандовал:

– По приговоренным... пальба... ротой... Рота!..

Трясущимися руками матросы вскинули винтовки. Отец распростер руки и поднял глаза к небу. О. Бартенев издали осенил крестом четыре столба.

Взглянув на отца, Ставраки отвернулся, закрыл глаза и прохрипел:

– Пли!..

Отец был убит наповал после первого залпа. В него попало пять пуль. Две из них пронзили сердце; одна пробила его высокий лоб. Частник, подобно отцу, умер от первого залпа, вторым залпом был убит Гладков, а Антоненко забился в конвульсиях. Матросы волновались и целились плохо; многие стреляли мимо. Двое матросов вышли из шеренги и добили несчастного.

Тела положили в гробы, опустили в могилы и засыпали землей, после чего пехота и матросы несколько раз прошлись по свежим могилам, утрамбовывая рыхлую землю...

***

Так умер мой отец, лейтенант Петр Петрович Шмидт, и три матроса – Частник, Антоненко и Гладков.

Матросы, расстрелявшие отца и его соратников, получили в тот же день от начальства «награду» в размере трех рублей на человека.

***

На девятый день после казни, добившись разрешения, сестра отца приехала на Березань и положила венки на одинокие могилы. Крестов ей поставить не разрешили.

Но через год, явившись навестить отца и матросов в месте их последнего упокоения, она уже не нашла могил. Венки исчезли, а дожди и снега уничтожили всякие следы...

ЭПИЛОГ

Радостным солнечным утром 8 мая 1917 года севастопольский рейд представлял необычайное по красоте и торжественности зрелище. Верки Константиновской батареи и горделивые очертания многочисленных судов Черноморского Флота плавали в клубах бледно-голубого дыма, ежесекундно пронизываемого красно-оранжевыми огоньками орудийной пальбы. Слабый северо-западный бриз временами рассеивал дым, и тогда лучи южного горячего солнца эффектно дробились на медных частях броненосцев и крейсеров. Стройные верхушки мачт, недоступные быстро расходившемуся дыму и как бы парившие в прозрачном воздухе, были украшены сигнальными флагами всех красок и сочетаний.

Лазурные воды залива пестрели от бесчисленных лодок и катеров, переполненных людьми обоего пола, а берега, Южный – от Морских казарм до Минной бухты, Северный – от Артиллерийской пристани до Константиновской батареи, были залиты океаном человеческих голов.

В это утро Российский Черноморский Флот встречал останки лейтенанта Шмидта и расстрелянных вместе с ним трех матросов, откопанных на острове Березани, и приветствовал их царским салютом – 101 выстрелом.

Легкий румынский крейсер «Принцесса Мария», с останками «красного адмирала» и его соратников, под торжественно-печальные звуки «Коль славен», заглушаемые несмолкаемыми раскатами пушечной пальбы, медленно входил на севастопольский рейд. Переднюю часть крейсера, от капитанского мостика до фок-мачты, занимал огромный катафалк, под которым, на постаменте, в четырех металлических гробах, покоился прах народных героев. Катафалк и постамент были красиво декорированы национальными флагами и искусственными цветами, гробы же покрывало множество роскошных венков. Кормовой Андреевский флаг «Принцессы Марии» был приспущен, как и на всех остальных судах Черноморского Флота, в знак траура, а на фок-мачте крейсера развевался малый Андреевский флаг с голубой полосой внизу – знак, что на борту корабля находится тело бывшего Командующего Флотом.

Одетый в серую шинель, я стоял рядом с гробом бесконечно дорогого для меня существа и равнодушно наблюдал безвредную пальбу тех самых судов и батарей, которые так жестоко и беспощадно расстреливали злополучный «Очаков» одиннадцать с половиной лет тому назад.

Чудовищный контраст между прошедшим и настоящим не производил на меня особого впечатления, и только сознание, что вижу, наконец, родной Севастополь после стольких лет разлуки, несколько меня волновало. Я направил подзорную трубу в центр Главного рейда и, после недолгих поисков, увидел, как на ладони, мельчайшие детали моего милого красавца – «Очакова», вновь получившего свое старое славное имя*). Но я смотрел на него, как на покойника.

Тех, кто был на нем в незабвенный день 15 ноября 1905 г., я напрасно стал бы искать среди новых лиц его экипажа сильнейшей в мире подзорной трубой.

Затем я посмотрел на Графскую пристань, где собрались представители города и Флота для встречи. Мне бросились в глаза сверкающие на солнце золотые ризы севастопольского духовенства, собравшегося на пристани во главе с архиепископом Таврическим, скромные сюртуки членов Городской Думы, профессиональных и общественных организаций и, наконец, изящная одежда черноморских моряков: старая матросская – традиционные рубахи с голубыми воротниками, и новая офицерская – синие однобортные кителя с нарукавными галунами. Но с особым интересом я навел свою трубу на капитанский мостик флагманского корабля «Георгий Победоносец», где высилась коренастая фигура человека с орлиным профилем, человека, которого я хорошо знал до сих пор по газетам и с которым сегодня должен был познакомиться – доблестного вождя Черноморского Флота, вице-адмирала А.В.Колчака.

Делегации, застывшие в напряженно-выжидательных позах, четко вырисовывались на фоне белоснежных колонн Графской

---

*) После ноябрьского восстания «Очаков» был переименован Императором Николаем в «Кагул». Командование Добровольческой Армии дало ему третье наименование – «Генерал Корнилов».

пристани, и вся панорама рейда, лазурных берегов, сбегающих к морю игрушечных домиков, расположенного уступами очаровательного городка, безоблачного неба и красочной, несметной толпы народа являла картину такой ослепительной красоты, что казалась прелестным сном, волшебной, незабываемой сказкой.

Я был центром всеобщего внимания и чувствовал на себе взоры десятков тысяч восторженных или любопытных глаз. Ничтожества, предавшие некогда моего отца, теперь униженно передо мной пресмыкались, но я не находил в душе своей ни торжествующего злорадства, ни чистой радости, ни светлого счастья. Там царствовала одна черная беспросветная ночь, а сердце сжималось от глухого отчаяния и страшной, безысходной тоски.

Я смотрел на серебряный гроб, в котором заключались священные полуистлевшие останки, и задыхался от жгучего горя, беспредельного, как море, раскинувшееся у моих ног.

– За что, за что Ты погиб, Отец мой? – смятенно вопрошала душа моя давно отлетевшую великую душу. – Для чего пролилась Твоя бесценная кровь? Ужели для того, чтобы сын Твой видел, как рушатся устои тысячелетнего государства, расшатываемые подлыми руками наемных убийц, растлителей совести народной, как все мерзкое, преступное и продажное душит все честное и высокое, как великая нация сходит с ума и даже не продает, а отдает даром свою родину заклятому историческому врагу, как с каждым днем, с каждой минутой все более и более втаптываются в кровавую грязь те идеи, ради которых Ты пошел на Голгофу?.. Скажи же, скажи, Отец мой!.. Но молчала великая душа.

«Принцесса Мария» застопорила в 50 саженях от Графской Пристани и бросила якорь. На крейсере началась суета, депутации на берегу зашевелились, и я стал делать все, что было нужно делать или что мне предупредительно указывали, что-то говорил, кому-то отвечал, кого-то расспрашивал, но не мог говорить только о том, о чем хотелось исступленно кричать – о том, что гибнет, что уже погибла Россия, та Россия, которую так безумно, так мучительно любил мой несчастный отец.

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ ШМИДТ-ОЧАКОВСКИЙ

Родился 28 февраля 1887 года в С.-Петербурге.

1894. Семья переселяется во Владивосток.

1898. Переезд в Одессу; первый класс Реального Училища св. Павла.

1903-1905. Севастополь. Продолжение учебы в мужской гимназии.

1905-1906. С отцом – на восставшем «Очакове»; в тюрьме – на острове Морском; после расстрела отца – Керчь, Одесса, С.-Петербургское реальное училище.

1908. Студент Технологического института; занимается сбором и исследованием материалов об отце.

1914. Первая мировая война; школа прапорщиков инженерных войск; присвоение звания прапорщика; ходатайствует о разрешении добавить к своей фамилии наименование Очаковский и получает его.

1917. Присутствует на церемонии перезахоронения праха отца и его товарищей в Севастополе. Эмиграция в Турцию – на полуостров Галлиполи.

1921. Переезжает в Чехословакию, где работает над книгой воспоминаний об отце, которую издаёт в Праге в 1926 году под названием «Лейтенант Шмидт» («Красный адмирал»).

1930. Больной, преследуемый угрозами соотечественников-эмигрантов, Е.Шмидт уезжает во Францию. Перебивается тяжелыми (не по специальности) случайными работами, живет в бедности и в одиночестве – «*Один во всем мире, один навсегда*».

Последние годы жил в Париже, на улице Сен-Жак, в приюте «Маленькие сестры бедных».

Умер в больнице 25 декабря 1951 года. Похоронен в общей могиле. Место захоронения неизвестно...

По материалам, предоставленным ***Л.И.Иващенко и А.В.Виноградовой.***

Оглавление

К читателям 3
Предисловие 6
Глава I 7
Глава II 19
Глава III 30
Глава IV 37
Глава V 65
Глава VI 82
Глава VII 97
Глава VIII 109
Глава IX 121
Глава X 145
Глава XI 157
Глава XII 172
Глава XIII 191
Глава XIV 209
Глава XV 236
Глава XVI 272
Глава XVII 293
Эпилог 303
Краткая биография Е.П.Шмидта-Очаковского 306

ББК 63.3 (2) 522–8 Шмидт П. П.
Ш 512
УДК 94 (470) «1867–1906» – 057.36 (091)

Історико-мемуарне видання

ШМІДТ-ОЧАКІВСЬКИЙ
Євген Петрович

ЛЕЙТЕНАНТ ШМІДТ
(«Червоний адмірал»)

Спогади сина

Російською мовою

Технічний редактор ***В.Сукачев***
Комп'ютерна верстка ***Н.Біла***

Підписано до друку 02.10.2006.
Формат 60x84/16. Гарнітура Times New Roman.
Папір офсет. Друк офсет.
Ум. друк. арк. 17,9. Зам. 111.
Тираж 300 прим.

Видавництво КП ОМД
(свід. ДК № 774 від 17.01.2002 р.)
Надруковано в КП «Одеська міська друкарня»
65012, Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17